

М. ЗОЩЕНКО

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

М. ЗОЩЕНКО

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ



ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

1952

Copyright, 1952, by
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

Printed in the United States of America

П О В Е С Т И

К О З А

1

Без пяти четыре Забежкин сморкался до того громко, что нос у него гудел, как труба иерихонская, а бухгалтер Иван Нажмудинович от испуга вздрагивал, ронял ручку на пол и говорил:

— Ох, Забежкин, Забежкин, нынче сокращение штатов идет, как бы тебе, Забежкин, тово, — под сокращение не попасть... Ну, куда ты торопишься?

Забежкин прятал платок в карман и тряпочкой начинал обтирать стол и чернильницу.

Двенадцать лет сидел Забежкин за этим столом. Двенадцать лет! Подумать даже страшно, какой это срок немаленький. Ведь, если за двенадцать лет пыль, скажем, ни разу со стола не стереть, так, наверное, и чернильницы не видно будет!

В четыре ровно Забежкин двигал нарочно стулом, громко говорил — четыре, четыре костяшки отбрасывал на счетах и шел домой. А шел Забежкин всегда по Невскому, хоть так и крюк ему был. И не потому он шел по Невскому, что на какую-нибудь встречу рассчитывал, а так — любопытства ради: все-таки людей разнообразие, и магазины чорт знает какие, да и прочесть смешно, что в каком ресторане люди кушают.

А что до встреч, то бывает, конечно, всякое... Ведь вот, скажем, дойдет Забежкин сейчас до Садовой, а на Садовой, вот там, где черная харя сапоги гуталином чистит — дама вдруг... Черное платье, вуалька, глаза... И подбежит эта дама к Забежкину... «Ох, ска-

жет, молодой человек, спасите меня, если можете... Ко мне пристают, оскорбляют меня вульгарными словами и даже гнусные предложения делают»... И возьмет Забежкин даму эту под руку, так, касаясь едва, и вместе с тем с необыкновенным рыцарством, и пройдут они мимо оскорбителей презрительно и гордо... А она, оказывается, дочь директора какого-нибудь там треста.

Или еще того проще — старичок. Старичок в высшей степени интеллигентный идет. И падает вдруг. Вообще, головокружение. Забежкин к нему... «Ах, ах, где вы живете?»... Извозчик... Под ручку... А старичок, комар ему в нос, — американский подданный... «Вот, скажет, вам, Забежкин, трильон рублей»...

Конечно, все это так, вздор, романтизм, бессмысленное мечтание. Да и какой это человек может подойти к Забежкину? Какой это человек может иметь что-либо общее с Забежкиным? Тоже ведь и наружность многое значит. А у Забежкина и шея тонкая, и все-таки прически никакой нет, и нос загогулиной. Ну еще нос и шея куда ни шло — природа, а вот прически, верно, — никакой нету. Надо будет отрастить в срочном порядке. А то прямо никакого виду.

И будь у Забежкина общественное положение значительное, то и делу был бы оборот иной. Будь Забежкин квартальным надзирателем, что ли, или хотя бы агрономом, то и помириться можно бы с наружностью. Но общественное положение у Забежкина не ахти было какое. Впрочем, даже скверное. Да вот, если сделать смешное сравнение, при этом смеясь невинно, если бухгалтера Ивана Нажмуудиновича приравнять щуке, а рассыльного Мишку — из союза молодежи — сравнить с ершом, то Забежкин, даром что коллежский регистратор бывший, а будет никак не больше уклейки или даже колюшки крошечной.

Так вот, при таких-то грустных обстоятельствах, мог ли Забежкин на какой-нибудь романтизм надеяться?

2

Но однажды приключилось событие.

Однажды Забежкин захворал. То есть не то чтобы слишком захворал, а так, виски заломило это ужасно как.

Забежкин и линейку к вискам тискал, и слюнями лоб мазал — не помогает. Пробовал Забежкин в канцелярские дела углубиться.

Какие это штаны? Почему две пары? Не есть ли это превышение власти? Почему бухгалтеру Ивану Нажмудиновичу сверх комплекта шинелька отпущена, и куда это он, собачий нос, позадевал шинельку эту? Не загнал ли, подлая личность, на сторону казенное имущество?

Виски заломило еще пуще.

И вот попросил Забежкин у Ивана Нажмудиновича домой пораньше уйти.

— Иди, Забежкин, — сказал Иван Нажмудинович и таким печальным тоном, что и сам чуть не прослезился. — Иди, Забежкин, но помни — нынче сокращение штатов...

Взял Забежкин фуражку и вышел.

И вышел Забежкин по привычке на Невский, а на Невском, на углу Садовой, помутилось у него в глазах, покачнулся он, поскреб воздух руками и от слабости необыкновенной к дверям магазина прислонился. А из магазина в это время вышел человек (так, обыкновенного вида человек, в шляпе и в пальто коротеньком) и, задев Забежкина локтем, приподнял шляпу и сказал:

— Извиняюсь.

— Господи! — сказал Забежкин. — Да что вы? Да пожалуйста...

Но прохожий был далеко.

«Что это? — подумал Забежкин — Чудной какой прохожий. Извиняюсь, говорит... Д разве я сказал что-нибудь против? Да разве он пихнул меня

Это же моль, мошкара, мошка крылами задела... И кто ж это? Писатель, может быть, или какой-нибудь всемирный ученый... Извиняюсь, говорит. Ах ты штука какая! И ведь лица даже не рассмотрел у него...»

— Ах! — громко сказал Забежкин и вдруг быстро пошел за прохожим.

И шел Забежкин долго за ним — весь Невский и по набережной. А на Троицком мосту вдруг потерял его из виду. Две дамы шли — шляпы с перьями — заслонили, и как в Неву сгинул необыкновенный прохожий.

А Забежкин все шел вперед, махая руками, сиял носом, просил извинения у встречных и после неизвестно кому подмигивал.

«Ого, — вдруг подумал Забежкин, — куда же это такое я зашел? Каменноостровский... Карповка... Сверну», — подумал Забежкин. И свернул по Карповке.

И вот — трава. Петух. Коза пасется. Лавчонки у ворот. Деревня, совсем деревня!

«Присяду», — подумал Забежкин и присел у ворот на лавочке.

И стал свертывать папиросу. А когда свертывал папиросу, увидел на калитке объявление.

«Сдается комната для одинокого. Женскому полу не тревожиться».

Три раза кряду читал Забежкин объявление это и хотел в четвертый раз читать, но сердце вдруг забилось слишком, и Забежкин снова сел на лавку.

«Что ж это, — подумал Забежкин, — странное какое объявление? И ведь не зря же сказано: одинокому. Ведь это что же? Ведь это, значит, намек. Это, дескать, в мужчине нуждаются... Это мужчина требуется, хозяин. Господи, Твоя воля, так ведь это же хозяин требуется!»

Забежкин в волнении прошелся по улице и вдруг заглянул в калитку. И отошел.

— Коза! — сказал Забежкин. — Ей-Богу правда, коза стоит... Дай Бог, чтоб коза ее была, хозяйкина...

Коза! Ведь так, при таком намеке, тут и жениться можно. И женюсь. Ей-Богу, женюсь. Ежели, скажем, есть коза — женюсь. Баста. Десять лет ждал — и вот... Судьба... Ведь, ежели рассуждать строго, ежели комната внаймы сдается — значит квартира есть. А квартира — хозяйство, значит, полная чаша... Поддержка... Фикус на окне. Занавески из тюля. Занавесочки тюлевые. Покой... Ведь это же ботвинья по праздникам!.. А жена, скажем, дама солидная, порядок обожает, порядком интересуется. И сама в сатиновом капоте павлином по комнате ходит. И все так великолепно, все так благородно и все только и спрашивает: не хочешь ли, Петечка, покушать? Ах, ты штука какая! Хозяйство ведь. Корова, возможно, или коза дойная. Пускай коза лучше — жрет меньше.

Забежкин открыл калитку.

— Коза! — сказал он, задыхаясь. — У забора коза. Да ведь ежели коза, так и жить нетрудно. Ежели коза, то смешно даже... Пускай Иван Нажмуудинович завтра скажет: «Вот, дескать, слишком мне тебя жаль, Забежкин, но уволен ты по сокращению штатов»... Хе-хе, ей-Богу смешно... Удивится, сукин сын, поразится до чего, ежели после слов таких в ножки не упаду, просить не буду... Пожалуйста. Коза есть. Коза, чорт меня раздери совсем! Ах ты, вредная штука! Ах ты смех какой!.. А женскому-то полу плюха какая, женский-то пол до чего дожил — не тревожиться. Не лезь, дескать, комар тебе в нос, здесь его величество мужчина требуется...

Тут Забежкин еще раз прочел объявление и, выпятив грудь горой, с необыкновенной радостью вошел во двор.

3

У помойной ямы стояла коза. Была она безрогая, и вымя у ней висело до земли.

«Жаль, — с грустью подумал Забежкин, — старая коза, дай Бог ей здоровья.»

Во дворе мальчишки в чижики играли. А у крыльца девка какая-то столовые ножи чистила. И до того она с остервенением чистила, что Забежкин, забыв про козу, остановился в изумлении.

Девка яростно плевала на ножи, изрыгала слюну, прямо-таки втыкала ножи в землю и, втыкая, сама качалась на корточках и хрипела даже.

«Вот дура-то», — подумал Забежкин.

Девка изнемогала.

— Эй, тетушка, — сказал Забежкин громко, — где же это тут комната внаймы сдается?

Но вдруг открылось окно над Забежкиным, и чья-то бабья голова с флюсом, в платке вязаном, выглянула во двор.

— Товарищ, — спросила голова, — вам не ученого ли агронома Пампушкина нужно будет?

— Нет, — ответил Забежкин, снимая фуражку, — не имею чести... я насчет, как бы сказать, комнаты, которая внаймы.

— А если ученого агронома Пампушкина, — продолжала голова, — так вы не ждите зря, он нынче принять никак не может, он ученый труд пишет про что-то.

Голова обернулась назад и через минуту снова выглянула.

— «Несколько слов в защиту огородных вредителей»...

— Чего-с? — спросил Забежкин.

— А это кто спрашивает? — сказал агроном, сам подходя к окну. — Здравствуйте, товарищ!.. Это, видите ли, статья: «Несколько слов в защиту огородных вредителей»... Да вы поднимитесь наверх.

— Нет, — сказал Забежкин, пугаясь, — я комнату, которая внаймы...

— Комнату? — спросил агроном с явной грустью. — Ну, так вы после комнаты... Да вы не стесняйтесь... Третий номер, ученый агроном Пампушкин... Каждая собака знает...

Забежкин кивнул головой и подошел к девке.

— Тетушка, — спросил Забежкин, — это чья же, например, коза будет?

— Коза-то? — спросила девка. — Коза это из четвертого номера.

— Из четвертого? — охнул Забежкин. — Да это не там ли, извиняюсь, комната сдается?

— Там, — сказала девка. — Только сдана комната.

— Как же так? — испугался Забежкин. — Не может того быть. Да ты что, опупела, что ли? Как же так — сдана комната, ежели я и время потратил, проезд, хлопоты...

— А не знаю, — ответила девка, — может, и не сдана.

— Ну, то-то — не знаю, дура такая. Не знаешь, так лучше и не говори. Не извращай событий. Ты вот про кур лучше скажи — чьи куры ходят?

— Куры-то? Куры Домны Павловны.

— Это какая же Домна Павловна? Не комнату ли она сдает?

— Сдана комната! — с сердцем сказала девка, в подол собирая ножи.

— Врешь. Ей-Богу, врешь. Объявление есть. Ежели бы объявления не было, тогда иное дело — я бы не сопротивлялся. А тут — объявление. Колом не вышибешь... Заладила сорока Якова: «сдана, сдана...» Дура такая. Ты лучше скажи: индейский петух — наверное уже не ее?

— Ее.

— Ай-я-яй! — удивился Забежкин. — Так ведь она же богатая дама!

Девка ничего не ответила, икнула в ладонь и ушла.

Забежкин подошел к козе и пальцем потрогал ей морду.

«Вот, — подумал Забежкин, — ежели сейчас лизнет в руку — счастье: моя коза».

Коза понюхала руку и шершавым тонким языком лизнула Забежкина.

— Ну, ну, дура! — сказал, задыхаясь, Забежкин. — Корку хочешь? Эх, была давеча в кармане корка, да не найду что-то... Вспомнил: съел я ее, Машка. Съел, извиняюсь... Ну, ну, после дам...

Забежкин в необыкновенном волнении нашел четвертую квартиру и постучал в зеленую рваную клеенку.

— Вам чего? — спросил кто-то, открывая дверь.

— Комната...

— Сдана комната! — сказал кто-то басом, пытаюсь закрыть дверь. Забежкин крепко ее держал руками.

— Позвольте, — сказал Забежкин, пугаясь, — как же так? Позвольте же войти, уважаемый товарищ... Как же так? Я время потратил... Проезд... Объявление ведь...

— Объявление? Иван Кириллыч! Ты что ж это объявление-то не снял?

Тут Забежкин поднял глаза и увидел, что разговаривает он с дамой, и что дама — размеров огромных. И нос у ней никак не меньше забежкинского носа, а корпус такой обильный, что из него смело можно двух Забежкиных выкроить, да еще кой-что останется.

— Сударыня, уважаемая мадам, — сказал Забежкин, снимая фуражку и для чего-то приседая, — мне бы хоть чуланчик какой-нибудь отвратительный, конурку, конуренушку...

— А вы из каких будете? — спросила изрядным басом Домна Павловна.

— Служащий...

— Ну, что ж, — сказала Домна Павловна, вздыхая, — пушай тогда. Есть у меня еще одна комнатка. Не обижайтесь только — подле кухни...

Тут Домна Павловна по неизвестной причине еще

раз грустно вздохнула и повела Забежкина в комнаты.

— Вот, — сказала она, — смотрите. Скажу прямо: дрянь комната. И окно — дрянь. И вид никакой, а в стену. А вот с хорошей комнатой опоздали, батюшка. Сдана хорошая комната. Военному телеграфисту сдана.

— Прекрасная комната! — воскликнул Забежкин. — Мне очень нравятся такие комнаты подле кухни... Разрешите — я и перееду завтра...

— Ну что ж? — сказала Домна Павловна. — Пушай тогда. Переезжайте.

Забежкин низенько поклонился и вышел. Он подошел к воротам, еще раз, с грустью, прочел объявление, сложил его и спрятал в карман.

— «Да-с, — подумал Забежкин, — с трудом, с трудом счастье дается... Вот иные в Америку и в Индию очень просто ездят и комнаты снимают, а тут,.. Да еще телеграфист... Какой это телеграфист? А ежели, скажем, этот телеграфист да помешает? С трудом, с трудом счастье дается!»

4

Забежкин переехал. Это было утром. Забежкин вкатил тележку во двор, и тотчас все окна в доме открылись, и бабья голова с флюсом, высунувшись из окна на этот раз по пояс, сказала: «ага!» И ученый агроном Пампушкин, оставив ученую статью «Несколько слов в защиту вредителей», подошел к окну.

И сама Домна Павловна милостиво сошла вниз.

Забежкин развязывал свое добро.

— Подушки! — сказали зрители.

И точно: две подушки, одна розовая с рыжим пятном, другая синенькая в полоску, были отнесены наверх.

— Сапоги! — вскричали все в один голос.

Перед глазами изумленных зрителей предстали четыре пары сапог. Сапоги были новенькие, и сияли

они носками, и с каждой пары бантиком свешивались шнуры. И бабья голова с флюсом сказала с уважением: «ого!». И Домна Павловна милостиво потеряла полные свои руки. И сам ученый агроном прищурил свои ученые глаза и велел мальчишкам отойти от тележки, чтобы видней было.

— Книги... — конфузясь сказал Забежкин, вытаскивая три запыленные книжки.

— Книги?

И ученый агроном счел необходимым спуститься вниз.

— Очень приятно познакомиться с интеллигентным человеком, — сказал агроном, с любопытством рассматривая сапоги. — Это что же, — продолжал он, — это не по ученому ли пайку вы изволили получить сапоги эти?

— Нету, — сказал Забежкин, сияя, — это в некотором роде частное приобретение и, так сказать, подвижность. Иные, знаете ли, деньги предпочитают в брильянтах держать... а, извиняюсь, что такое брильянты? Только что блеск, да бессмысленная игра огней.

— М-м, — сказал агроном с явным сожалением, — то-то я и смотрю — что такое? — будто бы и не такие давали по ученому. Цвет, что ли, не такой?

— Цвет! — сказал Забежкин в восторге. — Это цвет, наверное, не такой. Такой цвет — раз, два и обчелся...

— Катюшечка! — крикнул агроном голове с флюсом. — Вынеси-ка, голубчик, сапоги, что давеча по ученому пайку получали.

Сожительница агронома вынесла необыкновенных размеров рыжие сапоги. Вместе с сожительницей во двор вышли все жильцы дома. Вышла даже какая-то, очень древнего вида, старушка, думая, что раздают сапоги бесплатно. Вышел и телеграфист, ковыряя в зубах спичкой.

— Вот! — закричал агроном, обильно брызгая

в Забежкина слюной. — Вот, милостивый государь, обратите ваше внимание!

Агроном пальцем стучал в подметку, пробовал ее зубами, подбрасывал сапоги вверх, бросал их на землю — они падали как поленья.

— Необыкновенные сапоги! — орал агроном на Забежкина таким голосом, точно Забежкин вел агронома расстреливать, а тот упирался. — Умоляю вас, взгляните! На-те! Бросайте их на землю, бросайте — я отвечаю!

Забежкин сказал:

— Да. Очень необыкновенные сапоги. Но ежели их на камни бросать, то они могут не выдержать...

— Не выдержат? Эти-то сапоги не выдержат? Да чувствуете ли вы, милостивый государь, какие говорите явные пустяки? Знаете ли, что вы меня даже оскорбляете этим. Не выдержат! — горько усмехнулся агроном, наседа на Забежкина.

— На камни безусловно выдержат, — с апломбом сказал вдруг телеграфист, вылезая вперед, — а что касается... Под тележку если, например, и тележку накатить враз — нипочем не выдержат.

— Катите! — захрюкал агроном, бросая сапоги. — Катите, на мою голову!

Забежкин налег на тележку и двинул ее. Сапоги помялись и у носка лопнули.

— Лопнули! — закричал телеграфист, бросая фуражку наземь и топча ее от восторга.

— Извиняюсь, — сказал агроном Забежкину, — это нечестно и нетактично, милостивый государь! Порядочные люди прямо наезжают, а вы боком... Это подло даже, боком наезжать. Нетактично и по-хамски с вашей стороны!

— Пускай он отвечает, — сказала сожительница агроному. — Он тележку катил, он и отвечает Это каждый человек начнет на сапоги тележку катить — сапог не напасешься.

— Да, да, — сказал агроном Забежкину, — извольте теперь отвечать полностью.

— Хорошо, — ответил печально Забежкин, интересуясь телеграфистом, — возьмите мою пару.

Телеграфист, выплюнув изо рта спичку и склонившись над сапогами, хохотал тоненько с привзвизгиваньем, будто его щекотали подмышками.

— «Красавец! — с грустью думал Забежкин. — И шея хороша, и нос нормальный, и веселиться может...»

Так переехал Забежкин.

5

На другой день все стало ясно: телеграфист Забежкину мешал.

Не Забежкину несла Домна Павловна козье молоко, не Забежкину пеклось и варилось на кухне и не для Забежкина Домна Павловна надевала чудный сиреневый капот. Все это пеклось, варилось и делалось для военного телеграфиста, Ивана Кирилловича.

Телеграфист лежал на койке, тренькал на гитаре и пел нахальным басом. В песнях ничего смешного не было, но Домна Павловна смеялась.

«Смеется, — думал Забежкин, слушая, — и, наверное, сидит в ногах телеграфистовых. Смеется... Значит, ей, дуре, весело, а весело, значит, ощущает что-нибудь. Так ведь и опоздать можно».

Целый день Забежкин провел в тоске. На утро пошел в канцелярию. Работать не мог. И какая, к чертовой матери, работа, ежели, скажем, такое беспокойство. Мало того, что о телеграфисте беспокойство, так и хозяйство все-таки. Тоже вот домой нужно прийти. Там на двор. Кур проверить. Узнать — мальчишки не гоняли ли, а если, скажем, гонял кто — вздрючить того. Козе тоже корку отнести нужно... Хозяйство...

— А хоть и хозяйство, — мучился Забежкин, —

да чужое хозяйство. И надежда малюсенькая. Малюсенькая, оттого что телеграфист мешает.

Придя домой, Забежкин прежде всего зашел в сарай.

— Вот, Машка, — сказал Забежкин козе, — кушай, дура. Ну, что смотришь? Грустно? Грустно, Машка. Телеграфист мешает... Убрать его, Машка, требуется. Ежели не убрать — любовь корни пустит.

Коза съела хлеб и обнюхивала теперь Забежкину руку.

— А как убрать его, Машка? Он, Машка, спортсмен, крепкий человек, не поддастся на пустяки. Он, сукин сын, давеча в трусиках бегал. Закаленный. А я, Машка, человек ослабший, на меня революция подействовала... А как убрать, ежели он и сам заметно хозяйством интересуется. Чего это он, скажи, пожалуйста, заходил в сарай давеча?

Коза тупо смотрела на Забежкина.

— Ну, пойду, Машка, пойду, может, и выйдет что. Тут с телеграфиста начать надо. Телеграфист — главная запятая. Не будь его, я бы, Машка, вчера еще с Домной Павловной кофей бы пил... Ну, пойду...

И Забежкин пошел домой. Он долго ходил по своей узкой комнате, бубнил под нос невнятное, размахивая руками, потом вынул из комода сапоги и, грустно покачивая головой, завернул одну пару в бумагу. И пошел к телеграфисту.

В комнату Забежкин вошел не сразу. Он постоял у двери Ивана Кирилловича, послушал. Телеграфист кряхтел, ворочался по комнате, двигал стулом.

«Сапоги чистит», — подумал Забежкин и постучал.

Точно: телеграфист чистил сапоги. Он дышал на них, внимательно обводил суконкой и ставил на стул то одну, то другую ногу.

— Пардон, — сказал телеграфист, — я ухожу, извиняюсь, скоро.

— Ничего, — сказал Забежкин, — я на секунду

дочку... Я, как сосед ваш по комнате и, так сказать, под одним уважаемым крылом Домны Павловны, почел долгом представиться: сосед и бывший коллежский регистратор Петр Забежкин.

— Ага, — сказал телеграфист, — ладно. Пожалуйста.

— И, как сосед, — продолжал Забежкин, — считаю своим долгом, по кавказскому обычаю, подарок преподнести — сапожки.

— Сапоги? За что же, помилуйте, сапоги? — спросил телеграфист, любуясь сапогами. — Мне даже, напротив того, неловко, уважаемый сосед... Я не могу так, знаете ли.

— Ей-Богу, возьмите...

— Разве что по кавказскому обычаю, — сказал телеграфист, примеряя сапоги. — А вы что же, позвольте узнать, уважаемый сосед, извиняюсь, на Кавказ путешествовали?.. Горы, наверное? Эльборус, чорт его знает какой? Нравы... Туда, уважаемый сосед, и депеши на другой день только доходят... Чересчур отдаленная страна...

— Нет, — сказал Забежкин, — это не я. Это Иван Нажмуудинович на Кавказ ездил. Он даже в Нахичевани был...

Еще Забежкин хотел рассказать про кавказские нравы, но вдруг сказал:

— Батюшка, уважаемый сосед, молодой человек! Вот я сейчас на колени опускаюсь...

И Забежкин встал на колени. Телеграфист испугался и закрыл рот.

— Батюшка, уважаемый товарищ, бейте меня, уничтожайте! До боли бейте.

Телеграфист думал, что Забежкин начнет его сейчас бить, размахнулся и ударил Забежкина.

— Ну, так! — сказал Забежкин падая и вставая снова. — Так. Спасибо! Осчастливили. Слезы у меня текут... Дрожу и решенья жду — съезжайте с квартиры, голубчик, уважаемый товарищ.

— Как же так? — спросил телеграфист, закрывая рот. — Странные ваши шутки.

— Шутки! Драгоценное слово — шутки! Батюшка сосед, Иван Кириллович, вам с Домной Павловной баловство и шутки, а мне — настоящая жизнь. Вот весь перед вами заголился... Съезжайте с квартиры, в четверг же съезжайте... Остатний раз прошу. Плохо будет.

— Чего? — спросил телеграфист. — Плохо? Мне до самой смерти плохо не будет... А если приспичило вам... да нет, странные шутки... Не могу-с.

— Батюшка, я еще чем-нибудь попрошу...

— Не могу-с... Да и за что же мне с квартиры съезжать? Мне нравится эта квартира. Да вы, впрочем, хорошенько попросите... Расход ведь в переездах, и, вообще, вы попросите. Я люблю, когда меня просят.

Забежкин бросился в свою комнату и через минуту вернулся.

— Вот! — сказал он, задыхаясь. — Вот сапожки и шнурки вот запасные. Телеграфист примерил сапоги и сказал:

— Жмут. Ну, ладно. Дайте срок — съеду. Только странные ваши шутки...

Забежкин ушел в свою комнату и тихонько сел у окна.

6

Забежкин на службу не пошел.

С куском хлеба он пробрался в сарай и сел перед козой на корячки.

— Готово, Машка. Шабаш. Убрал вчера телеграфиста. Кобенился и сопротивлялся, ну да ничего — свалил... Сапоги ему, Машка, отдал... Теперь что же, Машка? Теперь Домна Павловна осталась. Тут, главное, на чувства рассчитывать нужно. На эстетику, Машка. Розу сейчас пойду куплю. Вот, скажу, вам роза — нюхайте... Завтра куплю, а нынче запарился я, Машка... Ну, ну, нету больше. Хватит.

Забежкин прошел в свою комнату и лег на кровать. Розу он купить не успел, Домна Павловна пришла к нему раньше. Она сказала:

— Ты что ж это сапогами-то даришься? Ты к чему это сапоги телеграфисту отдал?

— Подарил я, Домна Павловна. Хороший он очень человек. Чего ж, думаю, ему не подарить? Подарил, Домна Павловна.

— Это Иван Кириллыч-то хороший человек? — спросила Домна Павловна. — Неделю, подлец, не живет и до свиданья. С квартиры съезжает... Это он-то хороший человек? Отвечай, если спрашиваю!?

— А я, Домна Павловна, думал...

— Что ты думал? Чего ты, раззява, думал?

— Я думал, Домна Павловна, — он и вам нравится. Вы всегда с ним хохочете...

— Это он-то мне нравится? — Домна Павловна всплеснула руками. — Да он целные дни бильярды гоняет, а после с девчонками... Чего я в нем не видала? Да он и вниманья-то своего на меня не обратит... Ну, и врать же ты... Да он, прохвост ты человек, при наружности своей, любую тонконогую возьмет, а не меня. Ну, и дурак же ты...

— Домна Павловна, — сказал Забежкин, — про тонконогую это до чего верно вы сказали — слов нет. Это такой человек, Домна Павловна... Он заврался давеча; люблю, говорит, тонконогих, а на полненькую и вниманья не обращаю. Ведь это он, Домна Павловна, про вас намекал.

— Ну? — спросила Домна Павловна.

— Ей-Богу, Домна Павловна... Он тонкую возьмет, ей-Богу правда — уколоться об локоть можно, а он и рад, гадина. А вот я, Домна Павловна, я на крупную фигуру всегда обращаю свое внимание. Я, Домна Павловна, такими, как вы, увлекаюсь.

— Ври еще!

— Нет, Домна Павловна, мне нельзя врать. Вы для меня это очень превосходная дама... И для многих

тоже... Ко мне, помните, Домна Павловна, человек заходил — тоже заинтересовался. Это, спрашивает, кто же такая гранд-дам интереснейшая?

— Ну? — спросила Домна Павловна. — Так и сказал?

— Так и сказал, дай Бог ему здоровья. Это, говорит, не актриса ли Люком?

Домна Павловна села рядом с Забежкиным.

— Да это какой же, не помню чего-то? Это не тот ли — рыжеватый будто и угри на носу?

— Тот, Домна Павловна. Тот самый, и угри на носу, дай Бог ему здоровья!

— А я думала, он к Ивану Кириллычу прошел... Так ты бы его к столу пригласил. Сказал бы: вот, мол, Домна Павловна кофею просит выкушать... Ну, а что он еще такое говорил? Про глаза ничего не говорил?

— Нет, — сказал Забежкин, задыхаясь, — нет, Домна Павловна, про глаза это я говорил. Я говорил: люблю такие превосходные глаза, млею даже, как посмотрю... Вообще, многоуважаемые глаза...

— Ну, ну, уж и любишь? — удивилась Домна Павловна. — Поел, может, чего лишнего — вот и любишь.

— Поел! — вскричал Забежкин. — Это я-то поел, Домна Павловна! Нет, Домна Павловна, раньше, это точно, я превосходно кушал, рвало даже, а нынче я, Домна Павловна, на хлебце больше.

— Глупенький, — сказала Домна Павловна, — ты бы ко мне пришел. Вот, сказал бы...

— А я вас, Домна Павловна, совершенно люблю! — вскричал Забежкин. — Скажите: упади, Забежкин, из окна — упаду. Как стелечка упаду, Домна Павловна! Как стелечка на камни лягу и имя еще прославлять буду!

— Ну, ну, — сказала Домна Павловна, конфузясь.

И ушла вдруг из комнаты. И только Забежкин хотел к козе пройти, как Домна Павловна снова вернулась.

— Побожись, — сказала она строго, — побожись, что верно сказал про чувства...

— Вот вам крест и икона святая...

— Ну, ладно. Не божись зря. Кольца купить нужно... чтоб венчанье и певчие.

— И певчие! — закричал Забежкин. — И певчие, Домна Павловна. И все так великолепно, все так благородно... Дозвольте же в ручку поцеловать, Домна Павловна! Вот-с... А я-то, Домна Павловна, думал — чего это мне не по себе все? На службе невтерпеж даже, домой рвусь... А это чувство...

Домна Павловна стояла торжественно посреди комнаты. Вокруг нее ходил Забежкин и говорил:

— Да-с, Домна Павловна, чувство... Давеча я, Домна Павловна, опоздал на службу, — размечтался на разные разности, а когда пришел, Иван Нажмудинович ужасно так строго на меня посмотрел. Я сел и работать не могу. Сижу и на книжке де и пе рисую. А Иван Нажмудинович галочки сосчитал (у нас, Домна Павловна, всегда, кто опоздал, галочку насупротив фамилии пишут), так Иван Нажмудинович и говорит: «Шесть галочек насупротив фамилии Забежкин... Это, не поперли бы его по сокращению штатов»...

— А пущай! — сказала Домна Павловна. — И так хватит.

Венчанье Домна Павловна назначила через неделю.

7

В тот день, когда телеграфист собрал в узлы свои вещи и сказал: «Не поминайте лихом, Домна Павловна, завтра я съеду» — в тот день все погибло.

Ночью Забежкин сидел на кровати перед Домной Павловной и говорил:

— Мне, Домна Павловна, счастье с трудом дается. Иные очень просто и в Америку ездят, и комнаты внаймы берут, а я, Домна Павловна... Да вот, не пойдя я тогда за прохожим, ничего бы и не было. И вас

бы, Домна Павловна, не видеть мне, как ушей своих... А тут прохожий. Объявление. Девицам не тревожиться. Хе-хе, плюха-то какая девицам, Домна Павловна!

— Ну спи, спи! — строго сказала Домна Павловна. — Поговорил и спи.

— Нет, — сказал Забежкин, поднимаясь, — не могу я спать, у меня, Домна Павловна, грудь рвет. Порыв... Вот я, Домна Павловна, мысль думаю... Вот коза, скажем, Домна Павловна, такого счастья не может чувствовать...

— А?

— Коза, я говорю, Домна Павловна, не может ощущать такого счастья. Что ж коза? Коза — дура. Коза и есть коза. Ей бы, дуре, только траву жрать. У ней и запросов никаких нету. Ну, пусти ее на Невский — срамота выйдет, недоразумение... А человек, Домна Павловна, все-таки запросы имеет. Вот, скажем, меня взять. Давеча иду по Невскому — тыква в окне. Зайду, думаю, узнаю, какая цена той тыкве. И зашел. И все-таки человеком себе чувствуешь. А что ж коза, Домна Павловна? Вот хоть бы и Машку нашу взять — дура, дура и есть. Человек и ударить козу может и бить даже может и перед законом ответственности не несет — чист, как стеклышко.

Домна Павловна села.

— Какая коза, — сказала она, — иная коза при случае и забодать может человека.

— А человек, Домна Павловна, козу палкой, палкой по башке по козлиной.

— Ну и коза, коза может молоко не дать, как телеграфисту давеча.

— Как телеграфисту? — испугался Забежкин. — Да чего ж он ходит туда? Да как же это коза может молока не дать, ежели она дойная?

— А так и не даст!

— Ну, уж это пустяки, Домна Павловна, — сказал Забежкин, расхаживая по комнате. — Это уж... Что ж это? Это бунт выходит.

Домна Павловна тоже встала.

— Что ж это? — сказал Забежкин. — Да ведь это же, Домна Павловна, вы про революцию говорите... А вдруг да когда-нибудь, Домна Павловна, животные революцию объявят. Козы, например, или коровы, которые дойные. А? Ведь может же такое быть когда-нибудь? Начнешь их доить, а они бодаются, копытами по животам бьют. И Машка наша может копытами... А ведь Машка наша, Домна Павловна, забодать, например, Иван Нажмудиныча может?

— И очень просто, — сказала Домна Павловна.

— А ежели, Домна Павловна, не Иван Нажмудиныча забодает Машка, а комиссара, товарища Нюшкина? Товарищ Нюшкин из мотора выходит, Арсений дверьку перед ним — пожалуйста, дескать, товарищ Нюшкин, а коза Машка спрятавшись за дверкой стоит. Товарищ Нюшкин — шаг, и она подойдет, да и тырк его в живот, по глупости.

— Очень просто, — сказала Домна Павловна.

— Ну, тут народ стекется. Конторщики. А товарищ Нюшкин очень даже рассердится. — «Чья, скажет, это коза меня забодала?» А Иван Нажмудиныч уж тут, задом вертит. «Это коза, скажет, Забежкина. У него, скажет, кроме того насупротив фамилии шесть галочек». «А, Забежкина, скажет товарищ комиссар, ну так уволен он по сокращению штатов». И баста.

— Да что ты все про козу-то врешь? — спросила Домна Павловна. — Откуда это твоя коза?

— Как откуда? — сказал Забежкин. — Коза, конечно, Домна Павловна, не моя, коза ваша, но ежели брак, хотя бы даже гражданский, и как муж, в некотором роде...

— Да ты про какую козу брендишь-то? — рассердилась Домна Павловна. — Ты что, у телеграфиста купил ее?

— Как у телеграфиста? — испугался Забежкин. — Ваша коза, Домна Павловна.

— Нету, не моя коза... Коза телеграфистова. Да

ты, прохвост этакий, идол собачий, не на козу ли нацелился?

— Как же, — бормотал Забежкин, — ваша коза. Ей-Богу, ваша коза, Домна Павловна.

— Да ты что, опупел? Да ты на козу рассчитывал? Я сию минуту тебя наскрозь вижу. Все твои кишки вижу...

В необыкновенном гневе встала с кровати Домна Павловна и, покрыв одеялом обильные свои плечи, вышла из комнаты. А Забежкин прилег на кровать, да так и пролежал до утра, не двигаясь.

8

Утром пришел к Забежкину телеграфист.

— Вот, — сказал телеграфист, не здороваясь, — Домна Павловна приказала, чтобы в двадцать четыре часа, иначе — судом и следствием.

— А я, — закричала из кухни Домна Павловна, — а я, так и передай ему, Иван Кириллыч, скотине этому, я и видеть его не желаю.

— А Домна Павловна, — сказал телеграфист, — и видеть вас не желает.

Домна Павловна кричала из кухни:

— Да посмотри, Иван Кириллыч, не прожог ли он матраца, сукин сын. Курил давеча. Был у меня один такой субчик — прожог. И перевернул подлец — не замечу, думает. Я у них, у подлецов, все кишки наскрозь вижу. Сволочь!..

— Извиняюсь, — сказал телеграфист Забежкину, — пересядьте на стул.

Забежкин печально пересел с кровати на стул.

— Куда же я перееду? — сказал Забежкин. — Мне и переехать-то некуда...

— Он, Домна Павловна, говорит, что ему и переехать некуда, — сказал телеграфист, осматривая матрац.

— А пушай, куда хочет, хоть кошке под хвост! Я в его жизнь не касаюсь.

Телеграфист Иван Кириллыч осмотрел матрац, взглянул, без всякой на то нужды, под кровать и, подмигнув Забежкину глазом, ушел.

Вечером Забежкин нагрузил тележку и выехал неизвестно куда.

А когда выезжал из ворот, то встретил агронома Пампушкина.

Агроном спросил:

— Куда? Куда это вы, молодой человек?

Забежкин тихо улыбнулся и сказал:

— Так, знаете ли... прогуляться...

Ученый агроном долго смотрел ему вслед. На тележке поверх добра на синей подушке стояла одна пара сапог.

9

Так погиб Забежкин.

Когда против его фамилии значилось восемь га-лок, бухгалтер Иван Нажмуудинович сказал:

— Шабаш. Уволен ты, Забежкин, по сокращению штатов.

Забежкин записался на биржу безработных, но работы не искал. А как жил — неизвестно.

Однажды Домна Павловна встретила его на Дерябкинском рынке. На толчке. Забежкин продавал пальто.

Был Забежкин в рваных сапогах и в бабьей куцавейке. Был он не брит, и бороденка у него росла почему-то рыжая. Узнать его было трудно!

Домна Павловна подошла к нему, потрогала пальто и спросила:

— Чего за пальто хочешь?

И вдруг узнала — это Забежкин.

Забежкин потупился и сказал:

— Возьмите так, Домна Павловна.

— Нет, — ответила Домна Павловна, хмурясь, — мне не для себя нужно. Мне Иван Кириллычу нужно. У Иван Кириллыча пальто зимнего нету... Так я не хо-

чу, а вот что: денег я тебе, это верно, не дам, а вот приходи — будешь обедать по праздникам.

Пальто накинула на плечи и ушла.

В воскресенье Забежкин пришел. Обедать ему дали на кухне. Забежкин конфузился, подбирал грязные ноги под стул, качал головой и ел молча.

— Ну, как, брат Забежкин? — спросил телеграфист.

— Ничего-с, Иван Кириллыч, терплю, — сказал Забежкин.

— Ну, терпи, терпи. Русскому человеку невозможно, чтоб не терпеть. Терпи, брат Забежкин.

Забежкин съел обед и хлеб спрятал в карман.

— А я-то думал, — сказал телеграфист смеясь и подмигивая, — я-то, Домна Павловна, думал — чего это он, сукин сын, икру передо мной мечет? А он вот куда сети закинул — коза.

Когда Забежкин уходил, Домна Павловна спросила тихо:

— Ну, а сознайся, соврал ведь ты насчет глаз и вообще?

— Соврал, Домна Павловна, соврал, — сказал Забежкин, вздыхая.

— Н-ну иди, иди, — нахмурилась Домна Павловна, — не путайся тут!

Забежкин ушел.

И каждый праздник приходил Забежкин обедать. Телеграфист Иван Кириллович хохотал, подмигивал, хлопал Забежкина по животу и спрашивал:

— И как же это, брат Забежкин, ошибся ты?

— Ошибся, Иван Кириллыч...

Домна Павловна строго говорила:

— Оставь, Иван Кириллыч! Пущай ест. Пальто тоже денег стоит.

После обеда Забежкин шел к козе. Он давал ей корку и говорил:

— Нынче был суп с луком и турнепс на второе...

Коза тупо смотрела Забежкину в глаза и жевала хлеб. А после облизывала Забежкину руку.

Однажды, когда Забежкин съел обед и корку спрятал в карман, телеграфист сказал:

— Положь корку назад. Так! Пожрал и до свиданья. К козе нечего шлаться!

— Пуцай, — сказала Домна Павловна.

— Нет, Домна Павловна, моя коза! — ответил телеграфист. — Не позволю.. Может, он мне козу испортит по злобе. Чего это он там с ней колдует?

Больше Забежкин обедать не приходил.

1922 г.

О ЧЕМ ПЕЛ СОЛОВЕЙ

1

А ведь посмеются над нами лет через триста! Странно, скажут, людишки жили. Какие-то, скажут, у них были деньги, паспорта. Какие-то акты гражданского состояния и квадратные метры жилищной площади.

Ну, что ж! Пушай смеются.

Одно обидно: не поймут ведь, черти, половину. Да и где ж им понять, если жизнь у них такая будет, что, может, нам и во сне не снилась.

Автор не знает и не хочет загадывать, какая у них будет жизнь. Зачем же трепать свои нервы и растривать здоровье — все равно бесцельно, все равно не увидит автор этой будущей прекрасной жизни.

Да и будет ли она прекрасна — это еще вопрос. Для собственного успокоения автору кажется, что и там много будет ерунды и дряни.

Впрочем, может, эта ерунда будет мелкого качества. Ну, скажем, в кого-нибудь, извините за бедность мысли, плюнули с дирижабля. Или кому-нибудь пепел в крематории перепутали и выдали вместо помершего родственника какую-нибудь чужую и недоброкачественную труху...

Конечно, это не без того, — будут случаться также ничтожные неприятности в мелком повседневном плане. А остальная-то жизнь, наверное, будет превосходна и замечательна.

Может быть, даже денег не будет. Может быть, все будет бесплатно, даром. Скажем, даром будут навязывать какие-нибудь шубы или кашнэ в Гостином дворе...

— Возьмите, скажут, у нас, гражданин, отличную шубу.

А ты мимо пройдешь. И сердце не забьется.

— Да нет, — скажешь, уважаемые товарищи. На чорта мне сдалась ваша шуба. У меня их шесть.

Ах, чорт! До чего веселой и привлекательной рисуется автору будущая жизнь!

Но тут стоит призадуматься. Ведь если выкинуть из жизни какие-то денежные счета и корыстные мотивы, то в какие же удивительные формы выльется сама жизнь! Какие же отличные качества приобретут человеческие отношения! И, например, любовь. Каким, небось, пышным цветом расцветет это изящнейшее чувство!

Ах, ты, какая будет жизнь, какая жизнь! С какой сладкой радостью думает о ней автор, даже вчуже, даже без малейшей гарантии застать ее. Но вот — любовь.

Об этом должна быть особая речь. Ведь многие ученые и партийные люди вообще склонны понижать это чувство. Позвольте, говорят, какая любовь? Нет никакой любви. И никогда и не было. И вообще, мол, это заурядный акт того же гражданского состояния, ну, например, в роде похорон.

Вот с этим автор не может согласиться.

Автор не хочет исповедываться перед случайным читателем и не хочет некоторым особо неприятным автору критикам открывать своей интимной жизни, но все же, разбираясь в ней, автор вспоминает одну девицу в дни своей юности. Этакое было у ней глупое, белое личико, ручки, жалкие плечики. А в какой телячий восторг впадал автор! Какие чувствительные минуты переживал автор, когда, от избытка всевозможных благородных чувств, падал на колени и, как дурак, целовал землю.

Теперь, когда прошло пятнадцать лет, и автор слегка седеет от различных болезней и от жизненных потрясений и от забот о куске хлеба, когда автор

просто не хочет врать и не для чего ему врать, когда, наконец, автор желает увидеть всю жизнь, как она есть, без всякой лжи и украшений, — он, не боясь показаться смешным человеком из прошлого столетия, все же утверждает, что в ученых и партийных кругах сильно на этот счет ошибаются.

На эти строчки о любви автор уже предвидит ряд жестоких отповедей со стороны общественных деятелей.

— Это, — скажут, — товарищ, не пример собственная ваша фигура. Что вы, — скажут, — в нос тычете свои любовные шашни? Ваша, — скажут, — персона не созвучна эпохе и вообще случайно дожила до теперешних дней.

— Видали? Случайно! То есть, дозволейте вас спросить, как это случайно? Что ж, прикажете под трамвай ложиться?

— Да это как вам угодно, — скажут. — Под трамвай или с моста, а только существование ваше ни на чем не обосновано. Посмотрите, — скажут, — на простых, неискушенных людей, и вы увидите, как иначе они рассуждают.

Ха!.. Прости, читатель, за ничтожный смех. Недавно автор вычитал в «Правде» о том, как один мелкий кустарь, парикмахерский ученик, из ревности нос откусил одной гражданке.

Это что, не любовь? Это, по-вашему, жук нагадил? Это, по-вашему, нос откушен для вкусовых ощущений? Ну и черт с вами! Автор не желает расстраиваться и портить себе кровь. Ему надобно еще закончить повесть, съездить в Москву и сделать, кроме того, несколько неприятных автору визитов к кое-каким литературным критикам, попросив их не торопиться с написанием критических статей и рецензий на эту повесть.

Итак, любовь.

Пущай об этом изящном чувстве каждый думает как хочет. Автор же, признавая собственное ничто-

жество и неспособность к жизни, даже, чорт с вами, пушай трамвай впереди, — автор все же остается при своем мнении.

Автор только хочет рассказать читателю об одном мелком любовном эпизоде, случившемся на фоне теперешних дней. Опять, скажут, мелкие эпизоды? Опять, скажут, мелочи в двухрублевой книге? Да что вы, скажут, очумели, молодой человек? Да кому, скажут, это нужно в космическом масштабе?

Автор честно и открыто просит:

— Не мешайте, товарищи! Дайте человеку высказаться хотя бы в порядке дискуссии.

2

Фу! Трудно до чего писать в литературе!

Пóтом весь изойдешь, покуда продерешься через непроходимые дебри.

И ради чéго? Ради какой-то любовной истории гражданина Былинкина.

Автору он не сват и не брат. Автор у него в долг не занимал. И идеологией с ним не связан.

Да уж если говорить правду, то автору он глубоко безразличен. И расписывать его сильными красками автору нет охоты. К тому же автор не слишком-то помнит лицо этого Былинкина, Василия Васильевича.

Что касается других лиц, участвующих так или иначе в этой истории, то и другие лица тоже прошли перед взором автора мало замеченные. Разве что Лизочка Рундукова, которую автор запомнил по причинам совершенно особенным и, так сказать, субъективным.

Уже Мишка Рундуков — братишка ее, комсомолец, — менее запомнился. Это был парнишка крайне нахальный и задира. Наружностью своей он был этакий белобрысенький и слегка мордастый.

Да о наружности его автору тоже нет охоты рас-

пространяться. Возраст у парнишки переходный. Опишешь его, а он, сукин сын, подрастет к моменту выхода книги, и там разбирайся — какой это Мишка Рундуков. И откуда у него усы взялись, если у него и усов-то не было в момент описания событий.

Что же касается самой старухи — так сказать, мамыши Рундуковой, то читатель и сам вряд ли выразит претензию, если мы старушку и вовсе обойдем в своем описании. Тем более, что старушек вообще трудновато художественно описывать. Старушка и старушка. А пес ее разберет, какая это старушка? Да и кому это нужно описание, скажем, ее носа? Нос и нос. И от подробного его описания читателю не легче будет жить на свете.

Конечно, автор не взялся бы писать художественные повести, если бы были у него только такие скудные и ничтожные сведения о героях. Сведений у автора хватает. Например, автору очень живо рисуется вся ихняя жизнь. Ихний небольшой рундуковский домишко. Этакий темненький, в один этаж. На фасаде — номер 22. Повыше на досточке багор нарисован. На предмет пожара. Кому что тащить. Рундуковым, значит, багор тащить. А только есть ли у них багор? Ох, небось, нету... Ну да не дело художественной литературы разбираться и обращать на это внимание уездной администрации.

А вся внутренность ихнего домика и, так сказать, вещественное его оформление в смысле мебели тоже достаточно рельефно вырисовывается в памяти автора... Три комнаты небольшие. Пол кривой. Рояль Беккера. Этакий жуткий рояль. Но играть на нем можно. Кой-какая мебелишка. Диван. Кошка или кот на диване. На подзеркальнике часишки под колпаком. Колпак пыльный. А само зеркало мутное — морду врет... Сундук огромный. Нафталином и дохлыми мухами от него пахнет...

Скучно, небось, было бы жить в этих комнатах столичным гражданам!

Скучно, небось, столичному гражданину и в ихнюю кухню войти, где мокрое белье на бечевке развешено. И у плиты старуха продукты стряпает. Картошку, например, чистит. Шелуха лентой с под ножа свивается.

Только пушай не думает читатель, что автор описывает эти мелкие мелочи с любовью и восхищением. Нету! Нету в этих мелких воспоминаниях ни сладости, ни романтизма. Знает автор и эти домики, и эти кухни. Заходил. И жил в них. И может и сейчас живет. Ничего в этом нету хорошего, так — жалкая жалость. Ну войдешь в эту кухню и ведь непременно мордой в мокрое белье угодишь. Да еще спасибо, ежели в благородную часть туалета, а то в мокрый чулок какой-нибудь, прости, Господи! Противно же мордой в чулок. Ну его к чорту! Такая гадость.

А по причинам, не касающимся художественной литературы, автору приходилось несколько раз бывать у Рундуковых. И автор всегда удивлялся, как это в такой прели и мелкоте жила такая выдающаяся барышня, такой, можно сказать, ландыш и настурция, как Лизочка Рундукова.

Автор не слишком-то превозносит человека. Пора же, граждане, наконец, отказаться от бессмысленной к себе гордости! Автор считает, что если каракавица уживается на мокрой плесени, то почему бы и человеку на сыром белье не ужиться.

Все же автору всегда было очень-очень жаль Лизочку Рундукову.

О ней будем в свое время длинно и обстоятельно говорить, пока же автор принужден рассказать кое-что о гражданине Василии Васильевиче Былинкине. И благонадежен ли он политически. И какое отношение он имеет к уважаемым Рундуковым. И не родственник ли он им.

Нет, он не родственник, он просто случайно замешкался в их жизнь.

Автор уже предупреждал читателя, что физионо-

мия этого Былинкина ему не слишком запомнилась. Хотя, вместе с тем, автор, закрывая глаза, видит его, как живого.

Этот Былинкин ходил всегда медленно, даже вдумчиво. Руки держал позади. Ужасно часто моргал ресницами. И фигуру имел несколько сутулую, видимо, придавленную житейскими обстоятельствами. Каблуки же Былинкин снашивал внутрь до самых задников.

Что касается образования, то на вид образование было не ниже четырех классов старой гимназии.

Социальное происхождение — неизвестно.

Приехал человек из Москвы в самый разгар революции и о себе не распространялся.

А зачем приехал — тоже неясно. Сытнее, что ли, в провинции показалось? Или не сиделось ему на одном месте и влекли его, так сказать, неведомые дали и приключения? Чорт его душу разберет. Во всякую психологию не влезешь.

Но скорей всего в провинции сытней показалось. Потому первое время ходил человек по базару и с аппетитом посматривал на свежие хлеба и на горы всевозможных продуктов.

Но, между прочим, как он кормился — для автора неясная тайна. Может, он даже и руку протягивал. А может, и пробки собирал от минеральных и фруктовых вод. И продавал после. Были и такие отчаянные спекулянты в городе.

Только, видимо, жил человек худо. Весь сносился и волосы стал терять. И ходил робко, оглядываясь по сторонам и волоча ноги. Даже глазами перестал моргать и смотрел неподвижно и скучно.

А после, по невыясненной причине, в гору пошел. И к моменту разыгравшейся нашей любовной истории имел Былинкин прочное социальное положение, государственную службу и оклад по седьмому разряду плюс за нагрузку.

И к этому моменту Былинкин уже несколько

округлился в своей фигуре, влил, так сказать, в себя снова потерянные жизненные соки и снова попрежнему часто и развязно моргал глазами.

И ходил по улице тяжеловатой походкой человека, насквозь прожженного жизнью и имеющего право жить и знающего себе полную цену.

И, действительно, к моменту развернувшихся событий был он мужчина хоть куда в свои неполные тридцать два года.

Он много и часто гулял по улицам и, размахивая палкой, сбивал по дороге цветы или траву, или даже листья.

Иногда присаживался на скамейку бульвара и бодро дышал полной грудью, счастливо улыбаясь.

О чем он думал и какие исключительные идеи осеняли его голову — никому неизвестно. Может, он и ни о чем не думал. Может, он просто проникался восторгом своего законного существования. Или, скорей всего, думал, что ему совершенно необходимо переменить квартиру.

И в самом деле: он жил у Волосатова, у дьякона живой церкви, и, в силу своего служебного положения, весьма беспокоился жить у лица, столь политически запачканного.

Он много раз спрашивал, не знает ли кто, ради Бога, какой-нибудь квартирнки или комнаты, так как он не в силах более жить у служителя определенного культа.

И, наконец, кто-то, по доброте душевной, сосватал ему небольшую, в две квадратные сажени, комнату. Это было как раз в доме уважаемых Рундуковых.

Былинкин немедленно же переехал. Сегодня он осмотрел комнату и завтра с утра выехал, наняв для этой цели водовоза Никиту.

Отцу дьякону ни с какой стороны не нужен был этот Былинкин, однако, видимо уязвленный в неясных, но отличных своих чувствах, дьякон страшным

образом ругался и даже грозил при случае набить Былинкину морду. И когда Былинкин складывал свое добро на телегу, дьякон стоял у окна и громко искусственно хохотал, желая этим показать полное свое равнодушие к отъезду.

Дьяконица же выбегала время от времени во двор и, кидая на телегу какую-нибудь вещь, кричала: — Скатертью дорожка. Камнем в воду. Не задерживаем.

Собравшаяся публика и соседи с удовольствием хохотали, прозрачно намекая на ихние будто бы любовные отношения. Об этом автор не берется утверждать. Не знает. Да и не желает заводить излишних сплетен в изящной литературе.

3

Комната Былинкину, Василию Васильевичу, была сдана без всякой корысти и даже без особой на то нужды. Вернее, старуха Дарья Васильевна Рундукова побаивалась, как бы из-за жилищного кризиса ихнюю квартирку не уплотнили бы вселением какого-нибудь грубого и лишнего элемента.

Былинкин этим обстоятельством несколько даже воспользовался. И, проходя мимо беккеровского рояля, сердито покосился на него и с неудовольствием заметил, что этот инструмент, вообще говоря, лишнее, и что сам он, Былинкин, человек тихий и потрясенный жизнью, побывавший на двух фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, не может переносить лишних мещанских звуков.

Старуха обиженно сказала, что у них сорок лет стоит этот рояльчик, и для былинкинских прихотей не могут они его сломать или выдернуть из него струны и педали, тем более, что Лизочка Рундукова обучается игре на инструменте и, может быть, это у ней основная цель в жизни.

Былинкин сердито отмахнулся от старухи, заявив,

что он говорит это в форме деликатной просьбы, а отнюдь не в виде строгого приказанья.

На что старуха, крайне обидевшись, расплакалась и чуть было вовсе не отказала от комнаты, если б не подумала о возможностях вселения со стороны.

Былинкин переехал утром и до вечера кряхтел в своей комнате, устанавливая и прибирая все по своему столичному вкусу.

Два или три дня прошли тихо и без особых перемен.

Былинкин ходил на службу, возвращался поздно и долго ходил по комнате, шаркая войлочными туфлями. Вечером жевал что-то и, наконец, засыпал, слегка похрапывая и вереща носом.

Лизочка Рундукова эти два дня ходила несколько притихшая и много раз расспрашивала свою мамашу, а также и Мишку Рундукова о том, какой это Былинкин на ихний взгляд, курит ли он трубку и имел ли он в своей жизни какое-нибудь прикосновение к морскому комиссариату.

Наконец, на третий день она и сама увидела Былинкина.

Это было рано утром. Былинкин, по обыкновению, собирался на службу.

Он шел по коридору в ночной рубашке с растегнутым воротом. Помочи от штанов болтались позади, развеваясь в разные стороны. Он шел медленно, держа в одной руке полотенце и душистое мыло. Другой рукой он приглаживал встрепанные за ночь волосы.

Она стояла в кухне по своим домашним делам, раздувая самовар или нащипывая от сухого полена лучину.

Она тихо вскрикнула, увидев его, и бросилась в сторону, стыдясь своего неприбранного утреннего туалета.

А Былинкин, стоя в дверях, разглядывал барышню с некоторым изумлением и даже восторгом.

И верно: в то утро она была очень хороша.

Эта юная свежесть слегка заспанного лица. Этот небрежный поток белокурых волос. Слегка приподнятый кверху носик. И светлые глаза. И небольшая по высоте, но полненькая фигура. Все это было в ней необыкновенно привлекательно.

В ней была та очаровательная небрежность и, пожалуй, даже неряшливость той русской женщины, которая вскакивает поутру с постели и, немывая, в войлочных туфлях на босу ногу, возится по хозяйству.

Автору, пожалуй, даже нравятся такие женщины. Он ничего не имеет против таких женщин.

В сущности, нет ничего в них хорошего, в этих полных, с ленивым взглядом, женщинах. Нет в них ни живости, ни яркости темперамента, ни, наконец, кокетливости позы. Так — мало двигается, в мягких туфлях, непричесанная... Вообще говоря, пожалуй, даже противно. Но вот подите ж!

И странная вещь, читатель!

Такая какая-нибудь кукольная дамочка, так сказать — измышление буржуазной западной культуры, совсем не по душе автору. Этакая прическа у ней, чорт ее знает какая, греческая — дотронуться нельзя. А дотронешься — криков и скандалу не оберешься. Этакое платье не настоящее — опять не дотронись. Или порвешь, или запачкаешь. Скажите, кому это нужно? В чем тут прелесть и радость существования?

Наша, например, как сядет, так вполне видишь, что сидит, а не на булавке пришпилена, как иная. А та как на булавке. Кому это надо?

Автор многим восхищен в иноземной культуре, однако, относительно женщин автор остается при своем национальном мнении.

Былинкину тоже, видимо, нравились такие женщины.

Во всяком случае, он стоял теперь перед Лизочкой Рундуковой и, слегка раскрыв рот от восторга и

не прибрав даже висящие подтяжки, смотрел на нее с радостным изумлением.

Но это длилось одну минуту.

Лизочка Рундукова, тихо охнув и заметавшись по кухне, вышла прочь, на ходу поправляя свой туалет и спутанные волосы.

К вечеру, когда Былинкин вернулся со службы, он медленно прошел в свою комнату, рассчитывая встретить в коридоре Лизочку. Но не встретил.

Тогда попозже, к вечеру, Былинкин пять или шесть раз смотался на кухню и, наконец, встретил Лизочку Рундукову, которой и поклонился страшно почтительно и галантно, слегка склонив голову на бок и делая руками тот неопределенный жест, который условно показывает восхищение и чрезвычайную приятность.

Несколько дней таких встреч в коридоре и на кухне значительно их сблизили.

Былинкин приходил теперь домой и, слушая, как Лизочка играет какой-нибудь 'трамблям на рояле, упрашивал ее изобразить еще и еще что-нибудь щипательное.

И она играла какой-нибудь собачий вальс или шимми, или брала несколько бравурных аккордов второй или третьей, а может, даже — чорт их разберет! — и четвертой рапсодии Листа.

И он, Былинкин, дважды побывавший на всех фронтах и обстрелянный тяжелой артиллерией, как бы впервые слушал эти дребезжащие звуки беккеровского рояля. И, сидя в своей комнате, мечтательно откидывался на спинку кресла, думая о прелестях человеческого существования.

Очень роскошная жизнь началась у Мишки Рундукова. Былинкин дважды давал ему по гривеннику и один раз пятиалтынный, прося Мишку тихонько свистеть в пальцы, когда старуха у себя на кухне и Лизочка одна в комнате.

Зачем это понадобилось Былинкину, автору край-

не неясно. Старуха с совершенным восторгом смотрела на влюбленных, рассчитывая не позднее осени повенчать их и сбыть Лизочку с рук.

Мишка Рундуков также не разбирался в психологических тонкостях Былинкина и самосильно свистел раз по шесть в день, приглашая Былинкина заглянуть то в ту, то в другую комнату.

И Былинкин входил в комнату, садился подле Лизочки, перекидывался с ней сначала незначительными фразами, потом просил сыграть на инструменте какую-нибудь наиболее ее любимую вещь. И там, у рояля, когда Лизочка переставала играть, Былинкин клал свои узловатые пальцы философски настроенного человека, прожженного жизнью и обстрелянного тяжелой артиллерией, на Лизочкины белые руки и просил рассказать барышню об ее жизни, живо интересуясь подробностями ее прежнего существования. Иногда же спрашивал, чувствовала ли она когда-нибудь трепет настоящей, истинной любви, или это у нее в первый раз.

И барышня загадочно улыбалась и, тихо перебирая рояльные клавиши, говорила: не знаю.

4

Они страстно и мечтательно полюбили друг друга.

Они не могли видеться без слез и трепета.

И встречаясь, всякий раз испытывали все новый и новый прилив восторженной радости.

Былинкин, впрочем, с некоторым даже испугом вглядывался в себя и с изумлением думал, что он, дважды побывавший на всех фронтах и с необыкновенной трудностью заработавший себе право существования, с легкостью бы теперь отдал свою жизнь за один ничтожный каприз этой довольно миленькой барышни.

И, перебирая в своей памяти тех женщин, которые прошли в его жизни и даже последнюю, дьякони-

цу, с которой у него таки был роман, автор совершенно в этом уверен, Былинкин с уверенностью думал, что только теперь, на тридцать первом году, он узнал истинную любовь и подлинный трепет чувства.

Распирали ли Былинкина его жизненные соки, или же у человека бывает предрасположение и склонность к отвлеченным романтическим чувствам — пока остается тайной природы.

Так или иначе, Былинкин видел, что он иной теперь человек, чем был раньше, и что кровь у него изменилась в своем составе, и что вся жизнь — смешна и ничтожна перед столь необычайной силой любви.

И Былинкин, этот слегка циник и прожженный жизнью человек, оглушенный снарядами и видевший не раз лицом к лицу смерть, этот жуткий Былинкин слегка ударился даже в поэзию, написав с десятков различных стихотворений и одну балладу.

Автор не знаком с его стихами, но одно стихотворение, под заглавием: «К ней и к этой»..., посланное Былинкиным в «Диктатуру Труда» и не принятое редакцией, как несозвучное социалистической эпохе, случайно и благодаря любезности технического секретаря, Ивана Абрамовича Кранца, сделалось известным автору.

У автора особое мнение насчет стишков и любительской поэзии, и поэтому автор не будет утруждать читателей и наборщиков целым и довольно длинным стихом. Автор предлагает вниманию наборщиков только пару последних, наиболее звучных стрóf:

Девизом сердца своего,
Любовь прогрессом называл
И только образ твоего
Изящного лица внимал.

**

Ах, Лиза, это я
Сгорел, как пепел от огня
Тому подобного знакомства.

С точки зрения формального метода стишки эти как-будто и ничего себе. Но вообще же стишки — довольно паршивые стишки и, действительно, несозвучны и несоритмичны с эпохой.

В дальнейшем Былинкин не увлекался поэзией и не пошел по тяжкому пути поэта. Былинкин, всегда несколько склонный к американизму, забросил вскоре свои литературные достижения, без сожаления закопал талант в землю и стал жить попрежнему, не проектируя своих безумных идей на бумагу.

Былинкин и Лизочка, встречаясь теперь по вечерам, уходили из дому и до ночи бродили по опустевшим улицам и бульварам. Иногда спускались к реке и сидели над песчаным обрывом, с глубокой и молчаливой радостью следя за быстрой водой реки «Козявки». Иногда же, взяв друг друга за руки, тихо ахали, восторгаясь необычайными красками природы или легкой воздушной тучкой, пробежавшей по небу.

Все это было им ново, очаровательно и, главное, казалось, что видят они все в первый раз.

Иногда влюбленные уходили за город и шли к лесу. А там, взявшись за пальцы, ходили разомлевшие и, останавливаясь перед какой-нибудь сосной или ёлкой, смотрели на нее с изумлением, искренно удивляясь причудливой и смелой игре природы, выкинувшей из-под земли столь нужное для человека дерево.

И тогда Василий Былинкин, потрясенный необычайностью существования на земле и удивительными ее законами, падал от избытка чувств на колени перед барышней и целовал землю вокруг ее ног.

А кругом-то — луна кругом — таинственность ночи, трава, светлячки чирикают, лес молчаливый, лягушки и букашки. Кругом этакая сладость и умиротворение в воздухе. Кругом та радость простого существования, от которой автор не хочет еще до конца отказаться и поэтому ни под каким видом не может признать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни. Автор, как и всякий человечиска, счи-

тает себя в праве хотя бы как-нибудь прожить, несмотря ни на какие окрики строгих и нетерпеливых критиков.

Так вот, Былинкин с Лизочкой наиболее любили эти свои прогулки за город.

Но в одну из таких прелестных прогулок, видимо сырой ночью, неосторожный Былинкин простудился и слег. У него открылась болезнь вроде свинки.

Уже к вечеру Былинкин почувствовал легкий озноб и режущую боль в горле. К ночи же морду его стало раздувать.

С тихим плачем входила Лиза в его комнату и с распущенными волосами, в мягких туфлях, металась от постели к столу, не зная, что ей предпринять, и что делать, и как облегчить участь больного.

Мамаша Рундукова и та вкатывалась в комнату по несколько раз в день, расспрашивая, не хочет ли болящий клюквенного киселька, который, будто бы, незаменим при всех инфекционных заболеваниях.

Через два дня, когда морду у Былинкина раздуло до неузнаваемости, Лизочка побежала за доктором.

Осмотрев больного и прописав ему какие-то медикаменты, доктор ушел, в душе видимо ругаясь, что дали ему мелочью.

Лизочка Рундукова побежала за ним и, догнав его на улице, заламывая руки, стала лепетать и спрашивать: Ну как? Что? Есть ли надежда? И что пускай врач знает, что она не перенесет гибели этого человека.

Тогда врач, в силу своей профессии привыкший к этим сценам, равнодушно сказал, что свинка — свинка и есть, и помирать от этого, к сожалению, не приходится.

Несколько раздосадованная незначительной опасностью, Лизочка грустно вернулась домой и стала самоотверженно ухаживать за больным, не щадя ни

своих слабых сил, ни здоровья, не боясь даже схватить эту самую свинку от заражения.

Былинкин первые дни боялся подняться с подушек и, ощупывая раздувшееся свое горло, с ужасом спрашивал, не разлюбит ли его Лизочка Рундукова после болезни, которая позволила увидеть его в столь безобразном и омерзительном виде.

Но барышня, упрасывая его не беспокоиться, говорила, что, на ее взгляд, он стал еще более представительный мужчина, чем был раньше.

И Былинкин тихо и благодарно смеялся, говоря, что эта болезнь, как нельзя более, испытала крепость ихней любви.

5

Это была совершенно необыкновенная любовь.

А с тех пор, когда Былинкин встал с одра болезни и голова с шеей снова приняли прежние формы, ему стало казаться, что Лизочка Рундукова спасла его от неминуемой гибели.

От этого в ихние любовные отношения вошла некоторая торжественность и даже великодушие.

В один из ближайших после болезни дней Былинкин взял Лизочку за руку и тоном решившегося на что-то человека попросил ее выслушать его, не задавая пока-что лишних вопросов и не вмешиваясь со своими глупыми репликами.

Былинкин сказал длинную и торжественную речь о том, что он совершенно знает, что такое жизнь, и знает, как трудно существовать на земле, и что раньше, когда он был еще неоперившимся юнцом, он с преступной легкостью относился к жизни, за что сильно пострадал в свое время, но теперь, когда ему перевалило за тридцать лет, он, умудренный житейским опытом, знает, как надо жить, и знает суровые и непоколебимые законы жизни. И что, все это обдумав, он предполагает внести кой-какие изменения в свою намеченную жизнь.

Одним словом, Былинкин сделал Лизочке Рундуковой официальное предложение с просьбой не тревожиться за будущее благосостояние, даже если Лизочка Рундукова и впредь останется безработной и не будет в состоянии вносить посильную лепту в общий скромный котел.

Она, слегка поломавшись и поговорив для изящности переживаемого момента о свободной любви, все же с восторгом приняла предложение, говоря, что она давно ждала его и что если б он не сделал этого, то был бы последним мазуриком и проходимцем. А что свободные отношения, хотя и тоже очень хороши и отличны в свое время, но это уж не то, что иное прочее.

Со своей радостной новостью Лизочка Рундукова немедленно побежала к мамаше, а также и к соседям, приглашая их прийти на бракосочетание, которое состоится в весьма непродолжительном времени и будет носить скромный и семейственный характер.

Соседи горячо поздравляли ее, говоря, что она достаточно уж засиделась и намучилась безысходностью своего существования.

Мамаша Рундукова всплакнула, конечно, и пошла к Былинкину, чтоб самой убедиться в подлинности факта.

И Былинкин удостоверял старуху, торжественно попросив разрешение называть ее с этого дня мамашей. Старуха, плача и сморкаясь в передник, сказала, что она пятьдесят три года живет на свете, но что этот день — самый счастливый в ее жизни. И, в свою очередь, попросила называть его Васей. На что Былинкин милостиво дал свое согласие.

Что касается Мишки Рундукова, то Мишка довольно равнодушно отнесся к жизненной перемене своей сестры и в настоящее время мотался где-то по улицам сломя голову и высуня язык.

Теперь влюбленные не ходили уже за город. Боль-

шей частью они просиживали дома и, болтая до ночи, обсуждали план своей дальнейшей жизни.

И в одну из таких бесед Былинкин принялся с карандашом в руках чертить на бумаге план их будущих комнат, которые будут составлять как бы отдельную, маленькую, но уютную квартирку.

Они, совершенно захлебываясь и споря друг с другом, доказывали, куда лучше поставить кровать и куда поставить стол, и где расположить туалет.

Былинкин убеждал Лизочку не делать глупостей и не ставить туалетный столик в углу.

— Это абсолютное мещанство, — сказал Былинкин, — ставить туалетный столик в углу. Это каждая барышня ставит этак. В углу гораздо лучше и монументальнее поставить комод и покрыть его легкой кружевной скатертью, которую мамаша, надеюсь, не откажет дать.

— Комод в углу тоже мещанство, — сказала Лизочка, едва не плача. — Да, к тому же, комод мамашин, и даст ли она его или нет, это еще вопрос и ответ.

— Ерунда, — сказал Былинкин, — как это она не даст? Не держать же нам белье на подоконниках! Явная чушь.

— Ты, Вася, поговори с мамашей, — строго сказала Лизочка. — Поговори просто как с родной матерью. Скажи, дескать, дайте, маменька, комод.

— Ерунда, — сказал Былинкин. — Да, впрочем, я могу и сейчас сходить к старухе, если тебе этого так хочется.

И Былинкин пошел в старухину комнату.

Было уже довольно поздно. Старуха спала.

Былинкин долго раскачивал ее, и та, брыкаясь во сне, никак не хотела встать и понять, в чем дело.

— Проснитесь же, мамаша, — строго сказал Былинкин. — Ведь можем же мы с Лизочкой рассчитывать на какой-то небольшой комфорт? Ведь не трепаться же белью на подоконниках.

С трудом понимая, что от нее нужно, старуха принялась говорить, что комод этот пятьдесят один год стоит на своем месте, и на пятьдесят втором году она не намерена перетаскивать его в разные стороны и разбрасывать его налево и направо. И что комоды она не сама делает. И что поздно ей, на старости лет, обучаться столярному ремеслу. Пора бы это понять и не обижать старуху.

Былинки принялся стыдить мамашу, говоря, что он, побывавший на всех фронтах и дважды обстрелянный тяжелой артиллерией, может же, наконец, рассчитывать на покойную жизнь.

— Стыдно, мамаша! — сказал Былинкин. — Жалко вам комода. А в гроб вы его не возьмете. Знайте это.

— Не дам комода! — визгливо сказала старуха. — Помру, тогда и берите хоть всю мебель.

— Да, помрете! — сказал Былинкин с негодованием. — Жди!..

Видя, что дело принимает серьезный оборот, старуха принялась плакать и причитать, говоря, что в таком случае пускай невинный ребенок, Мишка Рундуков, своими устами скажет последнее слово, тем более, что он единственный мужской представитель в ихнем рундуковском роду, и комод, по праву, принадлежит ему, а не Лизочке.

Разбуженный Мишка Рундуков крайне не захотел отдавать комода.

— Да-а, — сказал Мишка. — Небось, гривенник отвалят, а комод взять хочут. Комоды тоже денег стоят.

Тогда Былинкин, хлопнув дверью, пошел в свою комнату и, горько отчитывая Лизочку, говорил ей, что ему без комода как без рук, и что он сам, закаленный борьбой, знает, что такое жизнь, и ни на шаг не отступится от своих идеалов.

Лизочка буквально металась от матери к Былинкину, умоляя их как-нибудь прийти к соглашению и

предлагая, по временам, перетаскивать комод из одной комнаты в другую.

Тогда, попросив Лизочку не метаться, Былинкин предложил ей немедленно лечь спать и набраться сил с тем, чтобы с утра заняться этим роковым вопросом.

Утро ничего хорошего не принесло.

Много было сказано со всех сторон горьких и обидных истин.

Разгневанная старуха с отчаянной решимостью сказала, что она видит его, Василия Васильевича Былинкина, вдоль и поперек, и что сегодня он комод от нее требует, а завтра студень из нее сварит и съест с хлебом. Вот это какой человек!

Былинкин кричал, что он подаст в уголовный розыск прошение об аресте старухи за распространение заведомо ложных и порочащих слухов.

Лизочка с тихим криком перебегала от одного к другому, упрашивая их, наконец, не орать и постараться спокойно разобраться в вопросе.

Тогда старуха сказала, что она вышла из того возраста, когда орут, и что она и без оранья скажет всем и каждому, что Былинкин за это время у них обедал три раза и не потрудился даже, ради любезности, предложить некоторую компенсацию хотя бы за один обед.

Страшно взволнованный, Былинкин язвительно сказал, что зато он, гуляя с Лизочкой, много раз покупал ей леденцы и пастилу и два раза букеты цветов и, тем не менее, не представляет мамаше никаких счетов. На что Лизочка, закусив губы, сказала, что пусть он не врет нахально, что никакой пастилы не было, а было лишь монпансье и небольшой букетик фиалок, которым грош цена и которые, к тому же, на другой день завяли.

Сказав это, Лизочка с плачем вышла из комнаты, предоставив все на волю судьбы.

Былинкин хотел побежать за ней и извиниться за неточные сведения, но, снова связавшись со стару-

хой, назвал ее чортовой мамашей и, плюнув в нее, убежал из дому.

Былинкин ушел из дому и два дня пропадал неизвестно где. И когда явился, то официальным тоном заявил, что он не считает более возможным пребывать в этом доме.

Через два дня Былинкин переехал на другую квартиру, в дом Овчинниковых. Лизочка демонстративно просидела эти дни в своей комнате.

Автор не знает подробностей переезда и также не знает, какие горькие минуты переживала Лизочка. И переживала ли она их. И сожалел ли обо всем Былинкин или все делал с полным сознанием и решимостью.

Автору известно только, что Былинкин, переехав, долгое еще время, правда, уже после своей женитьбы на Марусе Овчинниковой, ходил к Лизочке Рундуковой. И они вдвоем, потрясенные своим несчастьем, сидели рядом, перебрасываясь незначительными словами. Иногда, впрочем, перебирая в своей памяти тот или иной счастливый эпизод или случай из прошлого, говорили о нем с грустной и жалкой улыбкой, сдерживая слезы.

Иногда приходила в комнату мать, и тогда они втроем оплакивали свою судьбу.

После Былинкин перестал ходить к Рундуковым. И, встречаясь с Лизочкой на улице, корректно и сдержанно кланялся ей и проходил мимо...

6

Так кончилась эта любовь.

Конечно, в иное время, лет, скажем, через триста, эта любовь так бы не кончилась. Она бы расцвела, дорогой читатель, пышным и необыкновенным цветом. Но жизнь диктует свои законы.

В заключение повести автор хочет сказать, что, развертывая эту несложную историю любви и несколько увлекшись переживаниями героев, автор со-

вершенно упустил из виду соловья, о котором столь загадочно сказано было в заглавии.

Автор побаивается, что честный читатель, или наборщик, или даже отчаянный критик, прочтя эту повесть, невольно расстроится.

— Позвольте, — скажет, — а где же соловей? Что вы, — скажет, — морочите голову и заманиваете читателя на легкое заглавие?

Было бы, конечно, смешно начинать с начала повесть об этой любви. Автор и не пытается этого сделать. Автор только хочет вспомнить кое-какие подробности.

Это было в самый разгар, в самый наивысший момент ихнего чувства, когда Былинкин с барышней уходили за город и до ночи бродили по лесу. И там, слушая стрекот букашек или пение соловья, подолгу стояли в неподвижных позах. И тогда Лизочка, заламывая руки, не раз спрашивала:

— Вася, как вы думаете, о чем поет этот соловей?

На что Вася Былинкин обычно отвечал сдержанно:

— Жрать хочет, оттого и поет.

И только потом, несколько освоившись с психологией барышни, Былинкин отвечал более подробно и туманно. Он предполагал, что птица поет о какой-то будущей распрекрасной жизни.

Автор тоже именно так и думает: о будущей отличной жизни лет, скажем, через триста, а может, даже и меньше.

Да, читатель, скорей бы, как сон, прошли эти триста лет, а там заживем!..

Ну, а если и там будет плохо, тогда автор с пустым и холодным сердцем, согласится считать себя лишней фигурой на фоне восходящей жизни.

Тогда можно и под трамвай.

1925 г.

СТРАШНАЯ НОЧЬ

1

Пишешь, пишешь, а для чего пишешь — неизвестно.

Читатель, небось, усмехнется тут. А деньги, скажет. Деньги-то, скажет, курицын сын, получаешь? До чего, скажет, жиреют люди.

Эх, уважаемый читатель! А что такое деньги? Ну получишь деньги, ну дров купишь, ну жене приобретешь какие-нибудь там боты. Только и всего. Нету в деньгах ни душевного успокоения, ни мировой идеи.

А впрочем, если и этот мелкий, корыстный расчет откинуть, то автор совсем расплевался бы со всей литературой. Бросил бы писать. И ручку с пером сломал бы к чортовой бабушке.

В самом деле.

Читатель пошел какой-то отчаянный. Накидывается он на французские и американские романы, а русскую отечественную литературу и в руки не берет. Ему, видите ли, в книге охота увидеть этакий стремительный полет фантазии, этакий сюжет, чорт его знает какой.

А где же все это взять?

Где взять этот стремительный полет фантазии, если российская действительность не такая?

А что до революции, то опять-таки тут запятая. Стремительность тут есть. И есть величественная фантазия. А попробуй ее описать. Скажут — неверно. Неправильно, скажут. Научного, скажут, подхода нет к вопросу. Идеология, скажут, не ахти какая.

А где взять этот подход? Где взять, я спрашиваю, этот научный подход и идеологию, если автор

родился в мелкобуржуазной семье, и если он до сих пор еще не может подавить в себе мещанских корыстных интересов и любви, скажем, к цветам, к занавескам и к мягким креслам?

Эх, уважаемый читатель! Беда как плохо быть русским писателем.

Иностранец, тот напишет — ему как с гуся вода. Он тебе и стремительность фантазии пустит, и про диких зверей наплетет, и на луну своего героя пошлет в ядре в каком-нибудь...

И ничего.

А попробуй у нас, сунься с этим в литературу. Попоробуй, скажем, в ядре нашего инженера Курицына, Бориса Петровича, послать на луну. Засмеют. Оскорбятся. Эва, скажут, наплел, собака!..

Вот и пишешь с полным сознанием своей безнадежности. И утешения никакого нет.

А что слава, то что ж слава? Если о славе думать, то опять-таки, какая слава? Опять-таки неизвестно, как еще обернется мировая всеобщая история, и как земля повернется, так сказать, в геологическом отношении.

Вот автор недавно прочел у немецкого философа, будто вся-то наша жизнь и весь расцвет нашей культуры есть не что иное, как междулунниковый период.

Автор признается: трепет прошел по его телу после прочтения.

В самом деле. Представь себе, читатель... На минуту отойди от своих повседневных забот и представь такую картину: до нас существовала какая-то жизнь и какая-то высокая культура, и после она стерлась. А теперь опять расцвет, и опять совершенно все сотрется. Нас-то, может быть, это и не заденет, а все равно досадное чувство чего-то проходящего, не вечного и случайного и постоянно меняющегося заставляет снова и снова подумать совершенно заново о всей нашей жизни.

Ты вот, скажем, рукопись написал, с одной орфографией вконец намучился, не говоря уже про стиль, а, скажем, через пятьсот лет мамонт какой-нибудь наступит ножищей на твою рукопись, ковырнет ее клыком, понюхает и отбросит, как несъедобную дрянь.

Вот и выходит, что ни в чем нет тебе утешенья. Ни в деньгах, ни в славе, ни в почестях. И остается одна сплошная досада на собственную литературу.

А что поделывать? Жизнь такая смешная. Скучно как-то существовать на земле.

Вот выйдешь, например, в поле, за город... Домишко какой-нибудь за городом. Забор. Скучный такой. Коровенка стоит этакая скучная до слез... Бок в навозе у ней... Хвостом треплет... Жует... Баба этакая в сером трикотажном платке сидит. Делает что-то руками. Петух ходит.

Ох, скучно как! До чего скучно!

Подходит, скажем, к бабе этакий русский, вроде ходячего растения, мужик. Подойдет он, посмотрит светлыми глазами, вроде стекляшек, — чего эта баба делает? Икнет, почешет ногу об ногу, зевнет. «Эх, скажет, спать что ли ча пойти. Скушно чтой-то»... И пойдет спать.

А вы говорите: подайте стремительность фантазии.

Эх, господа, господа товарищи! Да откуда ее взять? Как ее приспособить к этой действительности? Скажите! Сделайте такую милость, такое великое одолжение.

А если в город опять-таки пойти, где светят фонари светлым светом, где граждане в полном сознании своего человеческого величия ходят взад и вперед, — опять-таки скучно. И нету стремительности фантазии.

Ну ходят.

А пойдя, читатель, попробуй, потрудись, пойдя за тем человеком — ерунда выйдет.

Идет, оказывается, человек в долг признаться три рубля денег или на любовное свидание он идет.

Придет, сядет напротив своей дамы, что-нибудь скажет ей про любовь, а, может, и ничего не скажет, а просто положит руку свою на дамское колено и в глаза посмотрит.

Или придет человек, посидит у хозяина. Выкушает стаканчик чаю, посмотрится в самовар — мол, рожа какая кривая, усмехнется про себя, на скатерть варенье капнет и уйдет. Шапку напялит на бок и уйдет.

А спроси его, сукина сына, зачем он приходил, какая в этом мировая идея или польза для человечества — он и сам не знает.

Конечно, в данном случае, в этой скучной картине городской жизни, автор берет людей мелких, ничтожных, себе подобных и отнюдь не государственных деятелей или, скажем, работников просвещения, которые действительно ходят по городу чорт его знает по каким важным общественным делам и обстоятельствам.

Этих людей автор никак не имел в виду, когда говорил про дамские, например, колени или просто, как рожей в самовар смотрятся.

Автор, заранее забегая вперед, дает эту отповедь зарвавшимся критикам, которые явно из озорничества попытаются уличить автора в искажении провинциальной действительности.

Действительности мы не искажаем. Нам за это денег не платят, уважаемые товарищи.

А, впрочем, от всего этого дело никак не изменится. И такая акварельная картина городской нашей провинциальной жизни остается в неизменности.

Грустно.

Автор вот знал одного такого городского человека. Жил он тихо, как и все почти живут. Пил и ел, и даме своей на колени руки клал, и в очи ей глядел,

и вареньем на скатерть капал, и три рубля денег в долг без отдачи занимал.

Об этом человеке автор и напишет свою очень короткую повесть. А, может быть, эта повесть будет и не о человеке, а о том глупом и ничтожном приключении, за которое человек, в порядке принудительного взыскания, пострадал на двадцать пять рублей.

Фантазией разбавлять этот случай? Создавать занимательную марьяжную интрижку вокруг него? Нет! Пущай французы про это пишут, а мы потихоньку, а мы помаленьку, мы вровень с русской действительностью.

А веселого читателя, который ищет бойкий и стремительный полет фантазии и который ждет пикантных подробностей и происшествий, автор с легким сердцем отсылает к иностранным авторам.

2

Эта короткая повесть начинается с полного и подробного описания всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

По профессии своей Котофеев был музыкант. Он играл в симфоническом оркестре на музыкальном треугольнике.

Может быть и существует особое, специальное название этого инструмента — автор не знает, во всяком случае, читателю, наверное, приходилось видеть в самой глубине оркестра вправо — сутулого какого-нибудь человека с несколько отвисшей челюстью, перед небольшим железным треугольником. Человек этот меланхолично позвякивает в свой нехитрый инструмент в нужных местах. Обычно дирижер подмигивает для этой цели правым глазом.

Странные и удивительные бывают профессии.

Такие бывают профессии, что ужас берет, как это человек до них доходит. Как это, скажем, человек до-

думался по канату ходить или носом свистеть, или позвякивать в треугольник.

Но автор не смеется над своим героем. Нет. Борис Иванович Котофеев был человек решительно неплохой, неглупый и со средним образованием.

Жил Борис Иванович не в самом городе, а жил он в предместье, так сказать, на лоне природы.

Природа была не ахти какая замечательная, однако — небольшие сады у каждого дома, трава, и канавы, и деревянные скамейки, усыпанные шелухой подсолнухов, — все это делало вид привлекательным и приятным.

Весной же было здесь совершенно очаровательно.

Борис Иванович жил на Заднем проспекте у Лукерьи Блохиной.

Представьте себе, читатель, небольшой, деревянный, желтой окраски дом, низенький, шаткий забор, широкие желтоватые кривые ворота. Двор. На дворе по правую руку небольшой сарай. Грабля с поломанными зубьями, стоящая здесь со времен Екатерины. Колесо от телеги. Камень посреди двора. Крыльцо с оторванной нижней ступенькой.

А войдешь на крыльцо — дверь, обитая рогожей. Сенцы этакие, небольшие, полутемные, с зеленой бочкой в углу. На бочке досточка. На досточке ковшик.

Ватер с тонкой, в три доски, дверью. На двери деревянная вертушечка для затвора. Небольшая стекляшка вместо окна. Паутина на ней. Жирноватый паук посередке.

Ах, знакомая, сладкая сердцу картина.

Все это было как-то прелестно. Прелестно тихой, скучной, безмятежной жизнью. И оторванная даже ступенька у крыльца, несмотря на свой невыносимо скучный вид, и теперь мысленно приводит автора в тихое созерцательное настроение.

А Борис Иванович всякий раз, вступая на крыль-

цо, отплевывался с омерзением в сторону и покачивал головой, глядя на обломанную корявую ступеньку.

Семь лет назад Борис Иванович Котофеев впервые вступил на крыльцо, впервые перешагнул порог этого дома и впервые произнес робким голосом: — «Не здесь ли, между прочим, сдается комната?».

Комната сдавалась именно здесь. И именно здесь Борис Иванович остался на всю жизнь.

Он женился на своей хозяйке, на Лукерье Петровне Блохиной. И стал полновластным хозяином всего этого имения.

И колесо, и сарай, и грабля, и камень — все стало его неотъемлемой собственностью.

Лукерья Петровна с беспокойной усмешкой глядела на то, как Борис Иванович становился всего этого хозяином.

И под сердитую руку она всякий раз не забывала прикрикнуть и одернуть Котофеева, говоря, что самто он человек с ветру, без кола, без двора, ошчастливленный ее многими милостями.

Борис Иванович хотя и огорчался, но молчал.

Он полюбил этот дом. И двор с камнем полюбил. Он полюбил жить здесь за эти семь лет.

Вот, бывают такие люди, о которых можно в десять минут рассказать всю ихнюю жизнь, всю обстановку жизни, от первого бессмысленного крика до последних дней.

Автор попробует это сделать. Автор попробует очень коротко, в десять минут, но все-таки со всеми подробностями, рассказать о всей жизни Бориса Ивановича Котофеева.

А впрочем, и рассказывать нечего.

Тихо и спокойно текла его жизнь.

И если всю эту жизнь разбить на какие-то пункты, на какие-то этапы, от которых отходила жизнь, то вся жизнь распадается на пять или шесть небольших периодов.

Вот, Борис Иванович, окончив реальное учили-

ще, вступает в жизнь. Ему 20 лет. У него миленькие усы. И никаких особых планов. Он пытается стать инженером. Потом врачом по женским и детским болезням. Потом, проведя звонок в квартире, — электротехником. Случайная встреча с приятелем — музыкантом из городского театра — решает его карьеру. Борис Иванович Котофеев становится музыкантом.

Вот ему 25 лет. Он опытный музыкант. Он уже не впивается глазами в дирижера, как раньше, боясь ударить в инструмент не во-время. Он уже бьет по своему треугольнику слегка небрежно, с полузакрытыми глазами, как опытный и нужный музыкант. Он уже чувствует свое место в жизни. Он как-будто бы нашел призвание и цель своего существования.

Он уже живет полной грудью. Гуляет по бульвару. Посещает танцевальные балы. И там иногда бабочкой порхает по залу с голубым распорядительским бантом на груди.

Он влюбляется в миловидную хористочку. Он называет ее самыми сладкими и нежными именами. Назначает свидания в самых романтических местах города. И даже желает на ней жениться. Он говорит ей об этом высоким и тонким голосом. Но она, считая слишком мизерным его жалование, уходит от него ко второй скрипке.

Тогда в 30 лет Борис Иванович сменяет свою жизнь провинциального льва и отчаянного любовника на более спокойное существование.

Он переезжает за город и вскоре женится на своей квартирной хозяйке. И с ней живет семь лет.

И вот, если теперь, в 37 лет, закрыть глаза и подумать о прошлом, то все: и женитьба, и революция, и музыка, и голубой распорядительский бант на груди — все это стерлось в одну сплошную, ровную линию.

Даже любовное событие стерлось и превратилось в какое-то досадное воспоминание, в скучный анекдот о том, как хористка просила подарить ей сумоч-

ку из лакированной кожи, и о том, как Борис Иванович, откладывая по рублю, собирал нужную сумму.

Так жил человек. Так жил он до 37 лет, вплоть до того момента, до того исключительного происшествия в его жизни, за которое он был по суду оштрафован на двадцать пять рублей. Вплоть до этого самого приключения, ради которого автор, собственно, и рискнул испортить несколько листов бумаги и осушить небольшой пузырек чернил.

3

Итак, Борис Иванович Котофеев прожил до 37 лет. Очень вероятно, что он еще будет жить очень долго. Человек он очень здоровый, крепкий и с широкой костью. А что прихрамывает Борис Иванович слегка, чуть заметно, то это еще при царском режиме он стер свою ногу.

Однако, нога жить не мешала, и жил Борис Иванович ровно и хорошо. И все было бы и впредь хорошо и отлично и никогда бы не случилось скандального происшествия, если б не одно обстоятельство, которое подтачивало все время спокойную жизнь Бориса Ивановича.

Автор говорит здесь о той неотвязчивой мысли, о той мысли, которую уже много лет обдумывал Борис Иванович с некоторой горькой и непримиримой усмешкой. Он думал о той случайности и нетвердости в жизни, на которых основано все наше существование.

Борис Иванович раз даже завел об этом речь в кругу своих близких друзей. Это было на его собственных именинах.

— Странно все, господа, — сказал Борис Иванович. — Все как-то, знаете, случайно в нашей жизни. Все, я говорю, на случае основано... Женился я, скажем, на Луше... Я не к тому говорю, что недоволен или что-нибудь вообще. Но случайно же это. Мог бы

я вовсе не здесь комнату снять. Я случайно на эту улицу зашел... Значит, что же это выходит? Случай!

Приятели криво усмехались, ожидая семейного столкновения. Однако, столкновения не последовало. Лукерья Петровна, соблюдая настоящий тон, вышла только демонстративно из комнаты, выдула ковшик холодной воды и снова вернулась к столу свеженькая и веселенькая. Зато ночью устроила столь грандиозный скандал, что сбежавшиеся соседи пытались вызвать пожарную часть для ликвидации семейных устоев.

Однако, после скандала Борис Иванович, лежа с открытыми глазами на диване, продолжал обдумывать свою мысль. Он думал о том, что не только его женитьба, но, может, и игра на треугольнике и вообще все его призвание — просто случай, простое стечение житейских обстоятельств.

«А если случай, — думал Борис Иванович, — значит, все на свете непрочное. Значит, нету какой-то твердости. Значит, все завтра же может измениться».

У автора нет охоты доказывать правильность мыслей Бориса Ивановича. Но на первый взгляд действительно все в нашей уважаемой жизни кажется неправильным и случайным. И случайное наше рождение, и случайное существование, составленное из глупых и случайных обстоятельств, и случайная смерть. Все это заставляет и впрямь подумать о том, что все нелепо, о том, что на земле нет одного строгого, твердого закона.

А в самом деле, какой может быть строгий закон, когда все меняется на наших глазах, все колеблется, начиная от самых величайших вещей — от Бога и любви — до мизернейших человеческих измышлений.

Скажем, многие поколения и даже целые народы воспитывались на том, что любовь существует, и Бог существует и, скажем, царь есть какое-то необъяснимое явление.

А теперь мало-мальски способный философ с не-

обычайной легкостью, одним росчерком пера, доказывает обратное.

Или наука. Уж тут-то все казалось ужасно убедительным и верным, а оглянитесь назад — все неверно и все по временам меняется от вращения земли до какой-нибудь там теории относительности.

Автор — человек без высшего образования, в точных хронологических датах и собственных именах туговато разбирается и поэтому не берется впустую доказывать. Но уж ты, читатель, поверь — тут уж все без обмана.

Так вот и все в нашей жизни, даже в нашей худой — до слез скучной — жизни и то все случайно, нетвердо и непостоянно.

Об этом Борис Иванович Котофеев вряд ли, конечно, думал. Был он хотя и неглупый человек, со средним образованием, но не настолько уж развит, чтобы обобщать с научной точки зрения.

И все-таки, в каком-то мелком плане, в повседневном своем существовании он и то заметил какой-то хитрый подвох в жизни. И даже стал с некоторых пор побаиваться за твердость своей судьбы.

И это сомнение запало ему в душу еще в молодые годы.

Но это сомнение теперь разгорелось в пламя.

Однажды, возвращаясь домой по Заднему проспекту, Борис Иванович Котофеев столкнулся с какой-то темной фигурой в шляпе.

Фигура остановилась перед Борис Ивановичем и худым голосом попросила об одолжении.

Борис Иванович сунул руку в карман, вынул какую-то мелочишку и подал нищему. И вдруг посмотрел на него.

А тот сконфузился и прикрыл рукой свое горло, будто извиняясь, что на горле нет ни воротничка, ни галстука. Потом, тем же худым голосом, нищий сказал, что он — бывший помещик, расстрелянный за политические убеждения, и что когда-то он и сам

горстями подавал нищим серебро, а теперь, в силу течения новой демократической жизни, он принужден и сам просить об одолжении.

Борис Иванович принялся расспрашивать нищего, интересуясь подробностями его прошлой жизни.

— Да что ж, — сказал нищий, польщенный вниманием. — Был я ужасно какой богатый помещик, деньги куры у меня не клевали, а теперь, как видите, в нищете, в худобе и жрать нечего. Все, гражданин хороший, меняется в жизни в свое время.

Дав нищему еще монету, Борис Иванович тихонько пошел к дому. Ему не было жаль нищего, но какое-то неясное беспокойство овладело им.

— Все в жизни меняется в свое время, — бормотал добрейший Борис Иванович, возвращаясь домой.

Дома Борис Иванович рассказал своей жене, Лукерье Петровне, об этой встрече, причем несколько сгустил краски и прибавил от себя кой-какие подробности, например, как этот помещик кидался золотом в нищих и даже разбивал им носы тяжеловесными монетами.

— Ну, и что ж, — сказала жена. — Ну, жил хорошо, теперь — плохо. В этом нет ничего ужасно удивительного. Вот недалеко ходить — сосед наш тоже чересчур бедствует.

И Лукерья Петровна стала рассказывать, как бывший учитель чистописания, Иван Семеныч Кушаков, остался не при чем в своей жизни. А жил тоже хорошо и даже сигары курил.

Котофеев как-то близко принял к сердцу и этого учителя. Он стал расспрашивать жену, почему и отчего тот впал в бедность.

Борис Иванович захотел даже увидеть этого учителя. Захотел немедленно принять самое горячее участие в его плохой жизни. И он стал просить свою жену, Лукерью Петровну, чтобы та сходила поскорее за учителем, привела бы его и напоила чаем.

Для порядку побранившись и назвав мужа «вах-

лаком», Лукерья Петровна все же накинула косынку и побежала за учителем, съедаемая крайним любопытством.

Учитель, Иван Семенович Кушаков, пришел почти немедленно.

Это был седоватый, сухонький старичок в длинном худом сюртуке, без жилета. Грязная рубашка без воротника выпирала на груди комком. И медная, желтая, ужасно яркая запонка выдавалась как-то далеко вперед своей пупочкой.

Седоватая щетина на щеках учителя чистописания была давно не брита и росла кустиками.

Учитель вошел в комнату, потирая руки и на ходу прожевывая что-то. Он степенно, но почти весело, поклонился Котофееву и зачем-то подмигнул ему глазом.

Потом присел к столу и, пододвинув тарелку с ситником с изюмом, принялся жевать, тихо усмехаясь себе под нос.

Когда учитель поел, Борис Иванович с жадным любопытством стал расспрашивать о прежней его жизни и о том, как и почему он так опустился и ходит без воротничка, в грязной рубашке и с одной голой запонкой.

Учитель, потирая руки и весело, но ехидно подмигивая, стал говорить, что он, действительно, не плохо жил и даже сигары курил, но с изменением потребностей в чистописании и по декрету народных комиссаров предмет этот был исключен из программы.

— А я с этим свыкся уж, — сказал учитель, — привык. И на жизнь не жалуюсь. А что ситный скушал, то в силу привычки, а вовсе не от голоду.

Лукерья Петровна, сложив руки на переднике, хохотала, предполагая, что учитель уже начинает завираться и сейчас заврется окончательно. Она с нескрываемым любопытством глядела на учителя, ожидая от него чего-то необыкновенного.

А Борис Иванович, покачивая головой, бормотал что-то, слушая учителя.

— Что ж, — сказал учитель, снова без нужды усмехаясь, — так и все в нашей жизни меняется. Сегодня, скажем, отменили чистописание, завтра рисование, а там, глядишь, и до вас достучаются.

— Ну, уж вы того, — сказал Котофеев, — слегка задохнувшись. — Как же до меня-то могут достучаться... Если я в искусстве... Если я на треугольнике играю.

— Ну и что ж, — сказал учитель презрительно, — наука и техника нынче движутся вперед. Вот изобретут вам электрический этот самый инструмент — и крышка... И достучались...

Котофеев, снова слегка задохнувшись, взглянул на жену.

— И очень просто, — сказала жена, — если в особенности движутся наука и техника...

Борис Иванович вдруг встал и начал нервно ходить по комнате.

— Ну и что ж, ну и пушай, — сказал он, — ну, и пушай!

— Тебе пушай, — сказала жена, — а мне отдувайся. Мне же, дуре, на шею сядешь, Пилат-мученик.

Учитель завозился на стуле и примиряюще сказал:

— Так и все: сегодня чистописание, завтра рисование... И живет, скажем, человек, думает, мол, все прочно. Но, между прочим, все меняется в нашей жизни. Все нетвердо, милостивые мои государи.

Борис Иванович подошел к учителю, попрощался с ним и, попросив его зайти хотя бы завтра к обеду, вызвался проводить гостя до дверей.

Учитель встал, поклонился и, весело потирая руки, снова сказал, выйдя в сени:

— Уж будьте покойны, молодой человек, сегодня чистописание, завтра рисование, а там и по вас хлопнут.

Борис Иванович закрыл за учителем двери и,

пройдя в свою спальню, сел на кровать, охватив руками свои колени.

Лукерья Петровна в стоптанных войлочных туфлях вошла в комнату и стала прибираться к ночи.

— Сегодня чистописание, завтра рисование, — бормотал Борис Иванович, слегка покачиваясь на постели. — Так и вся наша жизнь.

Лукерья Петровна оглянулась на мужа, молча и с остервенением плюнула на пол и стала распутывать свалявшиеся за день свои волосы, стряхивая с них солону и щепки.

Борис Иванович посмотрел на свою жену и меланхолическим голосом вдруг сказал:

— А что, Луша, а вдруг да и вправду изобретут с электричеством, треугольник то-есть. Скажем, кнопочка небольшая на пюпитре... Дирижер тыкнет пальцем, и она звонит...

— И очень даже просто, — сказала Лукерья Петровна. — Очень просто... Ох, сядешь ты мне на шею!.. Чувствую, сядешь...

Борис Иванович пересел с кровати на стул и задумался.

— Горюешь, небось? — сказала Лукерья Петровна. — Задумался? За ум схватился... Не было бы у тебя жены, да дома, ну куда бы ты, голоштанник, делся? Ну, например, попрут тебя с оркестру?

— Не в том, Луша, дело, что попрут, — сказал Борис Иванович. — А в том, что превратно все. Случай... Почему-то я, Луша, играю на треугольнике. И вообще... Если игру скинуть с жизни, как же жить тогда? Чем это, кроме того, я прикреплен?

Лукерья Петровна, лежа в постели, слушала мужа, тщетно стараясь разгадать смысл его слов. И, предполагая в них личное оскорбление и претензию на ее недвижимое имущество, снова сказала:

— Ох, сядешь мне на шею! Сядешь, Пилат-мученик, сукин кот.

— Не сяду, — сказал Котофеев.

И, снова задохнувшись, он встал со стула и принялся ходить по комнате.

Страшное волнение охватило его. Рукой проведя по голове, будто стараясь скинуть какие-то неясные мысли, Борис Иванович снова присел на стул.

И сидел долго в неподвижной позе.

Затем, когда дыхание Лукерьи Петровны перешло в легкий, с небольшим свистом, храп, Борис Иванович встал со стула и вышел из комнаты.

И, найдя свою шляпу, Борис Иванович натянул ее на голову и, в какой-то необыкновенной тревоге, вышел на улицу.

4

Было всего десять часов.

Стоял отличный, тихий августовский вечер.

Котофеев шел по проспекту, широко махая руками.

Странное и неясное волнение его не покидало.

Он дошел, совершенно не заметив того, до вокзала.

Прошел в буфет, выпил бокал пива и, снова задохнувшись и чувствуя, что не хватает дыхания, опять вышел на улицу.

Он шел теперь медленно, уныло опустив голову, думая о чем-то. Но если спросить его, о чем он думал, он не ответил бы — он и сам не знал.

Он шел от вокзала все прямо и на аллее, у городского сада, присел на скамейку и снял шляпу.

Какая-то девица с широкими бедрами, в короткой юбке и в светлых чулках, прошла мимо Котофеева раз, потом вернулась, потом снова прошла и, наконец, села рядом, взглянув на Котофеева.

Борис Иванович вздрогнул, взглянул на девушку, мотнул головой и быстро пошел прочь.

И вдруг Котофееву все показалось ужасно отвратительным и невыносимым. И вся жизнь — скучной и глупой.

— И для чего это я жил... — бормотал Борис Иванович. — Приду завтра — изобретен, скажут. Уже, скажут, изобретен... Изобретен, скажут.

Сильный озноб охватил все тело Бориса Ивановича. Он почти бегом пошел вперед и, дойдя до церковной ограды, остановился. Потом, пошарив рукой калитку, открыл ее и вошел в ограду.

Прохладный воздух, несколько тихих берез, каменные плиты могил как-то сразу успокоили Котофеева. Он присел на одну из плит и задумался. Потом сказал вслух:

— Сегодня чистописание, завтра рисование. Так и вся наша жизнь.

Борис Иванович закурил папироску и стал обдумывать, как бы он начал жить в случае чего-либо.

— Прожить-то, проживу, — бормотал Борис Иванович, — а к Луше не пойду. Лучше народу в ножки поклонюсь. Вот, скажу, человек, скажу, гибнет, гражданин. Не оставьте в несчастьи...

Борис Иванович вздрогнул и встал. Снова дрожь и озноб охватили его тело.

И вдруг Борису Ивановичу показалось, что электрический треугольник давным-давно изобретен и только держится в тайне, в страшном секрете, с тем, чтобы сразу, одним ударом, свалить его.

Борис Иванович в какой-то тоске почти выбежал из ограды на улицу и пошел быстро, шаркая ногами.

На улице было тихо.

Несколько запоздалых прохожих спешили по своим домам.

Борис Иванович постоял на углу, потом, почти не отдавая отчета в том, что делает, подошел к какому-то прохожему и, сняв шляпу, глухим голосом сказал:

— Гражданин... Милости прошу... Может, человек погибает в эту минуту...

Прохожий с испугом взглянул на Котофеева и быстро пошел прочь.

— А-а, — закричал Борис Иванович, опускаясь на деревянный тротуар. — Граждане!.. Милости прошу... На мое несчастье... На мою беду...

Несколько прохожих окружило Бориса Ивановича, разглядывая его с испугом и изумлением

Постовой милиционер подошел, тревожно похлопывая рукой по кобуре револьвера, и подергал Бориса Ивановича за плечо.

— Пьяный это, — с удовольствием сказал кто-то в толпе. — Нализался, чорт, в будень день. Ах, нет на них закону!

Толпа любопытных окружила Котофеева. Кое-кто из сердобольных пытался поднять его на ноги. Борис Иванович рванулся от них и отскочил в сторону. Толпа расступилась. Борис Иванович растерянно посмотрел по сторонам, ахнул и вдруг молча побежал в сторону.

— Крой его, робя! Хватай! — завыл кто-то истошным голосом.

Милиционер резко и пронзительно свистнул. И трель свистка всколыхнула всю улицу.

Борис Иванович, не оглядываясь, бежал ровным, быстрым ходом, опустив голову в плечи.

Сзади, дико улюлюкая и хлопая ногами по грязи, бежали люди.

Борис Иванович метнулся за угол и, добежав до церковной ограды, перепрыгнул ее.

— Здеся! — выл тот же голос. — Сюдый, братцы! Сюдый, загоняй!.. Крой...

Борис Иванович вбежал на паперть, тихо ахнул, оглянувшись назад, и налег на дверь.

Дверь поддалась и со скрипом на ржавых петлях открылась.

Борис Иванович вбежал внутрь.

Одну секунду он постоял в неподвижности, потом, охватив голову руками, по шатким каким-то сухим и скрипучим ступенькам бросился наверх.

— Здеся! — орал доброхотный следователь. — Бери его, братцы! Крой все по чем попало...

Сотня прохожих и обывателей ринулась через ограду и ворвалась в церковь. Было темно.

Тогда кто-то чиркнул спичкой и зажег восковой огарок на огромном подсвечнике.

Голые высокие стены и жалкая церковная утварь осветились вдруг желтым, скудным мигающим светом.

Бориса Ивановича в церкви не было.

И когда толпа, толкаясь и гудя, ринулась в каком-то страхе назад, сверху, с колокольни, раздался вдруг гудящий звон набата.

Сначала редкие удары, потом все чаще и чаще, поплыли в тихом ночном воздухе.

Это Борис Иванович Котофеев, с трудом раскачивая тяжелый медный язык, бил по колоколу, будто нарочно стараясь этим разбудить весь город, всех людей.

Это продолжалось минуту.

Затем снова завыл знакомый голос:

— Здеся! Братцы, неужели же человека выпускать? Крой на колокольню! Хватай бродягу!

Несколько человек бросились наверх.

Когда Бориса Ивановича выводили из церкви, — огромная толпа полуодетых людей, наряд милиции и пригородная пожарная команда стояли у церковной ограды.

Молча, через толпу, Бориса Ивановича провели под руки и поволокли в штаб милиции.

Борис Иванович был смертельно бледен и дрожал всем телом. А ноги его непослушно волочились по мостовой.

Впоследствии, много дней спустя, когда Бориса Ивановича спрашивали, зачем он это все сделал и зачем, главное, полез на колокольню и стал звонить, он пожимал плечами и сердито отмалчивался или же говорил, что он подробностей не помнит. А когда

ему напоминали об этих подробностях, он конфузливо махал рукой, спрашивая не говорить об этом.

А в ту ночь продержали Бориса Ивановича в милиции до утра и, составив на него неясный и туманный протокол, отпустили домой, взяв подписку о невыезде из города.

В рваном сюртуке, без шляпы, весь поникший и желтый, Борис Иванович вернулся утром домой.

Лукерья Петровна выла в голос и колотила себя по грудям, проклиная день своего рождения и всю свою несчастную жизнь с таким человеческим отребьем, как Борис Иванович Котофеев.

А в тот же вечер Борис Иванович, как и всегда, в чистом, опрятном сюртуке, сидел в глубине оркестра и меланхолично позвякивал в свой треугольник.

Был Борис Иванович, как и всегда, чистый и причесанный, и ничто в нем не говорило о том, какую страшную ночь он прожил.

И только две глубокие морщины от носа к губам легли на его лице.

Этих морщин раньше не было.

И не было еще той сутулой посадки, с какой Борис Иванович сидел в оркестре.

Но все перемелется — мука будет.

Борис Иванович Котофеев жить еще будет долго.

Он, дорогой читатель, и нас с тобой переживет. Будьте покойны.

1925 г.

ВЕСЕЛОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

1

Нет, не может автор с легким и веселым сердцем прилечь на кровать с книжкой русского писателя!

Автор для душевного успокоения предпочитает взять какую-нибудь иностранную книжку.

В самом деле — иностранцы очень уж приятно пишут. Кругом у них счастье и удача. Кругом полное благополучие. Герои все как на подбор красивые. Ходят в шелковых платьях и в голубых подштанниках. В ваннах чуть не ежедневно моются. А главное — масса бодрости, веселья и вранья. Конеч, конечно, счастливый. И вообще вся книжка закрывается с полным успокоением и с полной сердечной радостью.

Даже такая неустойчивая вещь, как погода, и та берется определенно хорошая на протяжении всей иностранной книжки. Солнце светит и греет. Масса зелени и воздуху. Тепло. Духовые оркестры поминутно играют. Ведь это же прямо нервы успокаивает!

Теперь нарочно возьмет нашу дорогую русскую литературу. Погодка взята по большей части ерундовая. Либо метель, либо буря. Либо ветер дует в морду герою. Герои же, как нарочно, подобраны нелюбезные. То и дело ругаются. Одеты плохо. Вместо веселых и радостных приключений описываются кровавые стычки из эпохи гражданской войны. Либо вообще чего-нибудь описывается, от чего клюешь носом.

Нет, не согласен автор с такой литературой! Пушай в этой литературе много хороших и гениальных книг, пушай в этих книгах чорт знает какие глубокие

идеи и разнообразные слова — не может автор найти в них душевного равновесия и радости.

И почему это французы могут изображать отличные и успокоительные стороны жизни, а мы не можем? Да что вы, товарищи, помилуйте! Хороших фактов, что ли, не хватает в нашей жизни? Или легких и бодрых приключений недостает? Или, по-вашему, ощущается недохватка в красивых героинях?

Что вы, дорогие товарищи! Все есть, если поискать. И любовь. И счастье. И благополучие. И красивые герои. И яркая бодрость. И наследства. И ванны. И голубые подштанники. И выигрышные займы, по которым можно выиграть 100.000. Все это есть в нашей жизни.

Зачем же тогда, засоряя эту жизнь и сгущая черные краски? И так-то много скучного и бедного в наши переходные дни, зачем же еще литературой подбавлять пару?

Нет, не согласен автор с нашей высокой литературой! Конечно, автор и сам только недавно пришел к этим решительным мыслям. Автор и сам недавно еще задавался на самые отчаянные и меланхолические идеи и на разрешения самых немислимых вопросов. И вот — хватит. Довольно. Не в этом счастье. И не в этом мудрость.

Может, и в самом деле надо писать легко и весело. Может, и в самом деле надо писать только о хорошем и счастливом. Чтоб дорогой покупатель из книг черпал бы бодрость и радость, а не тоску и уныние.

Автор предполагает, что это именно так и должно быть.

И теперь, когда автор заканчивает свою книгу, он приходит к грустному размышлению о том, что вся книга написана не так, как надо бы.

Но что же поделать? Отныне автор берется рассказывать только бодрые, веселые и занимательные

истории. Отныне автор отрекается от всех своих мрачных мыслей и меланхолических настроений.

К сожалению, перебирая в своей памяти все приключения и события последних лет, автор с некоторым конфузом и замешательством должен заявить, что для почину особо выдающейся веселой истории автор прямо-таки не может сейчас припомнить. Вспоминается лишь одна более или менее подходящая историйка, не то, чтобы слишком веселая, но, пожалуй, тихонько посмеяться можно будет. А если в этой истории чуть слегка подтушевать факты не то, чтобы приврать, а чуть пустить этакое веселенького колеру и светлого фона, на котором развернутся события, то она для почину вполне сойдет. Читать будет можно.

А читателя автор насквозь узнал. Читателя хлебом не корми — дай ты ему ради Бога за его деньги бодрые и счастливые переживания.

Какой-нибудь тут литературный критик, какой-нибудь писатель, какой-нибудь Рабиндранат Тагор ужасно как обрадуется и всполошится. «Вот, — скажет, потирая руки, — взгляните, скажет, на сукинова сына — явно потрафляет читателю. Хватайте его и бейте по морде и по чем попало».

Подождите драться и ударять по морде, уважаемые критики. Обождите замахиваться. Дайте сказать человеку. Он не потрафляет читателю, а пишет так, как полагает нужным, ради бодрой идеи и ради общего благополучия. Впрочем житейская мудрость и опыт многих лет, а также слабое состояние здоровья не дозволяют автору вступать в пререканье с критиком.

Так вот, перебирая в памяти десятка полтора всяких историй, автор решает остановиться на забавном и веселом приключении, достойном пера какого-нибудь выдающегося французского писателя.

В этом веселом приключении много было счастливых и острых переживаний, много было бодрости и борьбы. Тут были романтические встречи. И стояла

весьма недурная осенняя погода. Счастливым концом завершил эту эпопею.

Автор полагает, что лучшей истории ему прямо-таки не припомнить.

Конечно, на первый взгляд особо выдающейся бодрости и счастья не будет ощущаться. Но нельзя же, чтоб сплошь было счастье и счастье. Этак и жить, сами понимаете, будет скучновато.

Итак, автор постарается в правдивых и бодрых тонах рассказать о веселом приключении, случившемся в самые недавние дни с Сергеем Петровичем Петуховым.

2

Сергей Петрович Петухов по воскресеньям на службу не ходил. В этот день, полный отдыха и бодрого веселья, Сергей Петрович вставал поздно, часов этак в десять, а то и в одиннадцать. Вон как!

Но сегодня не было еще и десяти, когда Сергей Петрович сладко проснулся в своей постели, повернулся на другой бок и радостно улыбнулся наступающему утру.

Это была улыбка молодого здорового организма, не захватанного еще врачами. Это была улыбка юноши, видевшего ночью отличные сны, светлые перспективы и бодрые горизонты.

И действительно, — в эту ночь Сергей Петрович видел себя каким-то молодым богатым франтом. Он не помнил в точности, что он видел, но какие-то милостивые мордочки, какие-то танцующие барышни, какие-то легкие неоскорбительные речи и славные улыбки переплетались этой ночью в радостное сновиденье, счастливые картины молодости и удачи.

Сергей Петрович похлопал себя ладонью по зевающему рту и сел на постель.

Довольно чистая ночная рубашка из тонкого мадаполама плотно облегла высокую грудь и молодые крепкие плечи.

Сергей Петрович долго сидел на постели и, обняв свои колени, обдумывал виденный сон.

И под влиянием этого сна, и, может быть, из-за того, что солнце светило в комнату, Сергею Петровичу захотелось легкой и беспечной жизни или какого-нибудь забавного и веселого приключения. Ему хотелось как бы продолжения сегодняшнего удачного сна.

Ему захотелось жить в просторной веселой комнате площадью не менее, как в три квадратные сажени. Он уже мысленно застилал эту комнату пушистыми персидскими коврами и обставлял ее дорогими роялями и пианинами.

Он уже видел себя под руку с красивой, миловидной девушкой. Ему казалось, что он идет с ней в кафе, где пьет густое какао с венскими сухарями, платит за все один и затем, пошатываясь, выходит на улицу.

Сергей Петрович вздохнул, обвел тихим взглядом свое неказистое помещение и вдруг резким движением вскочил с постели.

Он вскочил с постели, сполоснул морду под жестяным рукомойником, причесал свои трепанные волосы и, прикрепив маленькое карманное зеркальце в стене, стал перед ним завязывать галстук.

Он долго возился с галстуком, потом с сапогами, начищая их до самого отчаянного блеска. Потом долго примерял шляпу. И, наконец, одетый и причесанный, слегка надушенный мятными каплями, вышел на улицу.

Стояло чудное тихое утро бабьего лета. Масса зелени, воздуху и солнцу на минуту ослепила Сергея Петровича. Где-то гремел духовой оркестр — хоронили общественного деятеля.

Сергея постоял у дома, повертел в руке палочку и пошел вдоль по проспекту легкой танцующей походкой.

Сергею Петухову было 25 лет. Он был молод и здоров. У него были крепкие и сильные мускулы, у него были крупные удачные черты лица и красивые

серые глаза с ресницами и бровями. Проходящие женщины с явным удовольствием глядели на его выпуклый стан, на его круглые полные щеки и на свежеразглаженные брюки без излишних пятен. Сергей Петрович чуть прищуренным глазом приветствовал каждую проходящую мимо женщину. Иногда он оборачивался и смотрел ей вслед, что-то обдумывая. Он шел медленно и дышал полной грудью. Иногда останавливался у магазина рядом с какой-нибудь девушкой и смотрел на нее искоса, как бы оценивая и сравнивая с теми выдающимися барышнями, каких он видел этой ночью.

Вдруг Сергей обернулся и пристально посмотрел вслед какой-то проходящей девушке.

«Катюша Червякова собственной персоной», подумал Сергей Петрович и, немного постояв, пошел вслед за ней.

Слегка задыхаясь, он догнал девушку. Он хотел сзади веселым шаловливым движением рук закрыть ей глаза и после спросить фальшивым тоном: «Кто вас схватил за глаза?». Но вдруг вспомнил, что руки у него сегодня не особо чистые и что перед уходом он чистил сапоги и ядовитый скипидарный дух гуталина вряд ли выветрился за пятиминутную прогулку. Серега раздумал это сделать и только, подойдя совсем близко к девушке, он одернул ее за руку и, шуточно затопав ногами, вскричал...

— Вот я вас! Хоп, поберегись...

Девушка, смертельно побледнев, испуганно отшатнулась. Скорей всего она предположила, что какой-то дурак выкатывает тележку со двора или какой-нибудь хулиган хочет чего-нибудь с ней сделать. Но, увидев Сергея Петровича, она бурно расхохоталась. Они вдвоем, взявшись за руки, хохотали как дети. Они буквально минут 10 не могли произнести ни одного слова от приступов смеха.

Потом, слегка успокоившись, он спросил, куда

она идет. И узнав, что она гуляет, он взял ее под руку и поволочил за собой.

Много раз встречался Сергей Петрович с этой девушкой, но никогда не думал о ней и не вспоминал даже. А сейчас, под влиянием легкого веселого сна и бодрящей погоды, Серега ощутил в своей груди какое-то томление и любовный трепет.

Он крепко взял девушку под руку и торжественно повел ее по городу, как бы приглашая прохожих взглянуть на продолжение его сна.

Катюша Червякова, привыкшая видеть Сергея Петровича слегка хмурым с обидчиво выпяченной нижней губой, решительно недоумевала. Она не знала, какая счастливая муха укусила ее кавалера. Но, по природе своей веселая и смешливая, она поддерживала его бодрое шаловливое настроение ума. Она говорила всякие пустяки, и он, захлебываясь от смеха и молодости, буквально хрюкал на всю улицу.

Молодость, красота и прекрасная погода связали вдруг эту парочку: им обоим показалось, что наступила любовь, и тогда какой-то трепет прошел по их коже.

И когда они прощались у ее дома, Сергей Петрович стал взволнованно просить назначить свиданье как можно скорее. Он говорил, что жизнь его быстро проходит без особых переживаний и приключений. Он крайне одинок. Одиночество его коробит. И он хотел бы поближе подойти к Катюше Червяковой. Не хочет ли она сегодня, в 7 часов вечера прийти на угол Кирпичного переулка к кинематографу? Они пойдут на первый сеанс и там, сидя рядышком, посмотрят драму и под музыку обмозгуют, чего им делать дальше — гулять ли по городу или зайти куда-нибудь.

Слегка для виду поломавшись и заявив, что ей надо сегодня подрубить какие-то там мамашины простыни и пересчитать грязное белье, девушка все-же быстро дала свое согласие, испугавшись, как бы кавалер не раздумал насчет кино.

Они очень мило и просто попрощались и разошлись. Впрочем Серега с минуту постоял еще перед калиткой, заглянул в ворота, бодро цыкнул на залаявшую на него собаку и пошел домой завтракать.

Завтрак был сытный и сочный. Яичница из трех яиц с луком и с хреном. Кусок чайной колбасы. Масло. Хлеба Сергей Петрович мог есть без устали. Хозяйка с этим не считалась.

— Хорошая штука жизнь, — бормотал Сережа, кушая яичницу.

3

Автор не знает, что самое главное, самое так сказать, великолепное в нашей жизни, из-за чего стоит, вообще говоря, существовать на свете.

Может быть это служение отечеству, может быть, служение народу и всякая такая ураганная идеология. Может быть так. Скорей всего, что так. Но вот в личной жизни, в повседневном плане, кроме этих высоких идей, существуют и другие, более мелкие идейки, которые, главным образом, и делают нашу жизнь интересной и привлекательной.

Автор ничего не знает о них и не берется запутывать простые и малокультурные умы своими на этот счет глупыми изречениями. Решительно не знает автор, что самое привлекательное в жизни.

Иной раз только автору кажется, что, после общественных задач, на первом плане стоит любовь. И что любовь самое привлекательное занятие.

Вот другой раз идешь, предположим, по городу. Поздно. Вечер. Пустые улицы. И идешь ты, предположим, в огромной тощице — в пульту, скажем, проперся или какая-нибудь мировая скорбь обуяла.

Идешь, и все кажется до того плохим, до того омерзительным, что вот прямо взял бы, кажись, и повесился бы сию минуту на первом фонаре, еслиб он освещен был.

И вдруг видишь — окно. Свет в нем красный или

розовый пущен. Занавесочки какие-нибудь этакие даны. И вот смотришь издали на это окно и чувствуешь, что уходят все твои мелкие тревоги и волнения, и лицо расплывается в улыбку.

И тогда кажется чем-то прекрасным и великолепным и этот розовый свет, и оттоманка какая-нибудь там за окном, и какая-нибудь смешная любовная канитель.

Тогда кажется все это чем-то основным, чем-то непоколебимым, чем-то раз навсегда данным.

Ах, читатель! Ах ты, милый мой покупатель! Да знаешь ли ты это драгоценное чувство любви, этот настоящий любовный трепет и сердечные треволнения? Не кажется ли тебе это самым драгоценным, самым привлекательным в нашей жизни?

Автор повторяет: он не утверждает этого. Он решительно не утверждает. Он надеется, что есть в жизни что-то еще более лучшее и более прекрасное. Автору только иногда кажется, что нет ничего выше любви.

Автора, к сожалению, мало любили женщины. Автор прямо-таки не припомнит — целовали ли его хоть раз при розовом освещении. Должно быть, нет. Автор был молод и юн в те бурные дни революции, когда вообще никакого освещения не было, кроме восходящего солнца. И люди ели тогда овес. Пища это грубая, лошадиная. Она не вызывает тонких романтических побуждений и тоски по розовому фонарю.

Но все это не слишком удручает автора и не колеблет в нем сейчас бодрой любви к жизни и сознания в том, что любовь, пожалуй, очень большое и очень привлекательное занятие.

Сергей Петрович Петухов, хотя был и помоложе автора, но у него были такие же мысли и такие же точно соображения насчет жизни и любви. Он так же понимал жизнь, как понимает ее автор, умудренный житейским опытом.

И в тот знаменитый день, в то ясное воскресенье,

Сергей Петрович сытно позавтракав, часа полтора валялся на кровати, предаваясь этим сладким любовным мечтаниям. Он думал о любовном приключении, которое у него уже завязывается. И думал о тех умных, веселых и энергичных словах, которые он нынче утром говорил девушке. И еще думал о том, что любовь очень и очень может скрасить его скучную и одинокую жизнь.

Сергей Петрович, вытянув ноги на спинку кровати, с нетерпением стал подсчитывать, сколько же, наконец, времени осталось до назначенного часа, до семи часов вечера, когда он будет сидеть со своей барышней в кино и там под музыку бравурного рояля и под стрекот аппарата, будет говорить тихим и энергичным шопотом о той неожиданной нежности, которая нынче охватила его.

Было начало второго.

— Почти шесть часов ожидания, — бормотал наш нетерпеливый герой.

Но вдруг, стремительно вскочив с кровати, он быстро зашагал по комнате, бормоча проклятия и пихая ногами стулья и табуреты попадавшие под его неосторожные шаги.

В самом деле. Что ж это он лежит, как сукин сын? Нужно же поскорее действовать.

Сергей Петрович был в настоящую минуту, так сказать, не при деньгах. Полученное неделю назад жалованье давно ушло на всякие житейские нужды и потребности и сейчас у нашего героя было в кармане всего четыре копейки меди и одна трехкопеечная почтовая марка.

Сергей Петрович об этом строго помнил, когда говорил девушке о кино. Он не захотел только в те минуты портить себе кровь и обдумывать, где бы ему занять эти, в сущности, ничтожные деньги. Он решил обдумать это дома. Но вот уже почти два часа он, как последний сукин кот, валяется на матрацах, не

предпринимая никаких шагов. Размечтался, дырявая голова.

Сергей Петрович без пиджака, в одной рубашке, бросился в соседнюю комнату. Он захотел занять у соседа, с которым он был в довольно-таки приятельских отношениях. Однако, сосед сказал, что сегодня он решительно не может одолжить. Он верит в благие намерения Сергея Петровича отдать эти деньги, но, к сожалению, у него самого осталось копеек сорок, которые ему крайне нужны сегодня. А, кроме того, он вообще воздерживается давать в долг, считая это совершенно неумной и рискованной затеей.

Сергей Петрович бросился на кухню. Он стал умолять хозяйку выручить его из беды. Однако, хозяйка сухо и непреклонно отказала, заявив, что она сама едва-едва сводит концы с концами и что она, к сожалению, не удосужилась еще приобрести на рынке подходящий станок, на котором она могла бы, сколько ей влезет, печатать червонцы и двугривенные.

Сергей Петрович, в сильных грустях и даже несколько взволнованный, прошел в свою комнату и снова прилег на кровать. Он стал методически обдумывать — где бы ему разжиться монетой. Ему нужна, в сущности, небольшая сумма — ну, на худой конец, ему нужно семь гривен.

Сергею Петровичу до того захотелось достать эти деньги, что на один миг он даже отчетливо увидел их в своей руке — три двугривенных и один гривенник.

Стараясь обдумать спокойно, Сергей Петрович мысленно обошел всех своих знакомых и в сильных выражениях упрашивал их одолжить ему нужную сумму. Но вдруг пришел к мысли, что в долг он действительно вряд ли у кого займет.

Тогда Сергей Петрович стал обдумывать, как бы иным способом выкрутиться из некрасивого положения. Быть может продать что-нибудь?

Да, конечно, продать!

Тогда Сергей Петрович быстро открыл шкаф, пи-

сьменный стол, ящик. Нет, решительно ничего нет. Все ерунда и рвань. Не может же он загнать последний костюм или хозяйский шкаф и диван! Вот, если загнать старые сапоги. Но что за них дадут?

Вот что. Да, конечно, Сергей Петрович сейчас, сию минуту продаст эту мясорубку. Она у него лежит в корзине. Она досталась ему еще от покойной матери. Странно, почему он эту машинку до сих пор не загнал?

Сереза стремительно вытянул из-под кровати корзину, полную всякой домашней пыльной рухляди. С большой надеждой извлекал Сергей из корзины разные вещи и предметы, мысленно оценивая их. Но все это опять-таки была сплошная неценная ерунда. Масса пыльных пузырьков, закорузлых склянок, коробочек от порошков с закрученными рецептами. Какой-то тяжелый висячий шар от лампы, с дробью. Ржавый засов. Два крючка. Мышеловка. Колодка от сапог. Кусок голенища. И вот, наконец, мясорубка.

Сереза стер с нее пыль платком и любовно прикинул ее на ладонь, мысленно взвешивая и оценивая.

Это была довольно массивная, плотная мясорубка с ручкой. В девятнадцатом году в ней мололи овес.

Сереза сдунул с нее последнюю пыль, завернул в газету и, накинув на себя пальто, опрометью кинулся на рынок.

Воскресный торг был в полном разгаре. На площади ходили и стояли люди, бормоча и размахивая руками. Здесь продавались штаны, сапоги и лепешки на подсолнечном масле. Стоял страшный гул и острый запах.

Сереза протискался сквозь толпу и встал на виду в сторонку. Он развернул свою драгоценную ношу и опрокинул ее на ладонь, ручкой вверх, приглашая этим проходящую публику взглянуть на товар.

— Вот мясорубка, — бормотал наш герой, утрапливая события.

Сереза довольно долго стоял — никто не подхо-

дил даже. Только одна полновесная дама на-ходу спросила о цене и, узнав, что цена — полтора целковых — пришла в такое сильное нервное раздражение и в такую неопишемую ярость, что начала на весь рынок крыть и срамить Сергея Петровича, называя его мародером и осатанелым подлецом. И под конец заявила, что он сам вместе со своей машинкой и прабабушкой стоит не более как рубль с четвертью.

Собравшаяся толпа несколько оттеснила расходящуюся даму.

Один предприимчивый молодой человек тут же, отделившись от толпы, осмотрел мясорубку, вынул кошелек и, брякнув им об ладонь, сказал, что полтора целковых — цена, действительно, неслыханная в наши дни и что мясорубка решительно не стоит таких денег. Она в плохом виде, и нож у нее затупленный и гнусный нож. И что, если владелец мясорубки желает, то может хоть сию минуту получить за нее наличными деньгами двугривенный.

Сереза отказался, гордо покачав головой.

Он долго стоял после этого в неподвижной позе. Никто не подходил к нему. Толпа давно поредела.

У Сергея Петровича крайне затекли руки, и заныло сердце.

Но вот неожиданно он глянул на рыночные часы и пришел в совершенный ужас. Было уже без четверти четыре. Он еще ничего не сделал.

Тогда Сергей решил, не теряя драгоценного времени, продать мясорубку первому покупателю за любую цену, с тем, чтобы немедленно куда-нибудь побежать и раздобыть недостающие деньги.

Он продал мясорубку какому-то лохматому чорту за 15 копеек.

Лохматый долго и с особо оскорбительным выражением лица отсчитывал медяки в протянутую руку Сергея Петровича. И, отсчитав тринадцать копеек, сказал: «Хватает».

Сереза хотел крепко покрыть отчаянного покупа-

теля, но, взглянув еще раз на часы, охнул и ринулся к дому.

Было четыре часа пополудни.

4

Сереза, зажав в кулаке 13 копеек, бросился домой, на-ходу обдумывая планы и возможности, по которым он достанет остальную сумму. Однако, голова решительно отказывалась что-либо придумать. Лоб покрылся потом, и в висках лихорадочно стучало. Мысль о том, что осталось менее трех часов, не давала спокойно обдумать создавшееся положение.

Сергей Петрович пришел домой и окинул печальным взором свою комнату.

Он, было, решил загнать что-нибудь основное из своего постельного гардероба — подушку, например, или одеяло. Но в это время подумал о том, что девушка после кино, очень свободно, может посетить его скромное жилище. Ну что он ей тогда скажет? В самом деле, ну что он может сказать барышне насчет недостающего одеяла? Позор. Ведь барышня из любопытства сама может спросить: «Где, — скажет, — у вас, Сергей Петрович, одеяло?»

При этой мысли сердце Сергея Петровича облилось кровью и страшно застучало, и он решительно отверг этот недостойный план.

Но вдруг новая счастливая идея осенила бедную голову.

Тетка. Родная тетка. Тетка Наталья Ивановна Тупицына. Родная тетка Сергея Петровича. Что он, обалдел в самом деле? Чего ж раньше, дырявая голова, о ней не подумал?

Прежняя бодрость и веселье охватили все существо Сергея Петровича. Он стал танцевать какой-то дикий африканский танец, размахивая своим пальто и подвывая. И, накинув пальто только на лестнице, Сергей Петрович хорошей, бодрой рысцой побежал на Газовую улицу № 4 к родной дорогой своей тетке.

Сергей Петрович довольно редко видался с теткой. Он виделся с ней не более двух раз в год — на именины и Пасху. Но, тем не менее, это была его родная тетка. Она поймет. Она, ей-Богу, поймет. Сергей был довольно-таки любимым ее племянником. У нее была даже сумасшедшая любовь к нему. Она сама ему сказала, что после ее смерти пускай он владеет тремя мужскими костюмами, которые остались после ее покойного супруга, умершего полтора года назад от совершенно незаразной болезни, — от брюшного тифа.

И не может быть, чтобы эта родная тетка не вошла в его пиковое положение.

Вот, наконец, и Газовая улица. А вот и симпатичный дом №. 4, двухэтажный, с мелкими окнами.

Сережа вбежал во двор через калитку. Поднялся одним духом во второй этаж. Вошел в кухню.

Две старые женщины хлопотали у плиты. Это были довольно вздорные старухи, квартирные хозяйки — сестры Белоусовы. Одна из них, младшая и наиболее ядовитая старуха, стояла на корячках перед открытой печкой и кочережкой вынимала угли в тушилку, из явной скупости. Другая старушка, старшая Белоусова, вытирала тарелки засаленным полотенцем. Какой-то небольшой парень, может быть какой-нибудь белоусовский родственничек, сидел на табурете и беззастенчиво жрал вареный картофель.

На стене перед плитой в громадном количестве бегали тараканы. У окна висели железные часы с гирями. Маятник качался со страшной быстротой и хрипло, со скрежетом, отбивал такт тараканьей жизни.

Женщины таинственно переглянулись, когда Сергей Петрович вошел в кухню. Они замахали на него руками, как бы приглашая его вести себя потише и не харкать. А сами, стараясь перегудеть друг друга, начали докладывать, что вот уже вторая неделя, как его тетка, Наталья Ивановна Тупицына, лежит без зад-

них ног на краю могилы, и что приглашенный врач, выслушав ее, ничего такого особенно страшного не сказал, он только развел руками и прописал порошки, от которых на другой день к вечеру у больной отнялись ноги и перестали работать язык и желудок. И что если так пойдет дальше, то старушка Тупицына, не сегодня-завтра, с помощью Божьей, перекочет в иной, лучший мир. И что Сергей Петрович, как единственный ее законный наследник, пускай сам распоряжается всякими могилами и гробами, так как у них нету времени бескорыстно работать неизвестно для кого.

У Сергея Петровича совершенно упало сердце. Последняя надежда его рухнула. Он почти не соображал, что ему говорили. Он оттеснил причитавших старух и медленно, слегка покачиваясь, пошел по коридору в теткину комнату.

Тетка неподвижно лежала на кровати, тяжело и хрипло дыша. Сергей Петрович обвел глазами комнату и мельком глянул на желтое старухино лицо с закрытыми глазами и с острым носом. У Сергея Петровича захватило дыхание, и, осторожно ступая на носки, он снова пошел в кухню.

Ему не было жаль умирающей тетки. Он даже в те минуты и не подумал о ней. Он только подумал о том, что сегодня решительно нет никакой возможности призанять у ней денег.

Сергей Петрович минут пять стоял на кухне почти в полной неподвижности. Ужасная бледность покрыла его лицо.

Две женщины, из уважения к его нестерпимому горю, старались даже не двигаться, они только беззвучно вздыхали и вытирали кончиками платков свои губы и глаза. Стояла почти полная тишина. Только один парнишка попрежнему, грубо чавкая, жрал картофель. И попрежнему кухонные часы мерно отбивали движение времени.

Тогда Сергей Петрович, шумно вздохнув, искоса

посмотрел на тикающие часы и замер в совершенном и окончательном оцепенении.

Было начало шестого.

Большая стрелка заканчивала первую свою четверть.

Второй раз в этот день сердце Сергея Петровича облилось кровью. Заломило в боку. Вся голова вспотела. И в горле стало сухо и жестко.

Сосущая тревога сменилась вдруг полным и бурным отчаянием.

С Сергеем Петровичем сделалась такая нервная лихорадка, что он едва нашел выход на лестницу. Он сунулся было в чулан, потом дважды ткнулся в уборную, потом согнал с табуретки парнишку и хотел ударить его по морде и, наконец, с помощью крестьящих его старух, нашел выходную дверь. Он едва прошел через двор, до того мотались его руки и ноги.

Только на улице Сергей Петрович немного пришел в себя. Он медленным шагом пошел к дому. Он старался ни о чем не думать. Но всевозможные мысли сами давили его голову. Он пытался иронией несколько смягчить свое положение.

— Вот как, брат Серега, — бормотал он. — Вот как пришилило.

Однако, ирония не помогала.

Он пришел домой и в полном изнеможении лег на кровать.

— В чем, собственно, дело? — успокаивал себя Сергей. — Ну, эка штука — денег нету! Подумаешь, какая нестерпимая беда! Дерьмо какое. К чему же эту последнюю мою кровь отравлять вопросами? Пойду и скажу, мол, нету — мало ли.

Но тут какое-то упрямство и какое-то тупое желание достать во что бы то ни стало не давали ни о чем другом думать.

Казалось, что в этом сейчас заложен весь смысл жизни. Или он, Сергей Петрович Петухов, достанет эти жалкие деньги и пойдет сегодня с девушкой, как

ходят все люди, беспечно и весело, или же какой-то крах, какая-то ужасная катастрофа разразится над ним.

Сергей Петрович неподвижно лежал на постели. Целые фантастические планы и картины стали рисоваться в его мозгу.

Вот, например, он идет по улице и находит бумажник. Или вот он заходит в магазин, наводит панику и ужас на приказчиков и забирает товару на кругленькую сумму. Или приходит в госбанк, загоняет служащих в ванную комнату и берет полный мешок гривенников.

Тут же, после всякой своей фантазии, Сергей безнадежно усмехался и упрекал себя в нереальном подходе к событиям.

Он упрашивал себя не волноваться, а строго, по порядку, не торопясь и не предаваясь заманчивым иллюзиям, перечислить методически все возможные выходы.

Но вдруг все — и кровать, и комната, и подушки — стали невыносимы. Сергей Петрович почти выбежал на улицу.

Он, крупно шагая и бормоча что-то, прошел по проспекту.

Сам того не замечая, он остановился у часового магазина и долго глядел на кругленький белый циферблат часов, выставленных в окне.

Он долго стоял и глядел, как двигалась большая стрелка. Она двигалась крайне медленно, и с каждым ее движением высыхало в горле Сергея Петровича.

Было шесть часов вечера.

Большая стрелка несколько даже перемахнула 12.

Сергей Петрович резко повернул и пошел дальше. И, проходя мимо госбанка, криво усмехнулся и побарабанил пальцами по вывеске.

И пошел дальше, усмехаясь.

Он долго шел по каким-то улицам. И вдруг снова увидел дом своей тетки.

5

Сергей Петрович немного постоял у теткиного дома, решительным шагом прошел во двор и стал подниматься по лестнице.

Неясные мысли приняли вдруг отчетливую форму.

Ну, конечно. В чем же дело? Он придет к тетке и просто возьмет у нее что-нибудь. Или разбудит ее и попросит. Он совсем не хочет скрывать от нее. Он, наконец, наследник, может это сделать. Он может, например, открыть комод или какой-нибудь там ночной столик и взять какую-нибудь мелочь. В чем же дело? В конце концов, он может даже предупредить этих двух квартирных дур.

Сергей Петрович поднялся во второй этаж, подошел к двери и минуты две стоял перед ними в нерешительности.

Потом слегка подергал ручку. Дверь была закрыта.

Сергей Петрович хотел было громче потрясти ручку, но вдруг услышал шаги в кухне. Кто-то подходил к дверям.

Сам не зная почему — Сергей Петрович испугался и одним прыжком бросился в сторону на лесенку, ведущую на чердак.

В это время загремел крюк, дверь открылась, и квартирная хозяйка, старшая Белоусова, с ведром, полным помоев, вышла на лестницу и, не заметив Сергея Петровича, стала спускаться вниз.

Немного обождав, Сергей Петрович быстро и решительно подошел к незапертым дверям, осторожно открыл их и вошел в кухню.

В кухне никого не было.

Тогда, осторожно и тихо ступая на носки, Сергей Петрович пошел по коридору в теткину комнату. В комнате было темно.

Безотчетный страх, почти ужас охватил Сергея. Он сделал три шага по направлению к теткиной кровати и остановился, наступив на мягкие войлочные старухины туфли. Дрожь прошла по его телу.

Спокойное, хотя и хриплое, дыхание тетки своей равномерностью немного успокоило Сергея Петровича. Он подошел в плотную к кровати, пошарил руками впереди себя и, нащупав столик, подошел к нему.

Вдруг неосторожным движением трясущейся руки он опрокинул на столике какой-то пузырек. Вслед за пузырьком со страшным звоном упала на пол столовая ложка. Тетка слегка мотнула головой и промычала неясное.

Сергей Петрович замер, стараясь не дышать.

В соседней комнате послышались вдруг чьи-то шаги. Кто-то теперь шел по коридору беспокойными шаркающими ногами.

Сергей Петрович заметался по комнате. Он подбежал к окну. Потом повернулся назад и, стремительно открыв дверь, бросился в темный коридор. На быстром ходу он сшиб с ног младшую старуху Белоусову и, перепрыгнув через нее, побежал дальше.

Ужасно закричала старуха, и крик ее гулко разнесся по всему дому.

Сергей Петрович вбежал в кухню, погасил за собой свет и кинулся на площадку.

Сергей Петрович хотел одним духом броситься вниз, но вдруг внизу послышались торопливые шаги. Ужасный старухин крик всполошил весь дом, а может быть, и всю улицу.

Теперь по лестнице снизу бежали какие-то люди. Сергей заметался на площадке и снова, как и в первый раз, бросился на верхнюю чердачную лесенку. И там, у закрытой двери, присел, почти упал на ступеньки. Сердце его колотилось отчаянно. Не хватало воздуха. С разинутым ртом сидел Сергей Петрович на ступеньках и с ужасом прислушивался к тому, что происходило внизу.

Какие-то люди бежали в квартиру, кто-то отчаянно визжал. И кто-то, сквозь рыдания, хрюкал.

Человек десять выбежали вдруг из квартиры и бросились вниз.

Выждав несколько минут, а, может быть, и полчаса, Сергей Петрович стал спускаться с лестницы. Он медленно, почти задумчиво, положив руки назад, с полным и ледяным спокойствием прошел через двор и, не встретив никого, очутился на улице.

На улице, у ворот, толпились люди.

— Ну что? — спросили Сергея Петровича. — Поймали?

Сергей Петрович промычал что-то в ответ и тихим шагом, слегка покачиваясь, пошел к своему дому.

Он, как тень, прошел в свою комнату. Потом прошел на кухню и поглядел на хозяйский будильник.

Было четверть девятого.

Сергей Петрович усмехнулся и, сняв пиджак и штаны, долго ходил по комнате в одних подштанниках. Он соображал, где именно он был в семь часов вечера. И никак не мог решить.

Вдруг кровь ударила ему в голову. Он мысленно представил себе растерянное лицо девушки, ждущей его час и более.

Потом, снова усмехнувшись, Сергей Петрович лег на постель. Он спал беспокойно, часто мычал во сне и перекидывал подушку.

6

Сергей Петрович проснулся рано. Было часов семь утра.

Он сидел на постели в одних подштанниках и задумчиво зашнуровывал ботинок.

В этот момент постучали в дверь, и в комнату тихо вошла младшая старуха Белоусова.

Сергей Петрович страшно побледнел и встал с постели. Он дрожал, и зубы его отбивали барабанную

дробь. Старуха замахала на него руками, заявив, что пусть он зря не стыдится своего вида, он вполне ей годится в правнуки, и что она на своем веку много перевидала мужчин в самых разнообразных подштанниках.

Старуха присела на табурет, скорбно высморкалась в головной платок и торжественно сказала, что сегодня под утро померла его тетка, Наталья Ивановна Тупицина.

Сергей Петрович сперва просто не понял, о чем идет речь. Он предполагал услышать от старухи кое-какие намеки и подозрения относительно вчерашнего происшествия, однако старуха говорила о другом.

Но вот гостя, выждав для приличия несколько минут и безутешно всплакнув о безвременно погибшей тетке, принялась длинно и подробно рассказывать об ужасах вчерашнего налета.

Сергей Петрович снисходительно слушал, потом стал думать о своем.

Конечно, думал Сергей, можно бы пойти сейчас, и Катюше объяснить — что, мол, вчера померла тетка. Так сказать, семейные обстоятельства не дозволили вчера провести прилично время. Он, мол, сидел у постели умирающей родственницы.

Конечно, это можно сделать. Но вчерашнее волнение, вчерашние ужасные потрясения несколько притупили охоту Сергея Петровича. Он снова стал слушать старухину речь.

Старуха длинно и нахально врала о вчерашнем бандитском нападении, совершенно не предполагая, что перед ней сидит человек, кое-кто знавший об этом деле. Старуха уверяла, что налетчиков было трое, и ими резко командовала одна женщина. И что кроме этих четырех был еще пятый — наводчик — совершенно безусый парень.

Тут Сергей Петрович несколько не выдержал и высказал предположение, что старуха, видимо, сперепугу обмишурилась и приняла своего белоусовского

родственника за безусого наводчика, а свою многоуважаемую сестрицу за атамана.

На что старуха с обидой заявила, что пускай он при себе оставит свои лишние сентенции, и что только ее находчивость и смелость не допустили разбойников разграбить имущество их, а также и Сергея Петровича.

Тут старуха подошла вплотную к наиболее острому и занимательному вопросу. Она деликатно повела речь об оставшемся наследстве.

Ах, да! Сергей Петрович с этими волнениями во все позабыл об этом наследстве. Это же прямо великолепно!

Снова бодрость и счастье охватили Сергея Петровича. Снова радужные перспективы и счастливые горизонты открылись перед ним. Он мысленно примерял теткин костюмы и жилеты. Он мысленно шел в новеньком пиджаке под руку с Катюшей Червяковой. Он мысленно торговался с татаринном, загоня ему всякое ненужное теткино барахло.

Долой унынье, долой меланхолию и слякоть! Да здравствуют бодрые слова, бодрые мысли, счастливые мысли, прекрасные желания! Как хорошо и отлично жить на свете! Как хорошо и какое счастье чувствовать жизнь такой, какая она есть, а не такой, как иной раз кажется!

Сергей Петрович чувствовал себя семнадцатилетним мальчиком. Он пустился бы в пляс, он пошел бы отплясывать фокстрот с младшей Белоусовой, если бы было прилично танцевать сразу после смерти родственников.

Сергей Петрович, вежливо попрощавшись со старухой, великосветски заявил, что он непременно будет сегодня на панихиде. Он не пойдет на службу. Он, конечно, сейчас же смотается до Катюши Червяковой и оставит ей прискорбное письмо с наилучшими извинениями. И потом пойдет отдать последний долг родственнице.

Сергей Петрович несколько даже заволновался. Он забоялся, как бы в последний момент старухи не почистили его наследство.

Он быстро присел к столу и, барабаня пальцами, стал обдумывать текст письма.

Радость и счастье давили грудь и мешали сосредоточиться.

Сергей Петрович взглянул в окно и замер в полном восхищении. Вставало прелестное утро. Голубое небо и спокойные верхушки деревьев предвещали отличный день.

— Как хорошо жить, — бормотал Сергей, открывая форточку. — Как хорошо дышать утренней прохладой. Как хорошо любить какую-нибудь миловидную барышню.

Сергей Петрович решительно присел к столу. Он написал несколько слов Катюше с объяснениями и просьбой непременно прийти сегодня, в семь часов, в назначенное место. Он запечатал конверт, оделся и вышел на улицу.

Он шел с гордо поднятой головой. Вчерашний ужас и волнения отошли куда-то в вечность. Вчерашний маленький страх перед жизнью исчез и сменился энергичным мужеством.

И в чем, собственно, дело? Да, действительно, вчера он немножко как-будто сдал. Вчера он слегка поволновался. Но все остается попрежнему. Прекрасная жизнь продолжается. И продолжается его веселое любовное приключение. За ним идут счастье и удача.

Сергей Петрович отдал письмо дворнику для передачи Катюше Червяковой и сам, глубоко вдыхая утреннюю прохладу, пошел легкой танцующей походкой к бывшей своей тетке.

Сергей пришел к самой панихиде. Старый батюшка тянул свою канитель. Старухи Белоусовы тихонько хрюкали, оплакивая свою последнюю жилицу. Но, вместе с тем, все это веяло яркой бодростью и повседневной жизнью.

Сама покойная тетка удобно расположилась на столе, на лучших кружевных наволочках. Спокойствие и счастье лежали на ее добродушном лице. Старуха была, как живая. Некоторый даже румянец пробивался сквозь ее желтую кожу. Казалось, как-будто она, устав, на минутку прилегла на столе и вот-вот, сейчас, отдохнув, встанет и скажет: «А вот и я, братцы мои».

Сергей Петрович долго смотрел на нее добрыми глазами.

«Тетка, тетка, — думал он. — Экая ты, брат, тетка. Подохла-таки...»

Сергей Петрович стоял неподвижно, склонив голову. Он думал о кратковременной жизни и о непрочности человеческого организма и о том, что надо эту жизнь заполнить погуще всякими отличными делами и веселыми приключениями. И эти мысли не горем и меланхолией наполняли его сердце — на сердце его были мир и тишина.

И Сергей Петрович, не дождавшись конца панихиды, тихо поклонился неподвижной тетке и вышел из помещения.

Он пошел по коридору в комнату своей тетки. Там все было аккуратно прибрано. И ничто не говорило о смерти.

Сергей Петрович беглым взглядом оглядел комнату, прикинув на-глаз стоимость каждой вещицы. И насчитав до кругленькой суммы — 100 рублей, тихонько улыбнулся, вышел из комнаты и, закрыв дверь на ключ, пошел на улицу.

Он шел по улице и радостно смеялся. Солнце, несмотря на осень и несмотря на свои все растущие пятна обжигало его всем своим стремительным пылом. Ветра никакого не было.

7

Вечером, в тот же день, Сергей Петрович встретился со своей дамочкой.

Она пришла несколько позже его. Он, волнуясь и подыскивая приличные слова, взял ее руки и тут же, на углу, стал объяснять причины вчерашнего отсутствия.

Да, он ни на одну минуту не мог уйти. Его родная тетка предпочитала помирать на его руках.

Он в сильных красках описывал теткиную смерть. Засим перешел на описание оставленного имущества.

Девушка мило моргала ресницами и, добродушно усмехаясь, говорила, что вчера, действительно, она сильно разобиделась, но сегодня не высказывает никаких претензий.

Они, мило обнявшись, сидели в зрительном зале. И под стрекот аппарата Сергей Петрович шептал ей всякие порядочные слова о своих чувствах и намерениях. Девушка благодарно пожимала ему руку и ногу и говорила, что он с первого взгляда ей приглянулся своей ровной внешностью.

После кино Сергей Петрович со своей мамзелью долго шлифовал тротуары. А немного попозже она посетила его скромное жилище.

Половина двенадцатого ночи Сергей Петрович выпускал ее от себя. Это видел гражданский инвалид Жуков. Он в это время искал свою кошку на лестнице и слышал, как Сергей Петрович сказал: «в крайнем случае можно записаться».

Через две недели они записались.

А через полгода Сергей Петрович с молодой своей супругой выиграли 20 рублей по Крестьянскому займу, доставшемуся им от бывшей тетки.

Радости их не было границ.

1926 г.

СИРЕНЬ ЦВЕТЕТ

П р е д и с л о в и е

В силу прошлых недоразумений, писатель уведомляет критику, что лицо, от которого ведется эта повесть, есть, так сказать, воображаемое лицо. Это есть тот средний интеллигентский тип, которому случилось жить на переломе двух эпох.

Неврастения, идеологическое шатание, крупные противоречия и меланхолия — вот чем пришлось наделить нам своего «выдвиженца». Сам же автор — писатель М. М. Зоценко, сын и брат таких нездоровых людей, — давно перешагнул все это. И в настоящее время он никаких противоречий не имеет. У него на душе полная ясность, и розы распускаются. А если в другой раз эти розы вянут и нету настоящего сердечного спокойствия, то по многим другим причинам, о которых автор расскажет как-нибудь после.

В данном же случае это есть литературный прием.

И автор умоляет почтеннейшую критику вспомнить об этом замысловатом обстоятельстве, прежде чем замахнуться на беззащитного писателя.

Кроме того, автор считает долгом успокоить читателя: несмотря на то, что лицо, от которого ведется повествование, есть вымышленное лицо — сама повесть далека от вымысла — все взято целиком из жизни, и главные события развернулись буквально на глазах у автора.

1

Вот опять будут упрекать автора за это новое художественное произведение.

Опять, скажут, грубая клевета на человека, отрыв от масс и так далее.

И, дескать, скажут, идейки взяты, безусловно, некрупные.

И герои не горазд такие значительные, как, конечно, хотелось бы. Социальной значимости в них, скажут, чего-то мало заметно. И вообще ихние поступки не вызовут такой, что ли, горячей симпатии со стороны трудящихся масс, которые, дескать, не пойдут безоговорочно за такими персонажами.

Конечно, об чем говорить — персонажи, действительно, взяты не высокого полета. Не вожди, безусловно. Это, просто, так сказать, прочие граждане с ихними житейскими поступками и беспокойством.

Что же касается клеветы на человечество, то этого здесь определенно нету.

Это раньше можно было упрекать автора, если и не за клевету, то за некоторый, что ли, излишек меланхолии и за желание видеть разные темные и грубые стороны в природе и людях. Это раньше, действительно, автор горячо заблуждался в некоторых основных вопросах и доходил до форменного мракобесия.

Еще какие-нибудь два года назад автору и то не нравилось и это. Все он подвергал самой отчаянной критике и разрушительной фантазии. Теперь, конечно, неловко сознаться перед лицом читателя, но автор в своих воззрениях докатился до того, что начал обижаться на непрочность и недолговечность человеческого организма и на то, что человек, например, состоит главным образом из воды, из влаги.

— Да что это, помилуйте, гриб или ягода? — восклицал автор. — Ну, зачем же столько воды? Это, ну, прямо оскорбительно знать, из чего человек состоит.

Даже в таком святом деле — во внешнем человеческом облике — автор и то стал видеть только грубое и нехорошее.

— Только что мы привыкли к человеку, — бывало говорил автор своим близким родственникам, — а если чуть отвлечься или, к примеру, не видеть человека 5 — 6 лет, то прямо удивиться можно, какое острое безобразие наблюдается в нашей наружности. Ну, рот, — какая-то небрежная дыра в морде. Оттуда зубы веером выступают. Уши с боков висят. Нос — какая-то загогулина, то есть как нарочно посреди самой морды. Ну, некрасиво! Неинтересно глядеть.

Вот, примерно, до таких глупых и вредных для здоровья идей доходил автор.

Даже такую несомненную и фундаментальную вещь, как ум, автор и то подвергал самой отчаянной критике.

— Ну, ум, — говорил автор, — предположим. Действительно, спору нет, много чего любопытного и занимательного изобрели люди благодаря уму: микроскоп, бритва жилет, фотография и так далее, и так далее. Но чтоб, значит, такое изобрести, чтоб каждому человеку жилось бы совершенно припеваючи, — этого еще окончательно нету. А столетия, промежду прочим, идут, века идут. Солнце уже пятнами стало покрываться. Остывает, видите ли. Год-то у нас, скажем, одна тысяча девятьсот двадцать девятый. Эвон сколько времени уже промигали.

Вот, примерно, такие недостойные мысли мелькали у автора.

Но эти мысли мелькали, без сомнения, по случаю болезни автора.

Его острая меланхолия и раздражение к людям доводили его форменно до ручки, заслоняли горизонты и закрывали глаза на многие вещи и на то, что сейчас кругом происходит.

И теперь автор бесконечно рад и доволен, что ему не пришлось писать повести в эти два или три прискорбные года. Иначе крупный позор лег бы на его плечи. Вот это был бы действительно злостный поклеп, это была бы действительно грубая и хамская

клевета на мировое устройство и человеческий распорядок.

Но теперь вся эта бурная меланхолия прошла, и автор снова видит своими глазами все, как оно есть.

Причем, хвораая, автор отнюдь не отрывался от масс. Напротив того, он живет и хворает в самой, можно сказать, человеческой гуще. И описывает события не с планеты Марс, а с нашей окаянной землишки, с нашего восточного полушария, где как раз и находится в одном из домов коммунальная квартирка, в которой жительствоует автор и в которой он, так сказать, воочию видит людей, без всяких прикрас, нарядов и драпировок.

И по роду такой жизни автор замечает, что к чему и почему. И сейчас упрекать автора в клевете и в оскорблении людей словами просто не приходится. Тем более, автор последнее время особенно горячо полюбил людей со всеми ихними пороками и недостатками.

Конечно, другие интеллигенты, действительно, верно, другой раз произносят разные слова. И, дескать, люди определено еще дрянь. И, дескать, их надо еще подравнять, привести в порядок. Надо из них вытряхнуть всякие грубые элементы. Надо их подутюжить. Только тогда жизнь может засиять в полном своем дивном блеске. Остановка, так сказать, за небольшим. Но автор как раз не имеет такого мнения. Он решительно отмежевывается от таких взглядов. Конечно, безусловно надо изжить такие печальные недостатки механизма, как бюрократизм, мещанство, канцелярская волокита, чубароцщина и так далее.

Но все остальное, пока-что, более или менее стоит на месте и не мешает.

И если б автора спросили:

— Чего ты, уважаемый дружок, хочешь? Чего бы ты хотел, например, в ударном порядке изменить

в своих близких людях, кроме этих вышеуказанных недостатков? — автор затруднился бы сразу ответить.

Нет, кроме этого он ничего не хочет изменять. Так, разве самую малость. В смысле, что ли, корысти. В смысле повседневной грубости материального расчета.

Ну, чтобы люди в гости стали ходить, что ли, так, для приятного душевного общения, не имея при этом никаких задних мыслей и расчетов. Конечно, все это блажь, пустая фантазия, и автор, вероятно, с жиру бесится. Но такая уж сентиментальная у него натура — ему желательно, чтоб фиалки прямо на тротуарах росли.

2

Конечно, все, что сейчас говорилось, может, и не имеет прямого отношения к нашему художественному произведению, но уж очень, знаете, все это наболевшие, актуальные вопросы. И такой уж каторжный характер у автора: покуда он не выскажется перед читателем — прямо, знаете ли, не до повестушки.

Хотя как раз в данном случае эти все слова имеют некоторое отношение к нашей повести. Тем более, мы беседовали тут про разные корыстные расчеты. И в повести как раз выведен такой герой, который столкнулся лицом к лицу с этими же самыми обстоятельствами и прямо рот раскрыл, утомленный целым вихрем событий, которые разыгрались на этой почве. В молодые прекрасные годы, когда жизнь казалась утренней прогулкой, вроде как по бульвару, автор не видел многих теневых сторон. Он просто не замечал этого. Не на то глядели его глаза. Его глаза глядели на разные веселые вещицы, на разные красивые предметы и переживания. И на то, как цветки растут и бутончики распускаются, и как облака плавают и как люди друг дружку взаимно горячо любят. А на то, как все это происходит и что чем движется

и чем толкается, автор не глядел по молодости лет, по глупости характера и по наивности своего зрения.

А после, конечно, стал себе автор приглядываться. И вдруг видит разные вещи.

Вот он видит — седовласый человек жмет другому ручку и в глаза ему глядит и слова произносит. Вот раньше поглядел бы на это автор — душевно бы пораздовался. «Эвон, — подумал бы, — какие все милые, особенные, до чего любят друг друга и до чего жизнь прелестно складывается».

Ну, а сейчас не доверяет автор галлюцинации своего зрения. Автора гложут сомнения. Он беспокоится — а, может, эта седовласая борода ручку жмет и в глаза глядит, чтоб поправить пошатнувшееся свое служебное положение или чтоб занять кафедру и читать с этой кафедры лекции о красоте и искусстве.

Автор запомнил на всю жизнь одно небольшое событие, случившееся совсем недавно. И это событие буквально режет автора без ножа. Вот один милый дом. Гости туда шляются. Днюют и ночуют. В картишки играют. И кофе со сливками жрут. И за молодой хозяйкой почтительно ухаживают и ручки ей лобызают. И вот, конечно, арестовывают хозяина-инженера. Жена хворает и чуть, конечно, с голоду не пухнет. И ни одна сволочь не заявляется. И никто ручку не лобызает. И вообще пугаются, как бы это бывшее знакомство не кинуло на них тень.

Но вот после инженера освободили — никакой особой вины за ним не нашли. И все снова опять завертелось. Хотя инженер стал грустный и к гостям не всегда выходил, а если и выходил, то глядел на них с некоторым испугом и удивлением.

Ну, что? Может быть, это клевета? Может быть, это есть злобное измышление? Ха! Нет, это именно так и наблюдается в каждую минуту нашей жизни. И пора, пора об этом говорить в глаза. А то все, знаете, красота да величие, да звучит гордо. А как до дела дойдет, так просто, ну, пустяки получают.

Но автор не поддается унынию. Тем более иногда, раз в пять лет, он и встречает чудаков, которые резко отличаются от всех прочих граждан.

Но все это есть теоретическое размышление, а то, что автор хочет рассказать, есть подлинная история, взятая из самого источника жизни. Но, прежде чем приступить к описанию событий, автор хочет поделиться еще некоторыми сомнениями.

Дело в том, что по ходу сюжета в повести имеются две-три дамы, которые выведены не так, чтоб слишком симпатично.

Автор не жалел на них никаких красок и старался придать им свеженький актуальный вид, но совесть не позволяла особенно стараться. И по этой причине они все три получились одна другой хуже и вообще мало героичны.

И многие, в особенности читательницы, могут вполне оскорбиться за эти женские образцы и постараются уличить автора в реакционном подходе и нежелании, чтоб женщины сравнивались в своих законных правах с мужчинами. Тем более, что некоторые знакомые женщины уже обижаются: ну, говорят, вас к чорту, действительно, дамочки у вас завсегда совершенно то есть аховые.

Но автор горячо просит за это его не бранить. Автор и сам диву дается, что это у него из-под пера такие малоинтересные дамочки определяются.

И это тем более странно, что автор, может, всю жизнь видел, главным образом, только довольно хороших, добродушных и не злых дам.

И вообще на этот вопрос автор так глядит, что женщины, пожалуй, даже лучше, нежели мужчины. Что ли, они как-то сердечней, мягче, отзывчивей и приятней.

И в силу таких взглядов автор никогда не позволит себе оскорблять женщину. А если в повести другой раз и получают неясности по этому вопросу, то это просто недоразумение, и автор умоляет на

это не обращать внимания и тем более не расстраиваться по пустякам. Для автора безусловно все равны.

Другое дело, если взять, любопытства и смеха ради, мир животных.

Там бывает разница. Там даже птицы имеют свою разницу. Там самец всегда как-то несколько дороже стоит, чем самка.

Там, для примеру, чижик стоит два целковых по теперешней калькуляции, а чижиха копеек пятьдесят, сорок, а то и двугривенный. А по виду птички — как две капли воды. То есть буквально не разобрать, которая что, которая ничего.

И вот сели эти птички в клетки. Они зернышки жуют, водичку пьют, на палочках прыгают и так далее. Но вот чижик перестал водичку пить. Он сел поплотней, устремил свой птичий взор в высоту и запел.

И за это такая дороговизна. За это гони монету. За пение и за творческое исполнение.

Но что в птичьем мире прилично, то среди людей не полагается. И дамы у нас в одной цене находятся, как и мужчины. Тем более, у нас и дамы поют и мужчины поют. Так что все вопросы и все сомнения в этом отпадают. А, кроме того, в нашей повести все грубые нападки на женщину и подозрения относительно ее корысти идут со стороны нашего самого главного героя — человека определенно мнительного и больного. Бывшего прапорщика царской армии, к тому же слегка контуженного в голову и потрепанного революцией. В 19 году он в камышах сколько раз ночевал — боялся, что его коммунисты арестуют, схватят и разменяют.

И эти все страхи печальным образом отразились на его характере.

И в двадцатых годах он был нервный и раздражительный субъект. У него тряслись руки. И даже стакана он не мог поставить на стол, не кокнув его своей дрожащей ручкой.

Тем не менее, в житейской борьбе руки его не дрожали.

По этой самой причине он не погиб, а с честью выжил.

3

Безусловно, человеку не так-то легко погибнуть. То есть автор думает, что не так-то просто человек может с голоду помереть.

И если есть некоторая сознательность, если есть руки и ноги и башка на плечах, то, безусловно, как-нибудь можно расстараться и найти себе пропитание, хотя бы, в крайнем случае, милостыней.

Но тут до милостыни не дошло, хотя у Володи-на и было довольно пиковое положение, если не сказать больше.

Тем более, он много лет провел на военном фронте, совершенно, так сказать, оторвался от жизни, ничего такого особенно полезного делать не умел, кроме стрельбы в цель и по людям. Так что он еще не понимал — какое найти себе применение.

И, конечно, родственников у него не было. И квартиры у него не имелось. Буквально ничего.

Была у него одна мамаша, и та в военные годы погибла от старости лет. Квартирка ее, по случаю смерти, перешла в другие быстрые руки. И остался наш бывший военный гражданин по приезду совершенно не у дел и, как бы сказать, без портфеля.

Однако, он не допустил слишком большой паники в этот ответственный момент своей жизни. Он поглядел своими ясными очами, что к чему и почему. Видит — расположен город. Он окинул город своим орлиным взором. И видит — идет вращение жизни тем же почти манером, как и всегда. По улицам народ ходит. Граждане спешат туда и сюда. Девушки ходят с зонтиками.

Он поглядел, что к чему и что чем движется и толкается.

«Что ж, — думает, — кидаться в озеро не приходится, а надо без сомнения в ударном порядке продавать людям такой товар, который имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами».

«Надо, — думает, — одним словом, запродать, чего покупается».

И видит — покупается все, чего денег стоит. А денег, конечно, стоит — сила, хитрость и разная красота. Ну, и, конечно, всякие дарования и способности.

«Ну, что ж, — думает, — можно, в крайнем случае, дрова грузить или какую-нибудь хрупкую мебель перевозить или, для примера, мелкой торговлишкой заниматься. Или же, наконец, можно жениться не без выгоды».

«То есть, особой выгоды, — думает, — в этом последнем случае сейчас, конечно, не найти, но, скажем, помещение, отопление и себе пища — это, безусловно, можно».

И, конечно, не такой он отпетый человек, чтобы дама его содержала, но подать первую помощь в минуту жизни трудную — это не порок.

Тем более, он был молодой и не старый. Ему было тридцать с небольшим лет.

И хотя его центральная нервная система была довольно потрепана бурями и житейскими треволениями, однако он был мужчина еще ничего себе. При чем у него была выгодная и приятная наружность. И хотя он был блондин, но блондин все-таки довольно мужественного вида. К тому же он носил на щеках небольшие итальянские бачки. И от этого его лицо еще более выигрывало и давало чего-то демоническое и смелое, чего заставляло женщин вздрагивать всем корпусом, опускать глаза долу и быстро одергивать свои юбки на коленях.

Вот какие блага и преимущества имел он, когда

начал завоевывать свою жизнь. Он приехал после военной службы в город и временно поселился в проходной комнате у своего знакомого фотографа Патрикеева, который пустил его, хотя и по доброте сердечной, однако, рассчитывал снять кое-какие пенки с этого дела. Он записал на него часть квартирной площади и, кроме того, ожидал, что Володин иной раз, из чувства живейшей благодарности, будет принимать посетителей — будет открывать им двери и записывать ихние фамилии.

Однако, Володин не подтвердил этих хозяйственных надежд — он мотался целые дни напролет ни-весть где, и даже сам в ночное время иной раз трезвонил и тем самым вносил в дом полное беспокойство и дезорганизацию.

Фотограф Патрикеев очень от этих дел грустил и расстраивал свое здоровье и даже иной раз, вскакивая ночью в кальсонах, ужасно как ругался, называя его прохвостом и бывшим беспорточным барином.

Однако, Володин, не более как через полгода, начал все-таки приносить явную выгоду своему патрону. Правда, под конец, когда он уже съехал с его квартиры и благополучно женился. Дело в том, что еще в мелком своем возрасте он имел некоторую склонность и любовь к художественному рисованию. И, будучи абсолютно крошкой, он любил марать карандашом и красками разные картинки и рисуночки.

И в настоящее время это художественное дарование ему неожиданно пригодилось.

Сначала шутя, а после более серьезно он стал помогать фотографу Патрикееву — ретушируя ему снимки и пластинки.

Разные проходящие барышни обязательно требовали прилично заснятого лица, без складок, морщин, угрей и прочих досадных особенностей, которые, к сожалению, имелись в натуральном человеческом виде.

Эти угри и бутоны Володин зарисовывал карандашом, ловко кладя тени и просветы на заснятые личности.

В короткое время Володин сделал в этой области изрядный успех и даже стал подрабатывать себе деньги, сердечно радуясь такому обороту дела.

И, научившись этому хитрому искусству, он понял, что занял в жизни определенную позицию и что с этой позиции его выбить довольно затруднительно и даже почти что невозможно. Ибо для этого потребуется уничтожение всех фотографий, категорическое запрещение жителям сниматься на карточку или же полное отсутствие фотографической бумаги на рынке. Но, к сожалению, жизнь обернулась так выгодно только после того, как Володин сделал решительный шаг — он женился на одной гражданке, никак еще не предполагая, что его искусство даст полную возможность встать на ноги самостоятельно.

И, живя у фотографа и не имея никаких особых перспектив, он, естественным образом, кидал взоры на окружающих людей и, в особенности, конечно, на дам и на женщин, которые могли бы подать ему руку помощи, дружбы и участия. И такая дама нашлась и откликнулась на призывы гибнущего человека.

Это была жилица из соседнего дома, Маргарита Васильевна Гопкис.

Она занимала целую квартиру, проживая там совместно со своей младшей сестрицей Лелей, которая, в свою очередь, была замужем за братом милосердия т. Сыпуновым.

Эти две сестрицы были довольно еще молоденькие и занимались они пошивкой рубашек, кальсон и прочих гражданских предметов.

Они этим занимались в силу необходимости. И не на такую ничтожную судьбу они рассчитывали, заканчивая до революции свое высшее образование в женской гимназии.

Получив такое приличное образование, они, естественно, мечтали зажить достойным образом, выйдя замуж за исключительных мужчин или за профессоров, которые окружили бы ихнюю жизнь роскошью, баловством и красивыми привычками.

Но жизнь, между тем, проходила. Бурные годы нэпа и революции не позволяли подолгу осматриваться и кидать якорь в том месте, в котором желательно.

И вот младшая сестрица Леля, погоревав о превратностях судьбы, выходит поскорее замуж за Сыпунова, совершенно грубого, небритого субъекта, — брата милосердия, санитаря из городской больницы.

А старшая сестрица, Маргариточка, вздыхая о невозможном, прогоревала все сроки и к 30 годам, спохватившись, начала метаться туда и назад, желая заполучить в мужья хотя бы какого-нибудь завалывшегося человечка.

И вот как раз в ее расставленные сети попадает наш приятель Володин. Он давно мечтал о более подходящей жизни, о некотором семейном уюте, о непроходной комнате, о кипящем самоваре и о всех таких житейских вещичках, которые безусловно украшают жизнь и дают тихую прелесть мелко-буржуазного существования.

И вот тут имелось все это налицо плюс прочное положение и самостоятельный заработок, что было как бы приданым и несомненно оживляло сделку, придавая ей определенный живой интерес.

Конечно, будь это знакомство позже, Володин, имея свои заработки, не пошел бы так стремительно на этот шаг. Тем более, ему совершенно не нравилась Маргарита Гопкис с ее тусклым, однообразным лицом.

Володину нравились и влекли девицы другого порядка — такие с темненькими усиками на верхней губе. Очень такие веселые, бравурные, быстрые в сво-

их движениях, умеющие танцевать, плавать, нырять и болтать всякую чепуху. А его Маргариточка была, благодаря профессии, малоподвижная и слишком скромная в своих движениях и действиях.

Но жребий был брошен, и пружина разворачивалась без остановки.

И, проходя теперь мимо соседнего дома, Володин всякий раз останавливался подле ее окон и подолгу разговаривал, беседуя о том и о сем. И, стоя перед ней в профиль или в три четверти и теребя свои бачки, Володин говорил разные иносказательные вещи о приличной жизни и о хорошей судьбе. И из разговоров с ней он определенно понял, что комната в ее квартире к его услугам, если, конечно, он не остановится на своих намеках.

И он, быстро обмозговав все дело и оглядев более внимательным и требовательным взором свою даму, с победным криком ринулся в бой. Так состоялся этот знаменитый брак.

И Володин перебрался в квартиру Гопкис, внося туда, в общий котел, свою слишком скромную одинокую подушку и другой жидковатый скарб. Фотограф Патрикеев провожал Володина, тряс ему руку и советовал не кидать только-что начатого познания в ретушерском деле.

Маргарита Гопкис с досадой махала руками, говоря, что навряд ли Володину понадобится такое кропотливое занятие.

Итак, Володин вошел в новую жизнь, считая, что произошла довольно выгодная комбинация, построенная на точном и правильном расчете. И он бодро потирал свои руки и мысленно хлопал себя по плечу, говоря:

— Ничего, брат Володин, жизнь и тебе, кажись, начинается улыбаться.

Но это была улыбка не так чтобы слишком умильная.

Слов нет, жизнь нашего Володина переменялась к лучшему. Из проходной, неудобной комнаты он переехал в дивную спальню с разными этажерками и подушками.

Кроме того, питаюсь раньше плохо и скромно всякими огрызками и требухой, он и тут остался в крупном выигрыше. Он кушал теперь разные порядочные блюда — супы, мясо, фрикадельки, помидоры и так далее. Кроме того, раз в неделю, вместе со всей семьей, он пил какао, удивляясь и восторгаясь этому жирному напитку, вкус которого он позабыл за 8-9 лет своей неудобной жизни.

Однако, Володин не был на содержании у своей законной жены. Не переставая работать на поприще фотографии, он сделал крупные успехи и стал получать за свою работу не только благодарность, но и живые деньги.

Хорошая свежая пища позволяла Володину с особым вдохновением кидаться на работу. И, не имея особого счастья со своей молодой супругой, он уходил в силу этого в работу. И эту работу исполнял до того тонко и художественно, что все снятые морды выходили у него теперь совершенно ангельскими, и ихние живые владельцы искренно удивлялись такой счастливой неожиданности и снимались все более и более охотно, не жалея никаких денег и засылая, кроме того, в фотографию все новых и новых клиентов.

Фотограф Патрикеев чрезвычайно дорожил теперь своим работником и делал ему надбавку всякий раз, когда клиенты особенно восторгались художественным исполнением.

Вот тут Володин и почувствовал под ногами почву и понял, что теперь его немисливо согнать с занятой позиции.

И он начал полнеть, округляться и приобретать спокойно-независимый вид. Его не стало развозить,

а просто его организм начал мудро запасаться жирами и витаминами на черный день и на всякий случай.

Конечно, особого спокойствия и довольствия Володин не имел.

Пожрав вволю и побеседовав с женой на хозяйственные темы и заказав ей обед на завтра, он оставался в печальном одиночестве, искренне горюя, что у него нету особой нежной привязанности к молодой супруге, той привязанности, которая достойно украшает жизнь и делает всякую обыденную собачью ерунду — событием и красивой подробностью счастливой жизни. И, имея такие мысли, Володин надевал свою шляпу и выходил на улицу, конечно, предварительно побрившись, попудрив свой элегантный нос и подравняв свои итальянские бачки.

Он шел по улицам и посматривал на проходящих женщин, живо интересуясь, какие они, как они ходят и какие у них лица и мордочки. Он останавливался, смотрел вслед и насвистывал какой-нибудь особенный мотивчик. Так незаметно проходило время. Проходили дни, недели, месяцы. Так незаметно прошло три года. Молодая супруга, Маргарита Гопкис, буквально не могла налюбоваться на своего выдающегося супруга.

Она работала все равно как слон, буквально не разгибая спины, желая предоставить своему хозяину наибольшие выгоды. Она, желая скрасить ему существование, покупала всякие приличные и забавные мелочишки, красивые подтяжки, ремешки для часов и прочие вещицы семейного обихода. Но он глядел хмуро и скупно подставлял свои щеки под обильные поцелуи своей сожительницы. Иногда он просто грубо огрызался и отгонял ее, как назойливую муху.

Он начал ясно и открыто грустить, задумываться и проклинать свою жизнь.

— Нет, не удалась жизнь, — бормотал наш Володин, тщетно стараясь понять, какую ошибку он сделал в своей жизни и в своих планах.

Но вот весной, если не изменяет нам память, 1925 года произошли крупные события в жизни нашего друга, Николая Петровича Володина. Ухаживая за одной довольно миленькой девушкой, он горячо влюбился, или, скажем более проще, втюрился в нее и даже стал подумывать о коренной перемене своей жизни. Имея теперь приличный заработок, он уже мог думать о новой, более счастливой жизни.

Все ему было мило и прелестно в этой молодой девице. Она, одним словом, вполне отвечала его духовным запросам, имея именно такую внешность, о которой он мечтал всю свою жизнь.

Она была худенькая поэтическая особа с темными волосами и с блестящими, как звезды, глазами. Ее небольшие крошечные усики особенно приводили в восторг Володина и заставляли его более серьезно обдумывать создавшееся положение.

Но разные семейные подробности и предчувствия громких скандалов и мордобоя заставляли его холодеть и отгонять решительные мысли прочь.

И, не желая пока-что омрачать своих высших чувств и переживаний, он старался не думать о плохих вещах и жил буквально как бабочка, порхая с цветка на цветок.

Он стал на всякий случай несколько даже приветливей со своей супругой и, уходя из дому, вкручивал ей что-то относительно знакомых друзей, к которым он спешит. И, похлопывая ее по спине, говорил ей разные приветливые и неоскорбительные слова. И мадам Володина, понимая, что происходит что-то такое исключительное по своей важности, хлопала глазами и не знала, как ей вести себя — то ли ей кричать и скандалить, то ли несколько обождать, собрав предварительно обличительный материал и улики.

Володин уходил из дому и, встречаясь со своей малюткой, вел ее торжественно по улицам, полный остроумных фраз, вдохновения и бурной, кипящей жизни.

Девушка висла на его руке, щебеча про свои невинные мелкие делишки и про то, что многие женатые кавалеры вообще стремятся к разным несбыточным фантазиям и чорт знает к чему, но что она, несмотря на теперешнюю полную распушенность, глядит все же совершенно иначе. И только серьезные обстоятельства могут склонить ее к более определенным фактам. Или уж, конечно, слишком сильная любовь сможет тоже, пожалуй, поколебать ее соображения. Чувствуя в этих словах любовное признание, Володин особенно энергично волок свою даму и прижимал ее к себе, бормоча разные безответственные мысли и пожелания.

Но они почти не разговаривали о грубых материальных вещах.

Они вели более возвышенные разговоры, целуясь на каждом углу и у каждого дерева.

Они уходили по вечерам на озеро и там, на высоком берегу, на скамейке, а то и просто на траве под сиренью сидели, нежно обнявшись, переживая каждую секунду свое счастье. Был май месяц, и это дивное время года особенно вдохновляло их своей красотой, свежими красками и легким упоительным воздухом.

Автор, к сожалению, не имеет крупного поэтического дарования, и он не в силах с легкостью владеть поэтическим лексиконом. Автор, не будучи имажинистом, искренно горюет, что у него мало способностей к художественному описанию и вообще к художественной прозе. Иначе величественные и мировые картины создал бы автор, описывая эти свежие чувства влюбленных сердец на чудном фоне весеннего пейзажа, наших природных богатств и душистой сирени.

Автор признается, что он не раз пробовал проникнуть в секрет художественного описания, в тот секрет, которым с такой завидной легкостью владеют наши современные гиганты литературы.

Однако, бледность слов и нерешительность мыс-

лей не позволяли автору слишком углубляться в девственные дебри русской художественной прозы.

Описывая волшебные картины свидания наших друзей, полные поэтической грусти и трепета, автор все же не может побороть в себе искушения окунуться в запретные и сладкие воды художественного мастерства. И несколько строк описания ночной панорамы автор с любовью посвящает нашим влюбленным. Только пущай опытные литераторы-художники не будут слишком строги в оценке этих скромных упражнений. Это нелегкое занятие. Это тяжелый труд.

Однако, автор все же попробует окунуться в высокую художественную литературу:

Море булькотело...

Вдруг кругом чего-то закурчавилось, затыркало, заколюжило.

Это молодой человек рассупонил свои плечи и засупонил руку в боковой карман.

В мире была скамейка.

И вот в мир неожиданно вошла

папи-

рос-

ка,

котору-

ю

человек

раздумчиво

и

медленно

захватил своими ровными, матово-желтыми, слегка выпуклыми зубами (зубами ли?), полураскрыв для этой цели свое едало на полсантиметра и двенадцать миллиметров. При этом он обнаружил бледно-красные, скорее розовые или, вернее, синеватые десна, сплошь утыканые зубами, как плесенью. На верхней десне была небольшая (еле заметная) темная точка, которая при свете луны теперь чуть мерцала себе, и

только опытный зоркий глаз художника мог увидеть ее на пользу и во славу отечественной словесности.

Море булькотело... Трава немолчно шебуршала. Суглинки и супеси давно осыпались под ногами влюбленных.

Девушка шамливо и раскосо капоркнула, крюкая сирень.¹

Расся, Расся, мать ты моя Расся! Эх, эх, чорт побери!

Море, то есть, вообще, озеро булькотело и опалом и бирюзой отливало, кивало, рвало. Кругом опять чего-то художественно заколужило, затыркало, закурчавилось. И спектральный анализ озарил вдруг своим дивным несказанным блеском холмистую местность...

А ну его к чорту! Не выходит. Автор имеет мужество сознаться, что у него нету дарования к так называемой художественной литературе. Кому что дано. Одному Господь Бог дал простой грубоватый язык, а другого язык способен каждую минуту проделывать всякие тонкие художественные ригурнели.

Но автор и не задается на крупное мастерство и снова со своим суконным языком приступает к описанию событий.

Одним словом, не вдаваясь в искусство речи, скажем, что наши влюбленные сидели над озером и вели длинные и нескончаемые любовные беседы, время от времени вздыхая и молча слушая, как булькотело море и шебуршала растительность.

Автор очень всегда удивляется, когда люди говорят о предметах, не задумываясь об их сущности и причинах.

Многие наши видные литераторы и даже крепкие сатирики обычно с легкостью пишут такие, например, слова: влюбленные вздыхали.

А почему вздыхали? Отчего они вздыхали? По

¹ Девушка шаловливо и весело улыбнулась, нюхая сирень.

какой причине влюбленные имеют такую определенную привычку вздыхать?

Объясни, растолкуй неискушенному читателю, если ты носишь звание писателя. Так этого нет. Сказал и до свиданья — отошел к другому предмету с преступной небрежностью.

Автор попытается встрять и в это не его дело. По популярному описанию одного германского зубного врача вздох есть не что иное, как задержка. То есть, он говорит, в вашем организме происходит, говорит, такое, как бы сказать, торможение, задержка каких-то сил, которым мешают пойти по ихнему прямому пути и назначению, и вот происходит вздох.

Человек вздохнул — значит человеку мешают выполнить его желания. И раньше, когда любовь не была слишком доступна, влюбленным приходилось престоко вздыхать. Но, впрочем, и теперь это иногда случается.

Так просто и славно происходит течение нашей жизни и так ведется скромная, незаметная работа нашего организма.

Но автору все это не мешает с любовью относиться ко многим превосходным вещам и желаниям.

Итак, наша молодая парочка беседовала и вздыхала. Но уже в июне месяце, когда над озером зацвела сирень, — они вздыхали все реже и реже и, наконец, совершенно перестали вздыхать и сидели на скамье, склонившись друг к другу, счастливые и упоенные.

Море булькотело. Суглинки и супеси...

А ну его к чорту!..

В одну из таких славных сердечных встреч, когда Володин сидел с барышней и говорил ей разные поэтические сравнения и рифмы, он обмолвился довольно красивой фразой, которую без всякого сомнения он спер откуда-нибудь из хрестоматии, хотя и уверял в противном. Однако, навряд ли он мог бы так сформулировать такую причудливую и поэтическую фра-

зу, достойную разве пера крупного имажиниста.

Наклонившись к барышне и одновременно нюхая с ней ветку сирени, он сказал: «Сирень цветет неделю и отцветает. Так и ваша любовь». Барышня замерла в совершенном восторге, требуя повторить еще и еще раз эти дивные музыкальные слова.

И он повторял цельный вечер, читая в промежутках стихи Пушкина, — «Птичка прыгает на ветке». Блока и других ответственных поэтов.

5

Вернувшись после этого возвышенного вечера домой, Володин был встречен дикими криками, воплями, грубыми словами.

Вся семья Гопкис, совместно с пресловутым братом милосердия Сыпуновым, накинулась на Володина и честила его почем зря, называя его жуликом, прохвостом и бабником.

Брат милосердия Сыпунов ходил буквально колесом по квартире, крича, что если женщина слабая, так он заместо нее очень свободно может проломить голову, если понадобится, и если такая неблагодарная тварь, как Володин, будет мотаться по ночам, задеря хвост, и будет разрушать семейную слаженную идиллию.

Сама Маргарита, чувствуя неминуемую беду, пронзительно, как свисток, орала и сквозь свист и стенания кричала, что такую бесчувственную и безобразную скотину надо было бы погнать в три шеи и что только любовь, а, главное, затраченная молодость удерживает ее от такого поступка.

Володина особенно неприятно поразило, что ревела младшая сестрица, Леля, которая, казалось, никакой корысти от него не имела. И своим ревом она только создавала тревожную атмосферу и увеличивала беду до большого семейного скандала.

Эта грубая и некультурная сценка убивала в Володине все возвышенные мысли. Вернувшись домой

полный самых глубоких элегантных переживаний, благородных чувств и запаха сирени, он хватался теперь за голову и мысленно проклинал свой опрометчивый шаг в смысле женитьбы на этой оголтелой бабе, которая теперь безвозвратно губит его молодость. И, не повышая голоса, в ответ на скандалы и крики он послал всю семейку в такие места, откуда нет возврата, и заперся в своей комнате. И на утро, чуть свет, он тихо сложил свои вещицы и гардероб и приготовился к отбытию.

И, когда брат милосердия ушел на службу, Володин, забрав свои узлы, покинул квартиру, несмотря на стенания и поминутные истерические и обморочные припадки своей дражайшей половины.

Он ушел к своему фотографу, который встретил его с распростертыми объятиями и с неподдельной радостью, предполагая, что Володин начнет ему теперь ретушировать если не даром, то на более экономных основаниях.

Взволнованный собственным своим поступком, Володин наобещал разных дружеских и даровых услуг, не задумываясь о своих словах. Он горел одним желанием поскорей увидеть свою малютку, чтобы поделиться с ней новым и счастливым оборотом дела.

И в два часа дня он встретился с ней, как всегда, у озера, у часовенки. ,

И, схватив свою крошку за руки, он стал взволнованно рассказывать ей, украшая свой поступок героическими подробностями и мелочами. Да, он ушел из дому, порвав ненавистные цепи и набив морду брату милосердия.

Барышня была до чрезвычайности обрадована таким сообщением. Она прыгала вокруг него, как вешняя козочка, и, ластая к нему, говорила, что вот, наконец-то, он свободный гражданин и, наконец-то, он сможет назвать свою рыбку фактической женой на веки веков аминь. И как все будет очаровательно, когда они заживут вместе, в одной квартире, под одной

кровлей: он — работая, как слон, не покладая рук, она — в хлопотах по хозяйству, за шитьем, за уборкой мусора и так далее и тому подобное. Володина неприятно вдруг поразило такое слишком нескрываемое желание заполучить его в мужья и оседлать его, сделав добытчиком до конца дней.

Он несколько хмуро поглядел на барышню и стал говорить, что все это очень мило, однако еще требуется всесторонне рассмотреть все вопросы, так как он не привык, чтобы любимый человек подвергался лишениям и бедности.

Собственно говоря, это он сказал просто так, желая одернуть барышню в ее материальных расчетах и перевести ее на более возвышенный лад. Ему показалось оскорбительным, что барышня может рассматривать его именно с этой практической, корыстной стороны.

И, в одно мгновение вспомнив свой брак и свои расчетливые построения, Володин стал испытующе глядеть на девицу, желая проникнуть в ее мысли и в ее сердце.

И Володину показалось, что в глазах девицы горели алчный расчет, выгода и желание поскорей устроить свою судьбу.

— И потом я просто не имею денег, — сказал он.

И вдруг, мгновенно обдумав план действия, он решил выдать себя за бедняка и безработного.

— Да, — повторил он уже более твердо и даже, как бы сказать, торжественно, — я не имею денег, у меня нету денег, и я, к сожалению, не могу обеспечить вас своей работой и своими достатками.

Это было, конечно, неправда, он жил хорошо и прилично, но ему захотелось услышать из уст девушки прелестные и бескорыстные слова — мол, ну, как-нибудь, что за счеты, и так далее, и зачем, мол, деньги, когда на сердце такое дивное чувство распускается.

А Оленька Сисяева, как на зло, пораженная не столько уверениями, сколько его тоном, зашмыгала

носи́ком и забормотала какие-то несложные слова, которые можно было скорее всего принять за досаду и сорвавшиеся мечты.

— Как же, — молвила она, наконец, — давеча вы говорили как раз совершенно другие вещи и, напротив того, рисовали разные планы, а сейчас выходит обратно другое. Ну, как же это так?

— А очень просто, — грубо сказал он, — у меня, знаете, уважаемый товарищ, не государственное учреждение, у меня, знаете, положение слишком шаткое и одинокое. И, может, в настоящее время у меня почти что нету работы. Я почти что нуждаюсь в работе, уважаемый товарищ. И в дальнейшем сам не знаю, как и чем я буду сводить концы с концами. Или мне придется босиком ходить по дорогам и просить себе пропитание, уважаемый товарищ.

Барышня глядела на него выпуклыми стеклянными глазами, туго соображая, чего происходит. А он нес околесицу и закидывал свою даму картинами бедности, неуютности и предстоящей нужды.

После, перед прощанием, они оба старались смягчить эту небольшую грубую сценку и, гуляя минут десять, беседовали о самых посторонних и даже поэтических вещах. Однако, беседа у них не клеилась. И они расстались, она — удивленная и непонимающая, а он — все более и более уверенный в ее тонких бабьих расчетах и соображениях.

И, вернувшись в свою пустую проходную комнату, Володин лег на диван и старался разобраться в чувствах и пожеланиях барышни.

«Ловко сработано, — думал он, — поддела караса! Небось, очень ахнула, когда про бедность услышала».

Нет, он не в бирюльки играет! Он поглядит еще, какая такая ее любовь.

И, хотя у него не было точной и полной уверенности в ее расчетах, однако, он думал так, желая поскорей услышать ее слова и уверения в обратном. Ко-

нечно, безусловно, она была ошеломлена неожиданным заявлением и не могла враз сказать свое мнение, но теперь, обдумав все, она должна будет решить на основе полной искренней бескорыстности. Настоящая любовь не останавливается при виде бедности и нищеты. И, если она его любит, она возьмет его за ручку и скажет ему разные слова, — мол, об чем речь, об чем беспокойство? Ваша бедность не пугает меня, будем работать и к чему-нибудь стремиться.

Так раздумывая, он лежал в беспокойстве и нерешимости. Как вдруг на лестнице позвонили. Это звонил брат милосердия Сыпунов, который суровым тоном попросил его следовать за собой на нейтральное место, во двор, чтобы там, на свободе, побеседовать о происшедших делах и поступках.

Беспокоясь и не смея отказаться, Володин надел шляпу и опустил в двор.

Там уже стояла вся семейка, оживленно беседуя и горячась.

Не теряя драгоценного времени и слов, брат милосердия Сыпунов подошел к Володину и ударил его булыжником, весом, вероятно, побольше фунта.

Володин не успел отдернуть голову, он только мотнулся в сторону и тем самым несколько ослабил удар. Булыжник, скользя по шляпе, слегка рассек ухо и кожу щеки.

Володин, закрыв руками лицо, бросился назад. И тотчас ему вдогонку полетело еще два-три камня, пущенных слабыми руками почтенных женщин.

Володин одним духом взмахнул по лестнице и поспешно закрыл за собой дверь.

Брат милосердия кинулся за ним и некоторое время, из хулиганских побуждений, бил ногами в дверь, приглашая Володина выйти и поговорить еще раз, но уже более спокойно и без мордобития.

Володин, зажав рукой раненое ухо, стоял за дверью, удерживая дыхание. Сердце его отчаянно колотилось. Испуг сковал ему ноги. Брат милосердия,

поколотив еще в дверь, сказал, что если так пойдет, то его, подлеца, схватят всей семьей и обольют серной кислотой. Если, конечно, он не одумается и не вернется к исполнению своих обязанностей.

Побитый и потрясенный, Володин лежал на диване, думая, что все рухнуло и все погибло. Он не видел никакого утешения. Даже любовь была теперь под сомнением. Его чувство было обмануто и оскорблено грубым расчетом и соображением.

И, подумав об этом, Володин снова стал сомневаться, так ли это.

Ну, а если это не так, то он пойдет к ней и целиком убедится.

Да, он пойдет к ней и все скажет. Он скажет, что жизнь обостряется, что он с опасностью для своей жизни идет к намеченным идеалам, но зато она должна знать, окончательно и раз навсегда, что он ничего буквально не имеет.

Он голый и нищий, без куска хлеба и без всякой работы. Хочет она — пушай на риск выходит замуж за такого. Не хочет — пожмем друг другу ручки и разойдемся, как в море корабли.

Он хотел было тотчас побежать к ней, чтоб доложить ей эти последние слова, но было уже поздно, и он, сняв окровавленный пиджак, промыл под краном свое разорванное ухо и, обвязав голову полотенцем, лег спать.

Он плохо спал, ворочался и громко мычал во сне, так что фотограф принужден был дважды окликать его, чтоб перебить ему мычание.

6

Брат милосердия Сыпунов — этот грубый и некультурный субъект — действительно припер откуда-то бутылку с серной кислотой.

Он поставил ее на окно и прочел обеим сестрицам краткую лекцию о пользе этой жидкости.

— Маленько плеснуть никогда не мешает, — го-

ворил он сестрам, картинно изображая в лицах момент облития. — Особенно, конечно, глаза не надо вытравлять, но, говорит, нос и другие предметы безусловно можно потревожить. Тем более, имея после того красную морду, пострадавший не будет слишком привлекательный господинчик, и девицы, без всякого сомнения, перестанут на него кидаться, и он тогда, как миленький, снова вернется в свое стойло. А суд, конечно, найдет разные обстоятельства и даст условное покаяние.

Маргарита Гопкис ахала, вздыхала и заламывала свои руки, говоря, что, если это так нужно, то она предпочла бы выкорчевать морду этой усатой, черномазой бабенке, которая испортила ее счастье и отогнала от нее любимого человека.

Однако, считая, что загнать его обратно с неиспорченной личностью нету возможности, она снова, ахая, соглашалась, говоря, что надо бы слегка, из гуманных соображений, разбавить эту ядовитую жидкость.

Брат милосердия гремел своим голосом и стучал бутылкой о подоконник, говоря, что в крайнем случае, если на то пошло, можно, конечно, и двоих облить к чортовой матери, что оба они два весьма ему примелькались и беспокоят его характер. И что он еще бы и третьего кого-нибудь облил, хотя бы, для примеру, ту же мать этой чернявой девицы — зачем она настолько распускает свою девочку, насильно заставляя ее трепаться с уже занятым человеком. Что же касается до разбавления жидкости, то это ни к чему не приведет, так как химия есть точная наука, и она требует определенный состав. И не с ихним образованием менять формулы.

Всю эту семейную сцену покрывала своим острым рыданием младшая сестрица Леля, которая предчувствовала новые крупные потрясения.

Автор спешит успокоить уважаемых читателей — особого серьезного дела не вышло из этого. И все

окончилось, если и не совсем благополучно, то приблизительно. Но испуг был громадный. И много горя в связи с этим потрясением пришлось хлебнуть нашему другу Володину. На другой день, побрившись и попудрив свое поврежденное ухо, Володин вышел на улицу и заспешил до своей малютки.

Он шел по улице и бурно жестикулировал, беседа вслух с самим собой.

Он придумывал всякие каверзные вопросы, которые он задаст ей и которые должны вскрыть подпольную и корыстную игру молодой девушки.

Она находится в бедности, она висит на своей мамаше, она желает устроить свою судьбу. Но она презрительно ошибается. Да, он ни хрена не имеет. Он весь тут. Вот один галстук и одни штаны. И к тому же он безработный, без всяких надежд на будущее. А его фотографическое дело, пускай она знает, ничего ему не дает. И, кроме непосильных расходов на карандаши и резинки, он ничего не видит. И если он этим занимается, то исключительно из любезности и дружбы к фотографу Патрикееву, уступившему ему свой диван и комнату.

Так он ей скажет и посмотрит, в чем дело. Пускай на это она определенно даст свое мнение. Он шел торопливо, не замечая никого и ничего не слыша.

На углу у пустыря навстречу шла его бывшая супруга, Маргариточка Гопкис.

Увидев ее, Володин смертельно побледнел и, как зачарованный, не сводя с нее глаз, медленно пошел к ней.

На расстоянии трех шагов Маргарита, тихо что-то закричав, взмахнула рукой и, снизу вверх, плеснула в Володина кислотой.

Было большое расстояние и пузырек был с узким горлышком, так что только несколько капель попало Володину на костюм.

Володин побежал в сторону, пронзительно визжа

и хлопая себя ладонями по лицу, желая удостовериться, цела ли его морда.

И, уверившись в благополучном исходе, он снова повернулся и бросился на Маргариту Гопкис, которая, как тень, стояла подле забора. Володин схватил ее за горло и начал трясти, ударяя ее головой об забор, крича какие-то несвязные фразы.

Это все происходило на пустынной и глухой улице, по которой Володин имел обыкновение ходить на свидание к своей крошке.

Но, несмотря на это, народ стал подходить с других улиц, с любопытством всматриваясь, какое зрелище им предстоит увидеть.

Но зрелище подходило к концу. Беспokoясь, что его поволокут в часть, Володин перестал трясти свою мадам и быстро, не оглядываясь, пошел домой.

Он был потрясен и взволнован. Зубы его били барабанную дробь.

Почти бегом он вернулся домой и заперся в квартире.

Конечно, он не мог теперь в таком виде пойти к своей крошке.

Его била лихорадка. Его ноги дрожали и зубы ляскали.

Володин полежал некоторое время на диване. Потом стал ходить по комнате, с испугом поглядывая в окно и прислушиваясь к шуму. И он не выходил весь день, боясь, что брат милосердия прикончит его во дворе или сделает его калекой, переломав ему руки и ребра.

Он провел день в смертельной тоске, без всякой пищи. Он только пил воду в невероятном количестве, охлаждая и заливая внутренний жар. И целую ночь, не сомкнув глаз, он обдумывал создавшееся положение, стараясь найти какой-нибудь приличный и неоскорбительный выход. И такой выход он нашел, придя к мысли, что необходимо заключить перемирие с бывшей женой и ее ангелом-хранителем, т. Сы-

пуновым. Он не подаст на них в суд за покушение на убийство, а за это пушай его не добивают до смерти.

Успокоившись на этом, он мысленно перекинулся на другой не менее важный фронт и стал думать, в сотый раз, как и какие новые решительные слова он скажет своей малютке для того, чтобы получить настоящего человека с бескорыстным чувством, а не хитровую бабу с ее практическими штучками. И для достижения этой цели он не остановится ни перед какими трудностями и затратами. Да, он объявит себя безработным человеком и первое время будет тайком от нее работать у своего фотографа, с тем, чтобы окончательно убедиться, что барышня не имеет никаких расчетов и внутренних соображений.

И Володину уже мысленно рисовались сцены, когда он, подняв воротничок своего пиджачка и тщательно занавесив окна, тайком работает, не покладая рук, день и ночь ретушируя фотографические снимки. Он работает так цельный месяц или два месяца или даже год и откладывает деньги, абсолютно не тратя их. И, наконец, убедившись в своей крошке, он приносит к ее ногам груду денег и умоляет простить его за такой грубый и нахальный поступок.

И барышня, со слезами на глазах, отстраняет светлой ручкой его деньжата — мол, что вы, к чему это, зачем столько много, это, мол, портит отношения.

И тут наступает безоблачное счастье, и наступает дивная неповторимая жизнь.

Слезы радости показывались на глазах Володина, когда он думал о таком исходе дела. И он энергично вращался на своем диване, скрипя всеми пружинами и вытирая глаза рукавом рубашки.

Но потом он снова думал о своих горестях, о мордобое и о всех последних мрачных делах. И тогда он буквально холодел и, пугаясь задним числом за свою нетронутую наружность, вскакивал со своего

задрипанного дивана и снова подбегал то к зеркалу, чтоб еще раз удостовериться в сохранности лица, то к костюму, разглядывая прожженную ткань.

Так беспокойно и тяжело он провел целую ночь, слегка вздремнув только под самое утро.

А утром, с серым лицом и с мутными глазами, он стал торопливо собираться по своим делам, решив в первую очередь навестить свою барышню, чтобы приступить поскорей к выполнению своего плана. После того он выкинет белый флаг и войдет в переговоры со своими родственниками.

И, выйдя на лестницу, Володин стал, по своей привычке, чистить сапоги, лакируя их бархаткой до ослепительного блеска.

Он уже вычистил один сапог, как вдруг, вероятно, от холода лестницы, икнул. Он икнул раз, потом еще раз, потом, через несколько секунд, еще несколько раз.

Откашлявшись и сделав ту же небольшую зарядовую гимнастику, Володин принялся энергично тереть другой сапог. Но так как икота не проходила, он пошел на кухню и, взяв там кусочек сахара, принялся сосать его, находя совершенно неловким разговаривать с любимым человеком, имея такой дефект речи.

Однако, икота все еще не проходила. И он икал теперь правильно, как машина, через определенный промежуток времени в полминуты.

Слегка взволнованный новым неожиданным препятствием, мешающим увидеть дорогого человека, он принялся ходить по комнате, распевая полным голосом веселые и комические песенки, чтобы не поддаться внутренней тревоге и тоске.

Походив так около часу, он присел на край дивана и вдруг с ужасом убедился, что его икота не только не уменьшилась, но, наоборот, стала гуще и звучней, и только промежутки между двумя схватками увеличились почти до двух минут.

И эти промежутки Володин сидел неподвижно, почти затаив дыхание, со страхом поджидая новой горловой судороги. И, икнув, он вскакивал, взмахивал руками и убитым, потусторонним взором смотрел вперед, ничего не видя.

Промаявшись так до двух часов дня, он поделился этой бедой со своим сожителем фотографом. Фотограф Патрикеев легкомысленно засмеялся и назвал это сущим пустяком и вздором, который с ним случается почти что всякий день. Тогда Володин, собрав остатки своего мужества, отправился к своей Оленьке Сисяевой.

Он икал всю дорогу, вздрагивая всем телом и махнув рукой на всякие приличия.

И, подходя к дому девушки, он, как на зло, стал икать до того часто и энергично, что прохожие обращивались и ругали его ослом и другими безотрадными словами.

И, вызвав девушку стуком в окно, Володин приготовился к решительному объяснению, перезабыв, правда, по случаю новой беды, все свои каверзные вопросы.

Извинившись за свою чисто нервную икоту, которая вызвана, видимо, острой простудой и малокровием, Володин элегантно поцеловал ручку Оленьке, икнув пару раз при этом несложном процессе.

Думая, что он надрался с горя, Оленька Сисяева заморгала ресницами, приготовившись дать ему суровую отповедь. Но он, думая больше о своей болезни, несвязным языком залепетал слова о том, что он форменный безработный, у которого только и капитала, что один галстук и подштанники. И что пушай Оленька по этой причине скажет лучше сейчас, согласна ли она пойти за такого архаровца, которого ждет жалкая судьба и с которым, может, придется ходить по миру, как со слепцом, и просить на пропитание. Или она, уважаемый товарищ, действительно его любит, несмотря ни на что.

Оленька Сисяева, слегка покраснев, сказала, что, к сожалению, довольно поздно сейчас задавать тому подобные вопросы. Тем более она, как выяснилось вчера, находится в положении, и довольно странно и глупо в ее чрезвычайном положении слышать подобные речи и факты. И что муж — это есть муж, и его долг как-нибудь кормить свою будущую семью.

Пораженный новым открытием и не получив решительного ответа на свои мысли и сомнения, Володин, сбитый с панталыку, окончательно потерял нить своего плана и изумленно глядел теперь на барышню, икая при этом время от времени.

Затем он, схватив ее за руки, сказал тонким тараканьим голосом, что пушай она, за ради Бога, хотя бы в таком случае скажет — любит ли она его и охотно ли идет на такой шаг.

И девушка, мило улыбнувшись, сказала, что конечно, без сомнения, она его любит, но только ему необходимо серьезно полечиться от его нервной икоты и что она не мыслит себе мужа с подобным странным дефектом.

И здесь, распрощавшись, они расстались, она — уверенная в себе, он — полный нерушимости и даже отчаяния от того, что ему так и не удалось достоверно узнать про чувство барышни.

7

Это было очень странно и удивительно, но икота у Володина не проходила.

Вернувшись домой, он пораньше лег спать с тайной надеждой, что утром все пройдет и снова наступит простая великолепная человеческая жизнь. Однако, проснувшись, он убедился, что беда не проходит. Правда, он икал теперь редко, примерно один раз в три минуты, но все же икал и не видел никаких признаков облегчения.

И, не вставая со своего дивана и холодея от мысли, что это недомогание останется у него на веки ве-

ков, Володин пролежал целый день и ночь, изредка выбегая на кухню попить холодной водички.

На утро, снова подняв голову с подушки и убедившись, что икота продолжается, Володин совершенно упал духом. Он перестал сопротивляться природе и, покорно отдавшись судьбе, лежал, как покойник, время от времени вздрагивая телом под бременем своей нервной икоты. Фотограф Патрикеев, обеспокоенный странным положением своего жильца, начал всерьез пугаться, как бы на его шее не остался инвалид, который будет круглые сутки икать и тем самым отпугивать его клиентов и посетителей. И, ничего не сказав Володину, он побежал до этой роковой Оленьки Сисяевой, чтобы пригласить ее к кровати больного, желая тем самым поскорей снять с себя всякую моральную и материальную ответственность и заботы по уходу. Он пришел к ней и стал умолять ее прийти, говоря, что ее дружок, если и не совсем кончается, то находится в крайне тяжелом положении, а, главное, через каждые два слова он произносит ее имя, наверное, горячо желая поскорее увидеть такую миленькую барышню.

Девица, сконфуженная такой исключительной болезнью своего жениха, не могла особенно высказывать свою печаль и тревогу.

Будучи не такой уж чересчур глупой, как кажется, она пыталась придать комический оттенок несчастью, говоря, что это ничего, ерунда и вообще чисто нервное явление, которое до ихней свадьбы безусловно пройдет.

Так разговаривая, они вдвоем пришли на квартиру болящего.

Несколько взволнованная бедным и неудобным видом комнаты и скудностью имущества, барышня остановилась на пороге, не решаясь подходить к больному, который лежал в совершенно отвлеченном виде, с низко закинутой головой и разбросанными руками.

При виде барышни больной вскочил с дивана, потом снова лег, поскорее прикрывая свой растерзанный туалет.

Барышня придвинула к дивану табурет и присела на кончик, с тоской глядя, как ее жениха дергала болезнь.

Весть о больном, который икает трое суток, несколько взбудоражила местное население ближайших домов. Слухи о кошмарной драме усилили любопытство граждан. И в квартиру началось буквально паломничество, которое невозможно было остановить силами одного фотографа. Все хотели поглядеть, как невеста относится к жениху и чего она ему говорит и как он, при своей икоте, ей отвечает.

Тут же, среди других граждан, колбасился и наш брат милосердия Сыпунов, не рискуя, впрочем, входить в комнату, чтобы не напугать больного.

Как ближайший родственник и медработник, он, окруженный толпой любопытных, авторитетно говорил о состоянии больного, объясняя, что к чему и в чем дело.

Безусловно, он не предполагал такого исхода. Он поугал человека, слов нет, но его двигало чувство справедливости, а также родственные связи с Маргаритой Гопкис, которая на склоне лет остается как-никак без человека.

Однако, печальные картины болезненного состояния очень его растрогали, тем более, он совершенно считается с чувством любви и, безусловно, никому теперь не позволит пальцем тронуть его бывшего родственника, Николая Петровича Володина. А Маргариточка, в крайнем случае, пушай сама как-нибудь протанцует свою жизнь. Что же касается болезни, то это скорей всего чисто нервное заболевание на простудной почве. И что у них в больнице на простудной почве чорт знает какие болезни происходят — и ничего. Если человек не помрет, то опасных явлений на всю жизнь не остается.

Фотограф Патрикеев, боясь, что в толкотне и сумятице разворуют его фотографические принадлежности, поднял крик, убеждая публику разойтись, иначе он вызовет милицию и силой прекратит безобразие.

Брат милосердия, получив директивы от фотографа, стал выпирать назойливую публику, махая треножником и оттесняя посетителей на кухню и лестницу. Он чеством просил расходиться и не вызывать его на более решительные действия.

Увидев такое безобразие, полную огласку дела и открытый срам, барышня, Оленька Сисяева начала вскакивать со своей табуретки, ахая и волнуясь.

Она стала лепетать, что надо бы больного отвезти в больницу или же, в крайнем случае, хотя бы пригласить коммунального врача, который может удалить лишнюю публику.

Среди посетителей находился, между прочим, один такой бывший интеллигент, некто Абрамов, который заявил, что врач тут, безусловно, не при чем, что врач сорвет трояк и наделает таких прискорбных делов, после которых уже больного навряд ли можно поправить.

И что лучше пушай дозволят ему произвести опыт, который в самом корне подорвет это заболевание.

Этот некто Абрамов не носил звания врача или ученого, но он глубоко понимал многие вопросы и любил лечить граждан от всяких болезней и страданий своими домашними средствами. Так и тут он сказал, что картина заболевания ему слишком ясна. Что это есть неправильное движение организма. И что надо поскорее перебить это движение. Тем более, организм имеет, так сказать, свою инерцию и как заладит, заладит на одно, так прямо нет спасения. От этого, дескать, происходят почти все наши болезни и недомогания. И это, дескать, необходимо лечить энергично, давая сильную встряску и другой, обрат-

ный толчок всему организму, который, дескать, слепо работает, не разбираясь, куда его колесья крутятся и что из его работы выйдет.

Он велел посадить больного на стул, а сам, грубо насмехаясь над врачами и медициной, вышел на кухню, чтобы оттуда начать свои научные приготовления.

Там он, с помощью брата милосердия, нацедил полное ведро холодной воды и, выбежав осторожно, на цыпочках, из-за двери, вдруг с криком опрокинул всю эту воду на голову больному, который, мало чего соображая, беспечно сидел до этого на стуле, как мешок с картофелем.

Позабыв про свою болезнь, Володин полез было драться и вообще стал после этой процедуры буйствовать, выгоняя народ из помещения и порываясь побить своего доморощенного лекаря. Но вскоре Володин утих и, переменив платье, задремал, положив голову на колени своей малютки. На другое утро он встал совершенно здоровый и, побрившись и приведя себя в порядок, стал жить как обычно.

Конечно, автор не собирается утверждать, что это домашнее лечение подействовало исцеляюще. Скорей всего болезнь сама по себе прошла. Тем более, что три-четыре дня срок изрядный, хотя, конечно, медицина знает и более длительные сроки для этой болезни. Так что прохладная водица могла все же доброкачественно подействовать на замороженные мозги нашего больного и тем самым ускорила исцеление.

8

Через несколько дней Володин записался со своей малюткой и перебрался на жительство в ее скромные апартаменты.

Ихний медовый месяц прошел тихо и вполне безмятежно.

Брат милосердия окончательно сменил гнев на милость и даже раза два заходил к молодым с визи-

том, причем один раз милостиво занял трешку, не обещая, впрочем, ее вернуть. Зато он дал торжественное обещание не убивать больше Володина ни при каких обстоятельствах.

Что касается заработка и вообще содержания, то Володину пришлось сознаться в своей клевете. Ну, да, он немного приврал, желая испытать ее любовь. В этом нет ничего оскорбительного.

И, говоря об этом, он умолял ее еще раз сказать, знала ли она, что он нарочно соврал, или же она не знала и пошла за него по бескорыстному чувству.

И дамочка, задумчиво смеясь, уверяла его в последнем, говоря, что она сначала, конечно, не знала о его вранье и боялась, что он, действительно, ничего за душой не имеет. Но потом-то она определенно догадалась о его слишком прозрачных действиях. Ну, да она не имеет на него претензий — это его законное право разузнать про барышню.

И, слушая эти дамские речи, Володин мысленно сердился и называл себя ослом и бараном за то, что не смог досконально подловить барышню.

Впрочем, конечно, что ж он мог сделать? Тем более, его злокачественная болезнь подкузьмила — она лишила его энергии и воли и окончательно заморочила ему голову. И в силу этого он не мог решить задачу достойным образом. Тем более, барышня за просто обыграла его, козырнув с туза своим положением. Но в дальнейшем как-нибудь все само выяснится.

Что же касается Маргариточки Гопкис, то она продолжала сердиться и однажды, встретившись с Володиным на улице, не ответила на его сдержанный поклон, отвернув в сторону свой профиль.

Это мелкое событие тяжело, тем не менее, отразилось на Володине, который последнее время хотел, чтобы в жизни все было гладко и мило и чтоб голу-би по воздуху порхали.

В тот день он снова несколько заволновался, вспоминая последние события своей жизни.

Ночью ему не спалось. Он ворочался в кровати и хмуро, испытующе смотрел на свою мадам.

Молодая дама спала, распустив свои губы, причмокивая и всхлипывая.

— У нее был расчет, — думал Володин. — Она, холера, безусловно все знала. И, конечно, не пошла бы за него, если б он ничего не имел. И в своей тоске и беспокойстве Володин поднялся с кровати, походил по комнате, подошел к окну. И, прижав пылающий лоб к стеклу, долго глядел, как в темном саду от ветра покачивались деревья.

Потом, беспокоясь, что ночная прохлада может снова вызвать заболевание, Володин заспешил к кровати. И долго лежал с открытыми глазами, водя пальцем по рисунку обоев.

«Она, холера, безусловно, знала, что я приврал», — снова подумал Володин, засыпая.

А на утро он встал, как миленький, и о грубых вещах старался больше не думать. А если и думал, то вздыхал и махал ручкой, предполагая, что без корысти никто, никогда и ничего не делает.

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Б А Н Я

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин приедет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет — мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

— Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подадут — стиранное и глаженное. Портянки, небось, белее снега. Подштанники зашиты, заплатамы. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку), — дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать — некуда. Карманов нету. Кругом — живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое ж мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпускает.

— Ты что ж это, — говорит, — чужие шайки воруюешь? Как ляпну тебе шайкой между глаз — не зарадуешься.

Я говорю:

— Не царский, говорю, режим шайками ляпать. Эгоизм, говорю, какой. Надо же, говорю, и другим помыться. Не в театре, говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, — думаю, — над его душой. Теперича, думаю, он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнул или замечтался — не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться — какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. И шум такой стоит от стирки — мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

— Ну их, — думаю, — в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу — все мое, штаны не мои.

— Граждане, — говорю. — На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

— Мы, говорит, за дырками не приставлены. Не в театре, говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают — номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок — нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смывась бумажка.

Подаю банщику веревку — не хочет.

— По веревке, — говорит, — не выдаю. Это, говорит, каждый гражданин настрижет веревок, — паль-

то не напасешься. Обожди, говорит, когда публика разойдется — выдам, какое останется.

Я говорю:

— Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, говорю. Выдай, говорю, по приметам. Один, говорю, карман рваный, другого нету. Что касемо пуговиц, то, говорю, верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впускают.

— Раздевайтесь, — говорят.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, говорю. Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают — не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может любопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая за гривенник.

АРИСТОКРАТКА

Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке, ежели чулочки на ней фельдикосовые, или мопсик у ней на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место.

А в свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней и в театр водил. В театре-то все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме.

А встретился я с ней во дворе дома. На собрании. Гляжу, стоит этакая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый.

— Откуда, — говорю, — ты, гражданка. Из какого номера?

— Я, — говорит, — из седьмого.

— Пожалуйста, — говорю, — живите.

И сразу как-то она мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней. В седьмой номер. Бывало, приду, как лицо официальное. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действуют?

— Да, — отвечает, — действуют.

И сама кутается в байковый платок, и ни мур-мур больше. Только глазами стрижет. И зуб во рте блестит. Походил я к ней месяц — привыкла. Стала подробней отвечать. Дескать, действует водопровод, спасибо вам, Григорий Иванович.

Дальше — больше, стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит под руку принять. Приму ее под руку и волочусь, что щука. И чего сказать — не знаю, и перед народом совестно.

Ну, а раз она мне и говорит:

— Что вы, говорит, меня все по улицам водите? Аж голова закрутилась. Вы бы, говорит, как кавалер и у власти, сводили бы меня, например, в театр.

— Можно, — говорю.

И как раз на другой день прислала комячейка билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька-слесарь пожертвовал.

На билеты я не посмотрел, а они разные. Который мой — внизу сидеть, а который Васькин — аж на самой галерке.

Вот мы и пошли. Сели в театр. Она села на мой билет, я — на Васькин. Сижу на верхотурьи и ни хрена не вижу. А ежели нагнуться через барьер, то ее вижу. Хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел. Гляжу — антракт. А она в антракте ходит.

— Здравствуйте, — говорю.

— Здравствуйте.

— Интересно, — говорю, — действует ли тут водопровод?

— Не знаю, — говорит.

И сама в буфет прет. Я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюдо. На блюде пирожные.

А я таким гусем, таким буржуем нерезанным вьюсь вокруг нее и предлагаю:

— Ежели, — говорю, — вам охота скушать одно пирожное, то не стесняйтесь. Я заплачу.

— Мерси, — говорит.

И вдруг подходит развратной походкой к блюду и цоп с кремом и жрет.

А денег у меня — кот наплакал. Самое большое, что на три пирожных. Она кушает, а я с беспокойством по карманам шарю, смотрю рукой, сколько у меня денег. А денег — с гулькин нос.

Съела она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул. И молчу. Взяла меня этакая буржуйская стыдливость. Дескать, кавалер, а не при деньгах.

Я хожу вокруг нее, что петух, а она хохочет и на комплименты напрашивается. Я говорю:

— Не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть.

А она говорит:

— Нет.

И берет третье.

Я говорю:

— Натощак — не много ли? Может вытошнить.

А она:

— Нет, — говорит, — мы привыкшие.

И берет четвертое.

Тут ударила мне кровь в голову.

— Ложи, — говорю, — взад!

А она испужалась. Открыла рот. А во рте зуб блестит.

А мне будто попала вожжа под хвост. Все равно, думаю, теперь с ней не гулять.

— Ложи, — говорю, — к чортовой матери!

Положила она назад. А я говорю хозяину:

— Сколько с нас за скушанные три пирожные?
А хозяин держится индифферентно — ваньку валяет.

— С вас, — говорит, — за скушанные четыре штуки столько-то.

— Как, — говорю, — за четыре?! Когда четвертое в блюде находится.

— Нету, — отвечает, — хотя оно и в блюде находится, но надкус на ем сделан, и пальцем смято.

— Как, — говорю, — надкус, помилуйте! Это ваши смешные фантазии.

А хозяин держится индифферентно — перед рожей руками крутит.

Ну, народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят — надкус сделан, другие — нету.

А я вывернул карманы — всякое, конечно, барахло на пол вывалилось — народ хохочет. А мне не смешно. Я деньги считаю.

Сосчитал деньги — в обрез за четыре штуки. Зря, мать честная, спорил.

Заплатил. Обращаюсь к даме:

— Докушайте, — говорю, гражданка. Заплачено. А дама не двигается. И конфузится докушивать. А тут какой-то дядя ввязался.

— Давай, — говорит, — я докушаю.

И докушал, сволочь. За мои-то деньги.

Сели мы в театр. Досмотрели оперу. И домой.

А у дома она мне и говорит:

— Довольно свинство с вашей стороны. Которые без денег — не ездят с дамами.

А я говорю:

— Не в деньгах, гражданка, счастье. Извините за выражение.

Так мы с ней и разошлись.

Не нравятся мне аристократки.

Д Р О В А

И не раз и не два вспоминаю свя-
тые слова — дрова.

А. Блок

Это подлинное происшествие случилось на Рождестве. Газеты мелким шрифтом в отделе происшествий отметили, что случилось это там-то и тогда-то.

А я — человек любопытный. Я не удовлетворился сухими газетными строчками.

Я побежал по адресу, нашел виновника происшествия, втерся к нему в доверие и попросил подробнее осветить всю эту историю.

За бутылкой пива эта вся история была освещена.

Читатель — существо недоверчивое. Подумает: до чего складно врет человек.

А я не вру, читатель. Я и сейчас могу, читатель, посмотреть в ясные твои очи и сказать: «не вру». И вообще я никогда не вру и писать стараюсь без выдумки. Фантазией я не отличаюсь. И не люблю поэтому расстрачивать драгоценные свои жизненные соки на какую-то несуществующую выдумку. Я знаю, дорогой читатель, что жизнь много важнее литературы.

Итак, извольте слушать почти святочный рассказ.

«Дрова, — сказал мой собеседник, — дело драгоценное. Особенно, когда снег выдает, да морозец ударит, так лучше дров ничего на свете не сыскать.

Дрова даже можно на именины дарить.

Лизавете Игнатьевне, золовке моей, я в день рождения подарил вязанку дров. А Петр Семеныч, супруг ейный, человек горячий и вспыльчивый, в конце вечеринки ударил меня, сукин сын, поленом по голове.

— Это, — говорит, — не девятнадцатый год, чтоб дрова преподнести.

Но, несмотря на это, мнения своего насчет дров я не изменил. Дрова — дело драгоценное и святое.

И даже когда проходишь по улице мимо, скажем, забора, а мороз пощипывает, то невольно похлопываешь по деревянному забору.

А вор на дрова идет специальный. Карманник против него — мелкая социальная плётва.

Дровяной вор — человек отчаянный. И враз его никогда на учет не возьмешь.

А поймали мы вора случайно.

Дрова были во дворе складены. И стали те общественные дрова пропадать. Каждый день три-четыре полена недочет. А с четвертого номера Серега Пестриков наиболее колбасится.

— Караулить, — говорит, — братишки, требуется. Иначе, говорит, никаким каком вора не возьмешь.

Согласился народ. Стали караулить. Караулим по-очереди, а дрова пропадают.

И проходит месяц. И заявляется ко мне племянник мой, Мишка Власов.

— Я, — говорит, — дядя, как вам известно, состою в союзе химиков. И могу вам на родственных началах по пустяковой цене динамитный патрон всучить. А вы, говорит, заложите патрон в полено и ждите. Мы, говорит, петрозаводские, у себя в доме всегда так делаем, и воры оттого пугаются и красть остерегаются. Средство, говорит, богатое.

— Неси, — говорю, — курицын сын. Сегодня заложим.

Приносит.

Выдолбил я лодочку в полене, заложил патрон. Замуровал. И небрежно кинул полешко на дрова. И жду: что будет.

Вечером произошел в доме взрыв.

Народ смертельно испугался — думает, чорт знает что, а я-то знаю, и племянник Мишка знает, в чем тут запятая. А запятая — патрон взорвался в четвертом номере, в печке у Сереги Пестрикова.

Ничего я на это Сереге Пестрикову не сказал,

только с грустью посмотрел на его подлое лицо и на расстроенную квартиру, и на груды кирпича вместо печи, и на сломанные двери — и молча вышел.

Жертв была одна. Серегин жилец — инвалид Гусев — помер с испугу. Его кирпичом по балде звезду дануло.

А сам Серега Пестриков и его преподобная мамаша и сейчас живут на развалинах. И всей семейкой с нового году предстанут перед судом за кражу и дров пропажу.

И только одно обидно и досадно, что теперича Мишка Власов приписывает, сукин сын, себе все лавры.

Но я на суде скажу, какие же, скажу, его лавры, если я и полено долбил и патрон закладывал?

Пушай суд распределит лавры».

В О Р Ы

Что-то, граждане, воров нынче много развелось. Кругом прут без разбора.

Человека сейчас прямо не найти, у которого ничего не сперли.

У меня вот тоже недавно чемоданчик унесли, не доезжая Жмеринки.

И чего, например, с этим социальным бедствием делать? Руки, что ли, вора́м отрывать?

Вот, говорят, в Финляндии в прежнее время вора́м руки отрезали. Проворуете́ся, скажем, какой-нибудь финский товарищ, сейчас ему чик, и ходи, сукин сын, без руки. Зато и люди там пошли положительные. Там, говорят, квартиры можно даже не закрывать. А если, например, на улице гражданин бумажник обронит, так и бумажника не возьмут. А положат на видную тумбу, и пушай он лежит до скончания века... Вот дураки-то!

Ну, деньги-то из бумажника, небось, возьмут. Это уж не может того быть, чтоб не взяли. Тут не только руки отрезай, тут головы начисто оттыпывай — и то,

пожалуй, не поможет. Ну, да деньги — дело наживное. Бумажник остался, и то мерси.

Вот у меня, не доезжая Жмеринки, чемоданчик свистнули, так действительно начисто. Со всеми потрохами. Ручки от чемодана — и той не оставили. Мочалка была в чемодане — пятачок ей цена — и мочалку. Ну, на что им, чертям, мочалка?! Бросят же, подлецы. Так нет. Так с мочалкой и сперли.

А главное, присаживается ко мне вечером в поезде какой-то гражданин.

— Вы, — говорит, — будьте добры, осторожней тут ездите. Тут, говорит, воры очень отчаянные. Кидаются прямо на пассажиров.

— Это, — говорю, — меня не пугает. Я, говорю, всегда ухом на чемодан ложусь. Услышу.

Он говорит:

— Дело не в ухе. Тут, говорит, такие ловкачи — сапоги у людей снимают. Не то, что ухо.

— Сапоги, — говорю, — опять же у меня узкие. Не снимут.

— Ну, — говорит, — вас к чорту. Мое дело — предупредить. А вы там, как хотите.

На этом я и задремал.

Вдруг, не доезжая Жмеринки, кто-то в темноте как дернет меня за ногу. Чуть, ей-Богу, не оторвал... Я как вскочу, как хлопну вора по плечу. Он как сиганет в сторону. Я за ним с верхней полки. А бежать не могу.

Потому сапог на половину сдернут — нога в голенище болтается.

Поднял крик. Всполошил весь вагон.

— Что? — спрашивают.

— Сапоги, — говорю, — граждане, чуть не слимонили.

Стал натягивать сапог, гляжу — чемодана нету.

Снова крик поднял. Обыскал всех пассажиров — нету чемодана.

На большой станции пошел в Особый отдел заявлять.

Ну, посочувствовали там, записали.

Я говорю:

— Если поймаете, рвите у него к чертям руки.

Смеются.

— Ладно, — говорят, — оторвем. Только карандаш на место положите.

И действительно, как это случилось, прямо не знаю. А только взял я со стола ихний чернильный карандаш и в карман сунул.

Агент говорит:

— У нас, говорит, даром что Особый отдел, а в короткое время пассажиры весь прибор разворовали. Один сукин сын даже чернильницу унес. С чернилами.

Извинился я за карандаш и вышел.

«Да уж, — думаю, — у нас начать руки отрезать, так тут до чорта инвалидов будет. Себе дороже».

А, впрочем, чего-нибудь надо придумать против этого бедствия.

Хотя у нас имеется такая смелая мысль: жизнь с каждым годом улучшается и в скором времени может быть совсем улучшится, и тогда может быть и воров не будет.

Вот этим самым и проблема разрешится. Подождем.

МУЖ

Да что ж это, граждане, происходит на семейном фронте? Мужьям-то ведь форменная труба выходит. Особенно тем, у которых, знаете, жена передовыми вопросами занята.

Давеча, знаете, какая скучная история. Прихожу домой. Вхожу в квартиру. Стучусь, например, в собственную свою дверь — не открывают.

— Маюся, — говорю своей супруге, — да это же я, Вася, пришедши.

Молчит. Притаилась.

Вдруг за дверью голос Мишки Бочкова раздаётся. А Мишка Бочков — сослуживец, знаете ли, супругин.

— Ах, — говорит, — это вы, Василь Иваныч. Сей минуту, говорит, мы тебе отопрём. Обожди, друг, чуточку.

Тут меня, знаете, как поленом по башке ударило.

«Да что ж это, — думаю, — граждане, происходит-то на семейном фронте — мужей впускать перестали».

Прошу честью:

— Открой, — говорю, — Мишка, курицын сын. Не бойся, драться я с тобой не буду.

А я, знаете, действительно, не могу драться. Рост у меня, извините, мелкий, телосложение хлипкое. То есть не могу я драться. К тому же, знаете ли, у меня в желудке постоянно что-то там булькает при быстром движении. Фельдшер говорит: «Это у вас пища играет». А мне, знаете, не легче, что она играет. Игрушки какие у ей нашлись. Только, одним словом, через это не могу драться.

Стучусь в дверь.

— Открывай, — говорю, — бродяга такая.

Он говорит:

— Не тряси дверь, дьявол. Сейчас открою.

— Граждане, — говорю, — да что ж это будет такое? Он, говорю, с супругой закрывшись, а я ему и дверь не тряси и не шевели. Открывай, говорю, сию минуту, или я тебе сейчас шум устрою.

Он говорит:

— Василь Иваныч, да обожди немного. Посиди, говорит, в коридоре на сундучке. Да коптилку, говорит, только не оброни. Я тебе нарочно ее для света поставил.

— Братцы, — говорю, — милые товарищи. Да как же, говорю, он может, подлая его личность, в такое время мужу про коптилку говорить спокойным голосом?! Да что ж это происходит!

А он, знаете, урезонивает через дверь:

— Эх, дескать, Василь Иваныч, завсегда ты был беспартийным мещанином. Беспартийным мещанином и скончаешься.

— Пушай, — говорю, — я беспартийный мещанин, а только сию минуту я за милицией сбегая.

Бегу, конечно, вниз, к постовому.

Постовой говорит:

— Предпринять, товарищ, ничего не можем. Ежели, говорит, вас убивать начнут, или, например, из окна кинут при общих семейных неприятностях, то тогда предпринять можно... А так, говорит, ничего особенного у вас не происходит... Все нормально и доконально... Да вы, говорит, побегите еще раз. Может, они и пустят.

Бегу назад — действительно, через полчаса Мишка Бочков открывает дверь.

— Входите, — говорит. — Теперь можно.

Вхожу побыстрее в комнату, — батюшки светы — накурено, наляпано, набросано, разбросано. А за столом, между прочим, семь человек сидят — три бабы и два мужика. Пишут. Или заседают. Пес их разберет.

Посмотрели они на меня и хохочут.

А передовой ихний товарищ, Мишка Бочков, нагнулся над столом и тоже, знаете, заметно трясется от хохоту.

— Извиняюсь, — говорит, — пardon, что над вами подшутили. Охота нам было знать, чего это мужья в таких случаях теперь делают.

А я ядовито говорю:

— Смеяться, говорю, не приходится. Раз, говорю, заседание, то так и объявлять надо. Или, говорю, записки на дверях вывешивать. И вообще, говорю, когда курят, то проветривать надо.

А они посидели-посидели — и разошлись. Я их не задерживал.

А К Т Е Р

Рассказ этот — истинное происшествие. Случилось в Астрахани. Рассказал мне об этом актер-любитель.

Вот чего он рассказал.

«Вот вы меня, граждане, спрашиваете, был ли я актером? Ну, был. В театре играл. Прикасался к этому искусству. А только ерунда. Ничего в этом нет выдающего.

Конечно, если подумать глубже, то в этом искусстве много хорошего.

Скажем, выйдешь на сцену, а публика смотрит. А среди публики — знакомые, родственники со стороны жены, граждане с дому. Глядишь — подмигивают с партеру — дескать, не робей, Вася, дуй до горы. А ты, значит, им знаки делаешь — дескать, оставьте беспокоиться, граждане. Знаем. Сами с усами.

Но если подумать глубже, то ничего в этой профессии нету хорошего. Крови больше испортишь.

Вот раз ставили мы пьесу «Кто виноват?» Из прежней жизни. Очень это сильная пьеса. Там, значит, в одном акте грабители купца грабят на глазах у публики. Очень натурально выходит. Купец, значит, кричит, ногами отбивается. А его грабят. Жуткая пьеса.

Так вот поставили эту пьесу.

А перед самым спектаклем один любитель, который купца играл, выпил. И в жаре до того его, бродягу, растрясло, что, видим, не может роль купца вести. И, как выйдет к рампе, так нарочно электрические лампочки ногой давит.

Режиссер Иван Палыч мне говорит:

— Не придется, говорит, во втором акте его выпущать. Передавит, сукин сын, все лампочки. Может, говорит, ты вместо его сыграешь? Публика дура — не поймет.

Я говорю:

— Я, граждане, не могу, говорю, к рампе выйтить.

Не просите. Я, говорю, сейчас два арбуза съел. Плохо соображаю.

А он говорит:

— Выручай, браток. Хоть на одно действие. Может, тот артист после очухается. Не срывай, говорит, просветительной работы.

Все-таки упросили. Вышел я к рампе.

И вышел по ходу пьесы, как есть, в своем пиджаке, в брюках. Только что бороденку чужую приклеил. И вышел. А публика, хотя и дура, а враз узнала меня.

— А, — говорят, — Вася вышедши! Не робей, дескать, дуй до горы...

Я говорю:

— Робеть, граждане, не приходится — раз, говорю, критический момент. Артист, говорю, сильно под мухой и не может к рампе выйтить. Блюет.

Начали действие.

Играю я в действии купца. Кричу, значит, ногами от грабителей отбиваюсь. И чувствую, будто кто-то из любителей действительно мне в карман лезет.

Запахнул я пиджачок. В сторону от артистов.

Отбиваюсь от них. Прямо по роже бью. Ей-Богу!

— Не подходите, — говорю, — сволочи, честью прошу.

А те по ходу пьесы это наседают и наседают. Вынули у меня бумажник (восемнадцать червонцев) и к часам прутся.

Я кричу не своим голосом:

— Караул, дескать, граждане, всерьез грабят.

А от этого полный эффект получается.

Публика-дура в восхищении в ладоши бьет. Кричит:

— Давай, Вася, давай. Отбивайся, милый. Крой их, дьяволов, по башкам!

Я кричу:

— Не помогает, братцы!

И сам стегаю прямо по рылам.

Вижу — один любитель кровью исходит, а другие, подлецы, в раж вошли и насаждают.

— Братцы, — кричу, — да что ж это? За какое самое это страдать-то приходится?

Режиссер тут с кулис высовывается.

— Молодец, — говорит, — Вася. Чудно, говорит, рольку ведешь. Давай дальше.

Вижу — крики не помогают. Потому, чего не крикнешь — все прямо по ходу пьесы ложится.

Встал я на колени.

— Братцы, — говорю. — Режиссер, говорю, Иван Палыч. Не могу больше! Спускайте занавеску. Последнее, говорю, сбереженье всерьез прут!

Тут многие театральные спецы — видят, не по пьесе слова — из кулис выходят. Суфлер, спасибо, из будки наружу вылезает.

— Кажись, — говорит, — граждане, действительно у купца бумажник свистнули.

Дали занавес. Воды мне в ковшике принесли. Напоили.

— Братцы, — говорю. — Режиссер, говорю, Иван Палыч. Да что ж это, говорю. По ходу, говорю, пьесы кой-то бумажник у меня вынул...

Ну, устроили обыск у любителей. А только денег не нашли. А пустой бумажник кто-то в кулисы кинул.

Деньги так и сгнули. Как сгорели.

Вы говорите — искусство? Знаем! Играли!»

Б Ы В А Е Т

Ванюшка-то Леденцов работу получил. Истинная правда.

В тресте теперь работает.

И кто бы мог подумать! У человека то-есть ни протекции, ни особых знакомств или ячеек — ничего такого не было. И вот поди ж ты! Работает.

А говорят, что всюду кумовство и протекции и

чужому человечку будто внедриться куда-нибудь трудно. Ай врут!

У Ванюшки Леденцова во всем то-есть тресте ни единого знакомого человечка не было. Не только, скажем, какого-нибудь крупного ответственного знакомого, а вообще никого не было. Был один беспартийный грузчик, да и тот поденный. А много ли может сделать поденный грузчик?

А пришел Ванюшка Леденцов раз однажды к этому грузчику. Поставил ему пару пива и говорит:

— Вот что, друг! Протекций у меня, сам знаешь, нету, в ячейках я не состою — подсоби по возможности.

Грузчик говорит:

— Навряд ли, милый человек, подсобить смогу. Неможно ведь так, тяп-ляп, без протекции. Сам понимаешь.

Но так складно все случилось. В прошлом годе грузчик мебель перевозил трестовскому бухгалтеру.

— Так и так, — говорит, — уважаемый товарищ бухгалтер. Мебель я вам в свое время перевозил. Ничего такого не сломал, исключая одной ножки у умывальника. Ткните куда ни на есть Ванюшку Леденцова. Протекции у него, у подлеца, нету. Ничего такого нету. В ячейках не состоит. Ну, прямо, парень гибнет без протекции.

Бухгалтер говорит:

— Навряд ли, милый человек, можно без протекции. Прямо, говорит, не могу тебе обещать.

Но такая тут Ванюшке удача подошла. Планета такая ему, подлецу, выпала.

Назавтра, например, приходит бухгалтер к коммерческому директору, подкладывает ему бумажонку для подписи и говорит:

— Знаете, товарищ директор, нынче без протекции прямо гроб.

— А что? — спрашивает директор.

— Да так, — говорит бухгалтер, — есть тут мо-

тается один парнишка без протекции, так не может никуда ткнуться. А и нам-то навряд ли можно его пихнуть.

— Да уж, — говорит директор, — без знакомства как его, дьявола, пихнешь. Худо ему без протекции. А тут директор-распорядитель входит.

— Об чем, — говорит, — речь?

— Да вот, — говорят, — товарищ директор-распорядитель, парнишка тут есть один, Леденцов фамилия, никакой протекции у него, у подлеца, нету, не может никуда ткнуться, все мотается.

Директор-распорядитель говорит:

— Ну, пушай к нам придет. Посмотрим. Нельзя же, граждане, все по знакомству, да по знакомству. Надо же человечка и без протекции уважить.

Так и уважили.

А говорят — всюду кумовство и протекции. Вот бывает же...

РАЧИС

Наднях поперли со службы старого почтового спеца, товарища Крылышкина.

Тридцать лет принимал человек иностранные телеграммки и записывал их в особую книжицу. Тридцать лет служил человек по мере своих сил и возможностей. И вот нате вам! Подкопались под него враги, скovyрнули с насиженного места и вытряхнули со службы за незнание иностранных языков.

Оно, действительно, товарищ Крылышкин этих иностранных языков не знал. Насчет языков, как говорится, ни в зуб толкнуть. Но, между прочим, почтовое дело и иностранцы от этого факта ни капельки не страдали.

А бывало, как придет какая-нибудь телеграммка с иностранным названием, так товарищ Крылышкин, нимало не растерявшись, идет до какого-нибудь столика, до какой-нибудь там девицы, до какой-нибудь Веры Ивановны.

— Вера, — говорит, — Ивановна, да что ж это такое? Совершенно, говорит, слабею глазами. Будьте, говорит, добры — чего тут наляпано?

Ну, она ему говорит: из Лондона, например. Он возьмет и запишет.

Или принесет телеграммку до какого-нибудь интеллигентного работника.

— Ну, — говорит, — и почерки же нынче пошли! Куры, говорит, и те лучше ногами чиркают. Нуте-ка, угадайте, чего тут обозначено? Нипочем не угадаете.

Ну, скажут ему: из какого-нибудь Мюнхена.

— Правильно, — скажет, — а я думал, только спецы угадывать могут.

А другой раз, когда спешка, товарищ Крылышкин прямо к публике обращался:

— Тссс... молодой человек, подойдите-ка до окошечка, поглядите-ка, — чего тут нацарапано? У нас промежду служащих острый спор идет. Одни говорят то, другие это.

Тридцать лет сидел на своем посту герой труда, товарищ Крылышкин, и вот, нате вам, вытряхнули.

А влип Петр Антонович Крылышкин по ничтожному поводу. Можно сказать, несчастный случай произошел. Немного не так записал он название города, откуда пришла телеграмма. А пришла телеграмма из города Парижа. И было на ней обозначено по-французски «Paris». Петр Антонович, от чистого сердца, возьми и подмахни — из города Рачиса.

После-то Петр Антонович говорил:

— Сбился, милый. Главное, название мне показалось чересчур русским — Рачис. И на старуху бывает проруха.

Тем не менее, взяли Петра Антоновича Крылышкина и вытряхнули.

А очень мне его жалко! Ну, куда теперь денется старый специалист по иностранным языкам? Пушай бы досиживал!

БОГАТАЯ ЖИЗНЬ

Кустарь-переплетчик Илья Иваныч Спиридонов выиграл по золотому займу пять тысяч рублей золотом.

Первое время Илья Иваныч ходил совсем ошалевший, разводил руками, тряс головой и приговаривал:

— Ну и ну... Ну и штука.. Да что же это, братцы?..

Потом, освоившись со своим богатством, Илья Иваныч принимался высчитывать, сколько и чего он может купить на эту сумму. Но выходило так много и так здорово, что Спиридонов махал рукой и бросал свои подсчеты.

Ко мне, по старой дружбишке, Илья Иваныч заходил раза два в день и всякий раз со всеми мелочами и новыми подробностями рассказывал, как он узнал о своем выигрыше и какие удивительные переживания были у него в тот счастливый день.

— Ну, что ж теперь делать-то будешь? — спрашивал я. — Чего покупать намерен?

— Да чего-нибудь куплю, — говорил Спиридонов. — Вот дров, конечно, куплю. Кастрюли, конечно, нужны новые для хозяйства... Штаны, конечно...

Илья Иваныч получил, наконец, из банка целую грудку новеньких червонцев и исчез без следа. По крайней мере, он не заходил ко мне более двух месяцев.

Но однажды я встретил Илью Иваныча на улице.

Новый светлокоричневый костюм висел на нем мешком. Розовый галстук лез в лицо и щекотал подбородок. Илья Иваныч ежесекундно одергивал его, сплевывая от злости. Было заметно, что и костюм, и узкий жилет, и пышный галстук мешали человеку и не давали ему спокойно жить.

Сам Илья Иваныч очень похудел и осунулся. И лицо было желтое и нездоровое со многими мелкими морщинками под глазами.

— Ну, как? — спросил я.

— Да что ж, — уныло сказал Спиридонов. — Живем. Дворец, конечно, купил... А так-то, конечно, кушновато.

— С чего бы?

Илья Иваныч махнул рукой и пригласил меня в пивную. Там, одергивая розовый галстук, Илья Иваныч сказал:

— Вот все говорят: буржуи, буржуи... Буржуям, дескать, не житье, а малина. А вот я сам, скажем, буржуем побывал, капиталистом... А чего в этом хорошего?

— А что?

— Да, как же, — сказал Спиридонов. — Ну те-ка, сами считайте. Родственники и свойственники, которые были мои и женины, со всеми расплевался. Поссорился. Это, скажем, раз. В народный суд попал я или нет? Попал. По делу гражданки Быковой. Разбор будет. Это, скажем, два... Жена, супруга то есть, Марья Игнатьевна, насквозь все дни сидит на сундучке и плачет... Это, скажем, три... Налетчики дверь мне в квартире ломали или нет? Ломали. Хотя и не сломали, но есть мне от этого беспокойство? Есть. Я, может, теперь из квартиры не могу уйти. А если в квартире сидишь, опять плохо — дрова во дворе крадут. Куб у меня дров куплен. Следить надо.

Илья Иваныч с отчаянием махнул рукой.

— Чего же ты теперь делать-то будешь? — спросил я.

— А я не знаю, — сказал Илья Иваныч. — Прямо хоть в петлю... Я как в первый день получил деньги, так все и началось, все несчастья... То жил спокойно и безмятежно, то повезло со всех концов.

А я как в квартиру с деньгами вкатился, так сразу вижу, что не ладно что-то. Родственники, конечно, вижу, колбасятся по квартире. То нет никого, а то сидят на всех стульях. Поздравляют.

Я, конечно, дал каждому для потехи по два рубля.

А Мишка, женин братишка, больше колбасится.

— Довольно, — говорит, — стыдно по два рубля отваливать, когда, говорит, капиталец есть.

Ну, слово за слово, руками по столу — драка. Кто кого бьет — неизвестно. А Мишка снял с вешалки мое демисезонное пальтишко и вышел.

Ну, расплевался я с родственниками. Стал так жить.

Купил, конечно, всякого добра. Кастрюли купил, пшена на два года. Стал думать, куда еще деньги присобачить. Смотрю — жена по хозяйству трется, ни отдыху ей, ни сроку.

«Не дело, — думаю. — Хоть и баба она, а все-таки равноправная баба. Стоп, думаю. Возьму, думаю, ей в помощь небольшую девчонку. Пушай девчонка продукты стряпает».

Ну, взял. Девчонка крупу стряпает, а жена, на досуге, сидит целые дни на сундучке и плачет. То работала и веселилась, а то сидит и плачет. Ей, видите ли, на досуге всякие несчастья стали вспоминаться, и как папа ее скончался, и как она замуж за меня вышла... Вообще полезла ей в голову полная ерунда от делать нечего.

Дал я, конечно, супруге денег.

— Сходи, — говорю, — хотя бы в клуб или в театр. Я бы, говорю, и сам с тобой пошел, да мне, видишь ли, за дровами последить надо.

Ну, поплакала баба — пошла в клуб. В лото стала играть. Днем плачет — на досуге, а вечером играет. А я за дровами слежу. А девчонка продукты стряпает.

А после председатель заходит и говорит:

— Ты, — говорит, — что ж это, сукин кот, подростков эксплуатируешь? Почему, говорит, девчонка Быкова не зарегистрирована? Я, говорит, на тебя в народный суд подам, даром что ты деньги выиграл...

Илья Иваныч снова махнул рукой, поправил галстук и замолчал.

— Плохо, — сказал я.

— Еще бы не плохо, — оживился Илья Иваныч. Сижу, скажем, за пивом, а в груди сосет. Может, сию минуту дрова у меня сперли. Или, может, в квартиру лезут... А у меня самовар новый стоит. И сидеть неохота, и идти неохота. Что ж дома? Жена, конечно, может быть, плачет. Девчонка Быкова тоже плачет — боится под суд идти... Мишка, женин брат, наверное, вокруг квартиры колбасится — влезть хочет... Эх, лучше бы мне и денег этих не выигрывать!

Илья Иваныч расплатился за пиво и грустно пожал мне руку. Я было хотел его утешить на прощанье, но он вдруг спросил:

— А чего это самое... Розыгрыш-то новый скоро ли будет? Тысяченку бы мне, этово, неплохо выиграть для ровного счета...

Илья Иваныч одернул свой розовый галстук и, кивнув мне головой, торопливо пошел к дому.

КРЕСТЬЯНСКИЙ САМОРОДОК

Фамилию этого самородка и крестьянского поэта я в точности не запомнил. Кажется — Овчинников. А имя у него было простое — Иван Филиппович.

Приходил Иван Филиппович ко мне три раза в неделю. Потом стал ходить ежедневно.

Дела у него были ко мне несложные. Он тихим, как у таракана, голосом читал свои крестьянские стихи и просил, по возможности скорей, пристроить их по знакомству в какой-нибудь журнал или в газетку.

— Хотя бы одну штукину напечатали, — говорил Иван Филиппович. — Охота посмотреть, как это глядит в печати.

Иногда Иван Филиппович присаживался на кровать и говорил, вздыхая:

— К поэзии, уважаемый товарищ, я имею склон-

ность, прямо скажу, сыздетства. Сыздетства чувствую красоту и природу... Бывало, другие ребята хохочут, или рыбку удють, или в пятачок играют, а я увижу, например, бычка или тучку и переживаю... Очень я эту красоту сильно понимал. Тучку понимал, ветерок, бычка... Это все я, уважаемый товарищ, очень сильно понимал.

Несмотря на понимание бычков и тучек, стишки у Ивана Филипповича были весьма плохие. Надо бы хуже, да не бывает. Единственно подкупало в них полное отсутствие всяких рифм.

— С рифмами я стихотворения не пишу, — признавался Иван Филиппович. — Потому с рифмами с этими одна путаница выходит. И пишется меньше. А плата все равно — один чорт, что с рифмой, что без рифмы.

Первое время я честно ходил по редакциям и предлагал стишки, но после и ходить бросил — не брали...

Иван Филиппович приходил ко мне рано утром, садился на кровать и спрашивал:

— Ну, как? Не берут?

— Не берут, Иван Филиппович.

— Чего же они говорят? Может, они, как бы сказать, в происхождении моем сомневаются? То пущай не сомневаются — чистый крестьянин. Можете редакторам так и сказать: от сохи, дескать. Потому кругом крестьянин. И дед крестьянин, и отец, и которые прадеды были — все насквозь крестьяне. И женились Овчинниковы завсегда на крестьянках. Ей-Богу. Бывало, даже смех вокруг стоит — «Да чего вы, говорят, Овчинниковы, все на крестьянках женитесь? Женитесь, говорят, на других...» — «Нет, говорим, знаем, что делаем». Ей-Богу, уважаемый товарищ. Пущай не сомневаются...

— Да не в том дело, Иван Филиппович. Так не берут. Не созвучно, говорят, эпохе.

— Ну, это уж они тово, — возмущался Иван Фи-

липпович. — Это-то не созвучные стихотворения? Ну, это они объелись... Как это не созвучные, раз я с детства природу чувствовал? И тучку понимал, бычка... За что же, уважаемый товарищ, не берут-то? Пушай скажут. Нельзя же голословно оскорблять личности! Пушай хотя одну штуковину возьмут.

Натиск поэта я стойко выдерживал два месяца.

Два месяца я, нервный и больной человек, отравленный газами в германскую войну, терпел нашествия Ивана Филипповича из уважения к его происхождению. Но через два месяца я стал сдавать.

И, наконец, когда Иван Филиппович принес мне большую поэму или балладу, чорт ее разберет, я окончательно сдал.

— Ага, — сказал я, — поэмку принесли?

— Поэмку принес, — добродушно подтвердил Иван Филиппович, — очень сильная поэмка вышла... Два дня писал... Как прорвало. Удержу нет...

— С чего бы это?

— Да уж не знаю, уважаемый товарищ. Творчество нашло. Пишешь и пишешь. Руку будто кто водит за локоть. Вдохновенье...

— Вдохновенье! — сказал я. — Стишки пишешь... Работать нужно, товарищ, вот что! Дать бы тебе камни на солнцепеке колоть, небось бы...

Иван Филиппович оживился и просиял:

— Дайте, — сказал он. — Если есть, дайте. Прошу и умоляю. Потому до крайности дошло. Второй год без работы пухну. Хотя бы какую работишку найти...

— То есть как? — удивился я. — А поэзия?

— Какая поэзия, — сказал Иван Филиппович тараканьим голосом. — Жрать надо... Поэзия!.. Не только поэзия, я, уважаемый товарищ, чорт знает на что могу пойти... Поэзия...

Иван Филиппович решительным тоном занял у меня трешку и ушел.

А через неделю я устроил Ивана Филипповича

курьером в одну из редакций. Стишки он писать бросил.

Нынче, хотя безработицы нету, ходит ко мне бывший делопроизводитель табачной фабрики — поэт от станка. Он откровенно говорит: «Хочу, знаете, к своему скромному канцелярскому заработку немножко подработать на этой самой поэзии».

РУКА БЛИЖНЕГО

А я, например, товарищи, искренно верю, что через триста лет за руку здороваться не будут. А просто встретятся, скажем, два субъекта:

—А, — скажут, — наше вам с кисточкой!

Но если эпоха слегка углубится в интеллигентскую сторону, то будут говорить что-нибудь такое, мол: «Да здравствует солнце» или «Как делишки?»

Но, может, и ничего говорить не будут. А воспользуются прежними образцами — руку будут поднимать вроде римских патрициев или, недалеко ходить, — наших пионеров.

Но только, одним словом, за руку хвататься не будут. И правда, это скверный, антисанитарный обычай! Прямо грустно смотреть, как это самое докатилось до наших геройских дней.

Между прочим, самый настоящий страх и даже ужас пережил я в связи с этим симпатичным обычаем — трясти руку.

Дозвольте изложить эту правдивую историю старому рубака, участнику гражданской войны, бывшему полковому адъютанту восьмого образцового полка Деревенской Бедноты.

А было это, кажется что, в девятнадцатом году.

И был я тогда ужасно молод, глуп и бесстрашен. И бился на всех фронтах за свои ураганные идеи.

А в тот год случилось нам быть на Нарвском фронте. Здесь мы отступали. И зацепились где-то не-

далеко от Ямбурга. И в городе Ямбурге стоял наш штаб полка.

И вот помню — прелестное утро. Конец февраля. Легкое, так сказать, дуновение весны. Снег рыхлый.

Командир с комиссаром пошли прогуляться. А я сижу в задумчивости у закрытого окна. И вот вижу — какой-то человек, может быть крестьянин, препирается с часовым. Часовой не пропускает его в штаб, а он ломится. Впрочем, довольно деликатно ломится — снимает шапку и кланяется.

Тогда я стучу в окно:

— Пропусти.

Часовой пожимает плечами, но пропускает.

И вот в комнату вошел человек. Был он очень худо одет. И шея его была замотана какой-то грязной обмоткой.

Этот человек вошел в комнату как-то, я бы сказал, униженно. Беспрестанно он кланялся и жался к дверям.

И до того он робко стоял, что просто, знаете, неловко было за человека.

Чего я тогда подумал, — не помню. Наверное, я подумал: «Революция, мол, развивается, происходят разные идеи, опять же равенство... А тут, не угодно ли видеть, один человек марает всю репутацию и общий ход вещей».

Может быть, я еще чего-нибудь подумал героическое, но только я решил дать этому жалкому человеку небольшой образцовый урок равенства.

Я протянул ему руку и сказал:

— Здравствуйте, гражданин. Садитесь. Рассказывайте.

Человек с обмоткой на шее ужасно испугался, дернул плечом, но руки мне не подал.

Я не помню, что я тогда подумал. Наверное, я подумал: «робеет». И снова со всей силой своих идей обрушился на крестьянина.

Я жалостливо взял его за плечи и мягко посадил в кресло. Затем взял его руку и вежливо пожал.

Человек с обмоткой испуганно глядел на меня и тяжело дышал.

— Ну-с, — сказал я, — что вам угодно?

— Так что, — заговорил он торопливо, — фронт, Боже сохрани, продвигается... Или нам податься в глубь страны... Или, может быть, остаться... Но только, — говорит, — просьба выдать пропуск, а то ваши патрули задерживают... А мы — здешние... Колония «Крутые Ручьи»... Прокаженные...

Я неясно помню, что произошло дальше. Я только помню, что прокаженный разворачивал свою обмотку на шее и показывал телефонисту и часовому какие-то свои язвы.

Я долго сидел в кресле и с испугом глядел на свои руки. Потом вышел на улицу и рыхлым снегом тер ладони.

Потом сходил в околоток и замогильным голосом попросил врача дать карболки. И вечером за чаем долго беседовал с врачом о проказе и о том — легко ли заразиться этой болезнью.

Оказывается, заразиться было легко. Больше того. Зараза сказывалась не сразу. Она могла проявиться через два-три года. А то и через пять лет.

В течение нескольких лет, когда я вспоминал об этой истории, мне делалось скучно и худо, и я осматривал свои руки.

Теперь срок прошел. Руки чистые. Жалко такие руки протягивать своим ближним!

КРИЗИС

Давеча, граждане, воз кирпичей по улице провозили. Ей-Богу!

У меня, знаете, аж сердце затрепетало от радости. Потому строимся же, граждане. Кирпич-то ведь

не зря же везут. Домишко, значит, где-нибудь строится. Началось, — тьфу, тьфу, не сглазить!

Лет, может, через двадцать, а то и меньше, у каждого гражданина, небось, по цельной комнате будет. А ежели население шибко не увеличится и, например, всем аборт разрешат — то и по две. А то и по три на рыло. С ванной.

Вот заживем-то когда, граждане! В одной комнате, скажем, спать, в другой гостей принимать, в третьей еще чего-нибудь... Мало ли! Делов-то найдется при такой свободной жизни.

Ну, а пока-что трудновато насчет квадратной площади. Скуповато получается в виду кризиса.

Я вот, братцы, в Москве жил. Недавно только оттуда вернулся. Испытал на себе этот кризис.

Приехал я, знаете, в Москву. Хожу с вещами по улицам. И то есть ни в какую. Не то что остановить-ся негде — вещей положить некуда.

Две недели, знаете, проходил по улицам с вещами — оброс бороденкой и вещи порастерял. Так, знаете, налегке и хожу без вещей. Подыскиваю помещение.

Наконец, в одном доме какой-то человечек по лестнице спускается.

— За тридцать рублей, — говорит, — могу вас устроить в ванной комнате. Квартирка, говорит, барская... Три уборных... Ванна... В ванной, говорит, и живите себе. Окно, говорит, хотя и нету, но зато дверь имеется. И вода под рукой. Хотите, говорит, напустите полную ванну воды и ныряйте себе хоть цельный день.

Я говорю:

— Я, дорогой товарищ, не рыба. Я, говорю, не нуждаюсь нырять. Мне бы, говорю, на суше пожить. Сбавьте, говорю, немного за мокроту.

Он говорит:

— Не могу, товарищ. Рад бы, да не могу. Не от

меня целиком зависит. Квартирка коммунальная. И цена у нас на ванну выработана твердая.

— Ну, что ж, — говорю, — делать? Ладно. Рвите, говорю, с меня тридцать и допустите, говорю, скорее. Три недели, говорю, по панели хожу. Боюсь, говорю, устать.

Ну, ладно. Пустили. Стал жить.

А ванна, действительно, барская. Всюду, куда ни ступишь, — мраморная ванна, колонка и крантики. А сесть, между прочим, негде. Разве что на бортик сядешь, и то вниз валишься, в акурат в мраморную ванну.

Устроил тогда настил из досок, живу.

Через месяц, между прочим, женился.

Такая, знаете, молоденькая, добродушная супруга попалась. Без комнаты.

Я думал, через эту ванну она от меня откажется, и не увижу я семейного счастья и уюта, но она ничего, не отказывается. Только маленько нахмурилась и отвечает:

— Что ж, — говорит, — и в ванне живут добрые люди. А в крайнем, говорит, случае перегородить можно. Тут, говорит, для примера, будуар, а тут столовая...

— Перегородить, гражданка, можно. Да жильцы, говорю, дьяволы, не дозволяют. Они и то говорят: никаких переделок.

Ну, ладно. Живем, как есть.

Меньше чем через год у нас с супругой небольшой ребеночек рождается.

Назвали его Володькой и живем дальше. Тут же в ванне его купаем — и живем.

И даже, знаете, довольно отлично получается. Ребенок, то есть, ежедневно купается и совершенно не простуживается.

Одно только неудобство — по вечерам коммунальные жильцы лезут в ванную мыться,

На это время всей семьей приходится в коридор подаваться.

Я уж и то жильцов просил:

— Граждане, — говорю, — купайтесь по субботам. Нельзя же, говорю, ежедневно купаться. Когда же, говорю, жить-то? Войдите в положение.

А их, подлецов, тридцать два человека. И все ругаются. И, в случае чего, морду грозят набить.

Ну, что ж делать — ничего не поделаешь. Живем, как есть.

Через некоторое время мамаша супруги моей из провинции прибывает в ванну. За колонкой устраивается.

— Я, — говорит, — давно мечтала внука качать. Вы, говорит, не можете мне отказать в этом развлечении.

Я говорю:

— Я и не отказываю. Валяйте, говорю, старушка, качайте. Пес с вами. Можете, говорю, воды в ванную напустить — и ныряйте с внуком.

А жене говорю:

— Может, гражданка, к вам еще родственники приедут, так уж вы говорите сразу, не томите.

Она говорит:

— Разве что братишка на рождественские каникулы...

Не дождавшись братишки, я из Москвы выбыл. Деньги семье высылаю по почте.

ПАССАЖИР

И зачем только позволяют пассажирам на третьих полках в Москву ездить? Ведь это же полки багажные. На багажных полках и пушай багажи ездят, а не публика.

А говорят — культура и просвещение! Иль, скажем, тепловоз теперь к поездам прикрепляют и ездят

после. А между прочим — такая дикая серость в вагонах допущается.

Ведь это же башку отломить можно. Упасть если. Вниз упадешь, не вверх.

А может, мне в Москву и не надо было ехать. Может, это Васька Бочков, сукин сын, втравил меня в поездочку.

— На, — говорит, — дармовую провизионку. Поезжай в Москву, если тебе охота.

— Братишечка, — говорю, — да на что мне в Москву-то ехать? Мне, говорю, просто неохота ехать в Москву. У меня, говорю, в Москве ни кола, ни двора. Мне, говорю, братишечка, даже и остановиться-то негде в Москве этой.

А он говорит:

— Да ты для потехи поезжай. Даром все-таки. Раз, говорит, в жизни счастье привалило, а ты, дура-голова, отпихиваешься.

С субботы на воскресенье я и поехал.

Вхожу в вагон. Присаживаюсь сбоку. Еду. Три версты отъехал — жрать сильно захотелось, а жрать нечего.

«Эх, — думаю, — Васька Бочков, сукин сын, в какую длинную поездку втравил. Лучше бы мне, думаю, сидеть теперь на суше в пивной где-нибудь, чем взад и вперед ездить».

А народу, между тем, многовато поднабралось. Тут у окна, например, дяденька с бородкой. Тут же рядом и старушечку Бог послал. И какая это вредная, ядовитая старушечка попалась — все локтем пихается.

— Расселся, — говорит, — дьявол. Ни охнуть, ни вздохнуть.

Я говорю:

— Вы, старушечка, Божий одуванчик, не пихайтесь. Я, говорю, не своей охотой еду. Меня, говорю, Васька Бочков втравил.

Не сочувствует.

А вечер, между тем, надвигается. Искры с тепловозу дождем сыплются. Красота кругом и природа. А только мне неохота на природу глядеть. Мне бы, думаю, лечь да прикрыться.

А лечь, гляжу, некуда. Все места насквозь заняты. Обращаюсь к пассажирам:

— Граждане, — говорю, — допустите хотя в серединку сесть. Я, говорю, сбоку свалиться могу. Мне в Москву ехать.

— Тут, — отвечают, — кругом все в Москву едут. Поезд не плацкартный все-таки. Сиди, где сидел.

Сижу. Еду. Еще три версты отъехал — нога зачумела. Встал. И гляжу — третья полка виднеется. А на ней корзина едет.

— Граждане, — говорю, — да что ж это? Человек, говорю, скрючившись должен сидеть, и ноги у него чумеют, а тут вещи... Человек, говорю, все-таки важней, чем вещи... Уберите, говорю, корзину, чья она.

Старушечка кряхтя подымается. За корзиной лезет.

— Нет, — говорит, — от вас, дьяволов, покою ни днем ни ночью. На, говорит, идол, полезай на такую верхотуру. Даст, говорит, Бог, башку-то и отломишь на ночь глядя.

Я и полез.

Полез, три версты отъехал и задремал сладко.

Вдруг как пихнет меня в сторону, как кувыркнет вниз. Гляжу — падаю. Спросонья-то, думаю, каково падать.

И как шваркнет меня в бок, об башку, об желудок, об руку... Упал.

И, спасибо, ногой при падении за вторую полку зацепился — удар все-таки мягкий вышел.

Сижу на полу и башку щупаю — тут ли. Тут.

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не сперли бы, думают, ихние вещи в переполохе.

На шум бригада с фонарем сходится.

Обер спрашивает:

— Кто упал?

Я говорю:

— Я упал. С багажной полки. Я, говорю, в Москву еду. Васька Бочков, говорю, сукин сын, втравил меня в поездочку.

Обер говорит:

— У Бологое завсегда пассажиры вниз сваливаются. Дюже резкая остановка.

Я говорю:

— Довольно обидно упавшему человеку про это слышать. Пушай бы, говорю, лучше бригада не допускала на верхних полках ездить. А если лезет пассажир, пушай спихивают его или урезонируют — дескать, не лезьте, гражданин, скатиться можно.

Тут и старушка крик поднимает:

— Корзину, — говорит, — башкой смял.

Я говорю:

— Человек важнее корзинки. Корзинку, говорю, купить можно. Башка же, говорю, бесплатно все-таки.

Покричали, поохали, перевязали мне башку тряпкой и, не останавливая поезда, поехали дальше.

Доехал до Москвы. Вылез. Посидел на вокзале.

Выпил четыре кружки воды из бака. И назад.

А башка до чего ноет, гудит. И мысли все скабрезные идут. Ээ, думаю, попался бы мне сейчас Васька Бочков — я бы ему пересчитал ребра. Втравил, думаю, подлец, в какую поездку.

Доехал до Ленинграда. Вылез. Выпил из бака кружку воды и пошел покачиваясь.

РАБОЧИЙ КОСТЮМ

Вот, граждане, до чего дожили! Рабочий человек и в ресторан не пойдет — не впускают. На рабочий костюм косятся. Грязный, дескать, очень для обстановки.

На этом самом Василий Степаныч Конопатов пострадал. Собственной персоной. Выперли, братцы, его из ресторана. Вот до чего дожили.

Главное, Василий Степаныч, как только в дверь вошел, так сразу почувствовал — будто что-то не то, будто швейцар как-то косо поглядел на его костюмчик. А костюмчик известно какой — рабочий, дрянь костюмчик, вроде прозодежды. Да не в этом сила. Уж очень Василию Степанычу до слез обидным показалось отношение.

Он говорит швейцару:

— Что, говорит, косишься? Костюмчик не по вкусу? К манишечкам, небось, привыкши?

А швейцар Василия Степаныча цоп за локоть и не пушает.

Василий Степаныч в сторону.

— Ах, так! — кричит. — Рабочего человека в ресторан не пушать? Костюм неинтересный?

Тут публика, конечно, собралась. Смотрят. Василий Степаныч кричит:

— Да, — говорит, — действительно, граждане, манишечки у меня нету, и галстуки, говорит, не болтаются... И, может быть, говорит, я шею три месяца не мыл. Но, говорит, я может, на производстве потею. И, может, некогда мне костюмчики взад и вперед переодевать.

Тут пиццерики наседать стали на Василия Степаныча. Под руки выводят. Швейцар, собака, прямо коленкой поднажимает, чтобы в дверях без задержки было.

Василий Степаныч Конопатов прямо в бешено пришел. Прямо рыдает человек.

— Товарищи, — говорит, — молочные братья! Да что ж это происходит в рабоче-крестьянском строительстве? Без манишечки, говорит, человеку пожрать не позволяют...

Тут поднялась катавасия. Потому народ видит

— идеология нарушена. Стали пищевиков оттеснять в сторону. Кто бутылкой махнет, кто стулом...

Хозяин кричит в три горла, — дескать, теперь ведь заведение закрыть могут за допущение разврата.

Тут кто-то с оркестра за милицией сбегал.

Является милиция. Берет родного голубчика, Василия Степаныча Конопатова, и сажает его на извозчика.

Василий Степаныч и тут не утих.

— Братцы, — кричит, да что ж это? Уж, говорит, раз милиция держит руку хозяйчика и за костюм человека выпирает, то, говорит, лучше мне к буржуям в Америку плыть, чем, говорит, такое действие выносить.

И привезли Васю Конопатова в милицию и сунули в каталажку.

Всю ночь родной голубчик, Вася Конопатов, глаз не смыкал. Под утро только всхрапнул часочек. А утром его будят и ведут к начальнику.

Начальник говорит:

— Идите, говорит, товарищ.

Вася говорит:

— Личность оскорбили, а теперь — идите... Рабочий, говорит, костюмчик не по вкусу? Я, говорит, может, сейчас сяду и поеду в Малый Совнарком жаловаться на действия.

Начальник милиции говорит:

— Брось, товарищ, трепаться. Пьяных, говорит, у нас правило — в ресторан не допускать. А ты, говорит, даже на лестнице наблевал.

— Как это? — спрашивает Конопатов. — Значит, меня не за костюм выперли?

Тут будто что осенило Василия Степаныча.

— А я, — говорит, — думал, что за костюмчик. А раз, говорит, по пьяной лавочке, то это я действительно понимаю. Сочувствую этому. Не спорю.

Пожал Вася Конопатов ручку начальнику, извинился за причиненное беспокойство и отбыл.

НЕРВНЫЕ ЛЮДИ

Недавно в нашей коммунальной квартире драка произошла. И не то, что драка, а цельный бой. На углу Глазовой и Боровой.

Дрались, конечно, от чистого сердца. Инвалиду Гаврилову последнюю башку чуть не оттяпали.

Главная причина — народ очень уж нервный. Расстраивается по мелким пустякам. Горячится. И через это дерется грубо, как в тумане.

Оно, конечно, после гражданской войны нервы, говорят, у народа завсегда расшатываются. Может, оно и так, а только у инвалида Гаврилова от этой идеологии башка поскорее не зарастет.

А приходит, например, одна жиличка, Марья Васильевна Щипцова, в девять часов вечера на кухню и разжигает примус. Она всегда, знаете, об это время разжигает примус. Чай пьет и компрессы ставит.

Так приходит она на кухню. Ставит примус перед собой и разжигает. А он, провалился совсем, не разжигается.

Она думает: «С чего бы он, дьявол, не разжигается? Не закоптел ли, провалился совсем!»

И берет она в левую руку ежик и хочет чистить.

Хочет она чистить, берет в левую руку ежик, а другая жиличка, Дарья Петровна Кобылина, чей ежик, посмотрела, чего взято, и отвечает:

— Ежик-то, уважаемая Марья Васильевна, промежу прочим, назад положьте.

Щипцова, конечно, вспыхнула от этих слов и отвечает:

— Пожалуйста, отвечает, подавитесь, Дарья Петровна, своим ежиком. Мне, говорит, до вашего ежика дотронуться противно, не то что его в руку взять.

Тут, конечно, вспыхнула от этих слов Дарья Петровна Кобылина. Стали они между собой разговаривать. Шум у них поднялся, грохот, треск.

Муж, Иван Степаныч Кобылин, чей ежик, на шум

является. Здоровый такой мужчина, пузатый даже, но, в свою очередь, нервный.

Так является этот Иван Степаныч и говорит:

— Я, говорит, ну, ровно слон работаю за тридцать два рубля с копейками в кооперации, улыбаюсь, говорит, покупателям и колбасу им отвешиваю, и из этого, говорит, на трудовые гроши ежики себе покупаю, и нипочем, то есть, не разрешу постороннему чужому персоналу этими ежиками воспользоваться.

Тут снова шум и дискуссия поднялась вокруг ежика. Все жильцы, конечно, поднаперли на кухню. Хлопочут. Инвалид Гаврилыч тоже является.

— Что это, — говорит, — за шум, а драки нету?

Тут сразу после этих слов и подтвердилась драка. Началось.

А кухонька, знаете, узкая. Драться неспособно. Тесно. Кругом кастрюли и примуса. А тут двенадцать человек вперлось. Хочешь, например, одного по харе смазать — троих кроешь. И, конечное дело, на все натыкаешься, падаешь. Не то что, знаете, безногому инвалиду — с тремя ногами устоять на полу нет никакой возможности.

А инвалид, чертова перечница, несмотря на это, в самую гущу вперся. Иван Степаныч, чей ежик, кричит ему:

— Уходи, Гаврилыч, от греха. Гляди, последнюю ногу оборвут.

Гаврилыч говорит:

— Пушай, говорит, нога пропадает! А только, говорит, не могу я теперича уйти. Мне, говорит, сейчас всю амбицию в кровь разбили.

А ему, действительно, в эту минуту кто-то по морде съездил. Ну, и не уходит, накидывается. Тут в это время кто-то и ударяет инвалида кастрюлькой по кумполу.

Инвалид — брык на пол и лежит. Скучает.

Тут какой-то паразит за милицией кинулся.

Является мильтон. Кричит:

— Запасайтесь, дьяволы, гробами, сейчас стрелять буду!

Только после этих роковых слов народ маленько очухался. Бросился по своим комнатам.

«Вот-те, — думают — клюква, с чего ж это мы, уважаемые граждане, разодрались?»

Бросился народ по своим комнатам, один только инвалид Гаврилыч не бросился. Лежит, знаете, на полу скучный. И из башки кровь каплет.

Через две недели после этого факта суд состоялся.

А нарсудья тоже нервный такой мужчина попался — приписал ижицу.

ЧЕТЫРЕ ДНЯ

Германская война и разные там окопчики, — все это теперь, граждане, на нас сказывается. Все мы через это нездоровые и больные.

У кого нервы расшатаны, у кого брюхо как-нибудь сводит, у кого сердце не так аритмично бьется, как это хотелось бы. Все это результаты.

На свое здоровье, конечно, пожаловаться я не могу. Здоров. И жру ничего. И сон невредный. Однако каждую минуту остерегаюсь, что эти окопчики и на мне скажутся.

Тоже вот не очень давно встал я с постели. И надеваю, как сейчас помню, сапог. А супруга мне говорит:

— Что-то, говорит, ты, Ваня, сегодня с лица будто такой серый. Нездоровый, говорит, такой у тебя цвет бордо.

Поглядел я в зеркало. Действительно, — цвет отчаянный бордо, и морда кирпича просит.

Вот-те, думаю, клюква! Сказываются окопчики. Может, у меня сердце или там еще какой-нибудь орган не так хорошо бьется. Оттого, может, я и серею.

Пошупал пульс — тихо, но работает. Однако какие-то боли изнутри пошли. И ноет что-то.

Грустный такой я оделся и, не покушав чаю, вышел на работу.

Вышел на работу. Думаю — ежели какой чорт скажет мне насчет моего вида или цвета лица — схожу обязательно к доктору. Мало ли — живет, живет человек и, вдруг, хлоп — помирает. Сколько угодно.

Без пяти одиннадцать, как сейчас помню, подходит до меня старший мастер Житков и говорит:

— Иван Федорович, голубчик, да что с тобой? Вид, говорит, у тебя сегодня чересчур отчаянный. Нездоровый, говорит, у тебя, землистый вид.

Эти слова будто мне по сердцу полоснули.

Пошатнулось, думаю, мать честная, здоровье. Допрыгался, думаю.

И снова стало ныть у меня внутри, мутить. Еле, знаете, до дому дополз. Хотел даже скорую помощь вызвать.

Дополз до дому. Свалился на постель. Лежу. Жена ревет, горюет. Соседи приходят, охают.

— Ну, — говорят, — и видик у тебя, Иван Федорович. Ничего не скажешь. Не личность, а форменное бордо.

Эти слова еще больше меня растрavляют. Лежу плоской и спать не могу.

Утром встаю разбитый, как сукин сын. И велю поскорее врача пригласить.

Приходит коммунальный врач и говорит: симуляция.

Чуть я за эти самые слова врача не побил.

— Я, — говорю, — покажу, какая симуляция. Я, говорю, сейчас, может быть, разорюсь на трояк и к самому профессору сяду и поеду.

Стал я собираться к профессору. Надел чистое белье. Стал бриться. Провел бритвой по щеке, мыло стер — гляжу — щека белая, здоровая, и румянец на ей играет.

Стал поскорей физию тряпочкой тереть — гляжу, начисто сходит серый цвет бордо.

Жена приходит, говорит:

— Да ты, небось, Вася, неделю рожу не полоскал?

Я говорю:

— Неделю, этого быть не может — тоже хватила, дура какая. Но, говорю, дня четыре, это, пожалуй, действительно верно.

А главное, на кухне у нас холодно и неудобно. Прямо мыться вот как неохота. А когда стали охать да ахать — тут уж и совсем, знаете ли, не до мытья. Только бы до кровати доползти.

Сию минуту помылся я, побрился, галстук прицепил и пошел свеженький, как огурчик, к своему приятелю.

И боли сразу будто ослабли. И сердце ничего себе бьется.

БОЧКА

Вот, братцы, и весна наступила. А там, глядишь, и лето скоро. А хорошо, товарищи, летом! Солнце пекет. Жарынь. А ты ходишь таким чортом без валенок, в одних портках и дышишь. Тут же где-нибудь птичечки порхают. Букашки куда-нибудь стремятся. Червячки чирикают. Хорошо, братцы, летом.

Хорошо, конечно, летом, да не совсем.

Года два назад работали мы по кооперации. Такая струя в нашей жизни подошла. Пришлось у прилавка стоять. В двадцать втором году.

Так для кооперации, товарищи, нет, знаете, ничего гаже, когда жарынь. Продукт-то ведь портится. Тухнет продукт, ай нет? Конечное дело, тухнет. А ежели он тухнет, есть от этого убытки кооперации? Есть.

А тут, может, наряду с этим лозунг брошен — режим экономии. Ну, как это совместить, дозвоьте вас спросить?

Нельзя же, граждане, с таким полным эгоизмом подходить к явлениям природы и радоваться, и плясать, когда наступает тепло. Надо же, граждане, и об общественной пользе позаботиться.

А помню, у нас в кооперативе испортилась капуста, стухла, извините за такое некрасивое сравнение.

И мало того, что от этого прямой у нас убыток кооперации, так тут еще накладной расход. Увозить, оказывается, надо этот спорченный продукт. У тебя же, значит, испортилось, ты же на это еще и денежки свои докладывай. Вот обидно!

А бочка у нас стухла громадная. Этакая бочища, пудов, может, на восемь. А ежели на килограммы, так и счету нет. Вот какая бочища!

И такой от нее скучный душок пошел — гроб.

Заведующий наш, Иван Федорович, от этого духа прямо смысл жизни потерял. Ходит и нюхает.

— Кажись, — говорит, — братцы, разит?

— Не токмо, — говорим, — Иван Федорович, разит, а прямо пахнет.

И запах, действительно, надо сказать, острый был. Прохожий человек по нашей стороне ходить даже остерегался. Потому с ног валило.

И надо бы эту бочечку поскорее увезти куда-нибудь к чортовой бабушке, да заведующий, Иван Федорович, мнетя. Все-таки денег ему жалко. Подводу надо нанимать, пятое, десятое. И везти к чорту на рога за весь город. Все-таки заведующий и говорит:

— Хоть, говорит, и жалко, братцы, денег, и процент, говорит, у нас от этого ослабнет, а придется увезти этот боченок. Дух уж очень тяжелый.

А был у нас такой приказчик, Васька Веревкин. Так он и говорит:

— А на кой пес, товарищи, боченок этот вывозить и тем самым народные соки-денежки тратить и проценты себе слабить? Нехай выкатим этот боченок во двор. И подождем, что к утру будет.

Выперли мы бочечку во двор. На утро являемся — бочка чистая стоит. Сперли за ночь капусту.

Очень мы, работники кооперации, от этого факта повеселели. Работа прямо в руках кипит — такой подъем наблюдается. Заведующий наш, голубчик Иван Федорович, ходит и ручки свои трет.

— Славно, — говорит, — товарищи, пушай теперь хоть весь товар тухнет, завсегда так делать будем.

Вскоре стухла еще у нас одна бочечка. И кадушка с огурцами.

Обрадовались мы. Выкатили добро на двор и калиточку приоткрыли малость. Пушай, дескать, повидней с улицы. И валяйте, граждане!

Только на этот раз мы проштрафились. Не только у нас капусту уволокли, а и бочку, черти, укатали. И кадушечку слямзили.

Ну, а в следующие разы спорченный продукт мы на рогожку вываливали. Так с рогожей и выносили.

ПРИСКОРБНЫЙ СЛУЧАЙ

Как хотите, товарищи, а Николаю Ивановичу я очень сочувствую.

Пострадал этот милый человек на все шесть гривен и ничего такого особенно выдающегося за эти деньги не видел.

Только что характер у него оказался мягкий и уступчивый. Другой бы на его месте все кино, может, разбросал и публику из залы выкурил. Потому шесть гривен ежедневно на полу не валяются. Понимать надо.

А в субботу голубчик наш, Николай Иванович, немножко, конечно, выпил. После полочки.

А был этот человек в высшей степени сознательный. Другой бы выпивший человек начал бузить и расстраиваться, а Николай Иванович чинно и благо-

родно прошелся по проспекту. Спел что-то там такое. Вдруг глядит — перед ним кино.

«Дай, — думает, — все равно — зайду в кино. Человек, думает, я культурный, полуинтеллигентный, чего мне зря по панелям в пьяном виде трепаться и прохожих задевать? Дай, думает, я ленту в пьяном виде посмотрю. Никогда ничего подобного не видел».

Купил он за свои пречистые билет. И сел в переднем ряду. Сел в переднем ряду и чинно-благородно смотрит.

Только, может, посмотрел он на одну надпись, вдруг в Ригу поехал. Потому очень тепло в зале, публика дышит, и темнота на психику благоприятно действует.

Поехал в Ригу наш Николай Иванович, все чинно-благородно — никого не трогает, экран руками не хватает, лампочек не выкручивает, а сидит себе и тихонько в Ригу едет.

Вдруг стала трезвая публика выражать недовольствие по поводу, значит, Риги.

— Могли бы, — говорят, — товарищ, для этой цели в фойе пройти, только, говорят, смотрящих драму отвлекаете на другие идеи.

Николай Иванович — человек культурный, сознательный — не стал, конечно, зря спорить и горячиться. А встал себе и пошел тихонько.

«Чего, — думает, — с трезвыми связываться? От них скандалу не оберешься».

Пошел он к выходу. Обращается в кассу.

— Только что, — говорит, — дамочка, куплен у вас билет, прошу вернуть назад деньги. Потому как не могу картину глядеть — меня в темноте развозит.

Кассирша говорит:

— Деньги мы назад выдавать не можем, ежели вас развозит — идите тихонько спать.

Поднялся тут шум и перебранка. Другой бы на месте Николая Ивановича за водосья бы выволок кассиршу из кассы и вернул бы свои пречистые. А Ни-

колай Иванович, человек тихий и культурный, только, может, раз и пихнул кассиршу.

— Ты, — говорит, — пойми, зараза, не смотрел я еще на твою ленту. Отдай, говорят, мои пречистые.

И все так чинно-благородно, без скандалу, — просит вообще вернуть свои же деньги.

Тут заведующий прибегает.

— Мы, — говорит, — деньги назад не вертаем — раз, говорит, взято, будьте любезны досмотреть ленту.

Другой бы на месте Николая Ивановича плюнул бы в зава и пошел бы досматривать за свои пречистые. А Николаю Ивановичу очень грустно стало насчет денег, начал он горячо объясняться и обратно в Ригу поехал.

Тут, конечно, схватили Николая Ивановича, как собаку, поволокли в милицию. До утра продержали. А утром взяли с него трешку штрафа и выпустили.

Очень мне теперь жалко Николая Ивановича. Такой, знаете, прискорбный случай: человек, можно сказать, и ленты не глядел, только что за билет подержался — и, пожалуйста, гоните за это мелкое удовольствие три шесть гривен. И за что, спрашивается, три шесть гривен?

К И Н О - Д Р А М А

Театр я не хаю. Но кино все-таки лучше. Оно выгодней театра. Раздеваться, например, не надо — гривенники от этого все время экономишь. Бриться опять же не обязательно — в потемках личности не видать.

В кино только в самую залу входить худо. Трудновато входить. Свободно могут затискать до смерти.

А так все остальное очень благородно. Легко смотрится.

В именины моей супруги поперли мы с ней кинодраму глядеть. Купили билеты. Начали ждать.

А народу многонько скопившись. И все у дверей мнутся.

Вдруг открывается дверь, и барышня говорит: «валяйте».

В первую минуту началась небольшая давка. Поэтому каждому охота поинтересней место занять.

Ринулся народ к дверям. А в дверях образовавшись пробка.

Задние поднажимают, а передние никуда не могут.

А меня вдруг стиснуло, как севрюгу, и понесло вправо.

Батюшки, думаю, дверь бы не расшибить.

— Граждане, — кричу, — легче за ради Бога. Дверь, говорю, человеком расколоть можно.

А тут такая струя образовавшись — прут без удержу.

А сзади еще военный на меня некультурно нажимает. Прямо, сукин сын, сверлит в спину.

Я этого чорта военного ногой лягаю.

— Оставьте, — говорю, — гражданин, свои арапские штучки.

Вдруг меня чуть приподняло и об дверь мордой.

Так, думаю, двери уж начали публикой крошить.

Хотел я от этих дверей отойти. Начал башкой дорогу пробивать. Не пушают. А тут, вижу, штанами за дверную ручку зацепился. Карманом.

— Граждане, — кричу, — да полегче же, караул! Человека за ручку зацепило.

Мне кричат:

— Отцепляйтесь, товарищ! Задние тоже хотят.

А как отцеплять, ежели волокет без удержу и вообще рукой не двинуть.

— Да стойте же, — кричу, — черти! Погодите штаны сымать-то. Дозвольте же прежде человеку с ручки сняться. Начисто материал рвется.

Разве слушают? Прут...

— Барышня, — говорю, — отвернитесь хоть выго за ради Бога. Совершенно то есть из штанов вынимают против воли.

А барышня сама стоит посиневши и хрипит уже. И вообще смотреть не интересуется.

Вдруг, спасибо, опять легче понесло.

Либо с ручки, думаю, снялся, либо из штанов вынули.

А тут сразу пошире проход обнаружился.

Вздыхнул я свободнее. Огляделся. Штаны, гляжу, тут. А одна штанина ручкой на две половинки разодрана и при ходьбе полощется парусом.

Вон, думаю, как зрителей раздевают.

Пошел в таком виде супругу искать. Гляжу, забили ее в самый то есть оркестр. Сидит там и выходить пугается.

Тут, спасибо, свет погасили. Начали ленту пущать.

А какая это была лента — прямо затрудняюсь сказать. Я все время штаны зашпиливал.

Одна булавка, спасибо, у супруги моей нашлась.

Да еще какая-то добродушная дама четыре булавки со своего белья сняла. Еще веревочку я на полу нашел. Полсеанса искал.

Подвязал, подшпилил, а тут, спасибо, и драма кончилась. Пошли домой.

Т Е Л Е Ф О Н

Я, граждане, надо сказать, недавно телефон себе поставил. Потому по нынешним торопливым временам без телефона, как без рук.

Мало ли — поговорить по телефону или, например, позвонить куда-нибудь.

Оно, конечно, звонить некуда — это действительно верно. Но, с другой стороны, рассуждая материально, сейчас не девятнадцатый год. Это понимать надо.

Это в девятнадцатом году не то что без телефона обходились — не жравши сидели, и то ничего.

А, скажем, теперь — за пять целковых аппараты тебе вешают. Господи твоя воля!

Хочешь — говори по нем, не хочешь — как хочешь. Никто на тебя не в обиде. Только плати денежки.

Оно, конечно, соседи с непривычки обижались.

— Может, — говорят, — оно и ночью звонить будет, так уж это вы — ах, оставьте.

Но только оно не то что ночью, а и днем, знаете, не звонит. Оно, конечно, всем окружающим я дал номера с просьбой позвонить. Но, между прочим, все оказались беспартийные товарищи и к телефону мало прикасаются.

Однако все-таки за аппарат денежки не даром плачены. Пришлось-таки недавно позвонить по очень важному и слишком серьезному делу.

Воскресенье было.

И сию я, знаете, у стены. Смотрю, как это оно оригинально висит. Вдруг как оно зазвонит. То не звонило, не звонило, а тут как прорвет. Я, действительно, даже испугался.

Господи, думаю, звону-то сколько за те же деньги!

Снимаю осторожно трубку за свои любезные.

— Алло, — говорю, — откуда это мне звонят?

— Это, — говорят, — звонят вам по телефону.

— А что, — говорю, — такое стряслось и кто, извиняюсь, будет у аппарата?

— Это, — отвечают, — у аппарата будет одно знакомое вам лицо. Приходите, — говорят, — по срочному делу в пивную на угол Посадской.

Видали, думаю, какие удобства! А не будь аппарата — что бы это лицо делало? Пришлось бы этому лицу на трамвае трястись.

— Алло, — говорю, — а что это за такое лицо и какое дело?

Однако в аппарате молчат и на это не отвечают. В пивной, думаю, конечно, выяснится.

Поскорее сию минуту одеваюсь. Бегу вниз.

Прибегаю в пивную.

Народу, даром что днем, много. — И все незнакомые.

— Граждане, — говорю, — кто меня сейчас звонил и по какому, будьте любезны, делу?

Однако посетители молчат и не отвечают.

Ах, какая, думаю, досада. То звонили, звонили, а то нет никого.

Сажусь к столику. Прошу подать пару.

Посижу, думаю, может, и придет кто-нибудь. Странные, думаю, какие шутки.

Выпиваю пару, закусываю и иду домой. Иду домой.

А дома то есть полный кавардак. Обокраден. Нету синего костюма и двух простынь.

Подхожу к аппарату. Звоню срочно.

— Алло, — говорю, — барышня, дайте в ударном порядке уголовный розыск. Обокраден, говорю, вчистую. Специально отозвали в пивную для этой цели. По телефону.

Барышня говорит:

— Будьте любезны — занято.

Звоню позже. Барышня говорит:

— Кнопка не работает, будьте любезны.

Одеваюсь. Бегу, конечно, вниз. И на трамвае в уголовный розыск.

Подаю заявление.

Там говорят:

— Расследуем.

Я говорю:

— Расследуйте и позвоните.

Они говорят:

— Нам, говорят, звонить как раз некогда. Мы, говорят, и без звонков расследуем, уважаемый товарищ.

Чем все это кончится — не знаю. Больше никто мне не звонил. А аппарат висит.

РЕЖИМ ЭКОНОМИИ

Как в других городах проходит режим экономии, я, товарищи, не знаю.

А вот в городе Борисове этот режим очень выгодно обернулся.

За одну короткую зиму в одном только нашем учреждении семь сажен еловых дров сэкономлено. Худо ли!

Десять лет такой экономии — это десять кубов все-таки. А за сто лет очень свободно три барки сэкономить можно. Через тысячу лет вообще дровами торговать можно будет.

И об чем только народ раньше думал? Отчего такой выгодный режим раньше в обиход не вводил? Вот обидно-то! А начался у нас этот самый режим еще с осени.

Заведующий у нас — свой парень. Про все с нами советуется и говорит как с родными. Папироски даже, сукин сын, стреляет.

Так приходит как-то этот заведующий и объявляет:

— Ну вот, ребяташки, началось... Подтянитесь! Экономьте что-нибудь там такое...

А как и чего экономить — неизвестно. Стали мы разговаривать, чего экономить. Бухгалтеру, что ли, чорту седому, не заплатить, или еще как.

Заведующий говорит:

— Бухгалтеру, ребяташки, не заплатишь, так он, чорт седой, живо в охрану труда смотается. Этого нельзя будет. Надо еще что-нибудь придумать.

Тут, спасибо, наша уборщица Нюша женский вопрос на рассмотрение вносит.

— Раз, — говорит, — такое международное положение и вообще труба, то, говорит, можно, для примеру, уборную не отапливать. Чего там зря поленья перегонять? Не в гостиной!

— Верно, — говорим, — нехай уборная в холо-

де постоит. Сажень семь сэкономим, может быть. А что прохладно будет, так это отнюдь не худо. По морозцу-то публика задерживаться не будет. От этого даже производительность может актуально повыситься.

Так и сделали. Бросили топить — стали экономии подсчитывать.

Действительно, семь сажень сэкономили. Стали восьмую экономить, да тут весна ударила.

Вот обидно-то!

Если б, думаем, не чортова весна, еще бы полкуба сэкономили.

Подкузьмила, одним словом, нас весна. Ну, да и семь сажень, спасибо, на полу не валяются.

А что труба там какая-то от мороза оказалась лопнувши, так эта труба, выяснилось, еще при царском режиме была поставлена. Такие трубы вообще с корнем выдергивать надо.

Да оно до осени очень свободно без трубы обойдемся. А осенью какую-нибудь дешевенькую поставим. Не в гостиной!

М О Н Т Е Р

Я, братцы мои, зря спорить не буду, кто важнее в театре — актер, режиссер или, может быть, театральный плотник. Факты покажут. Факты всегда сами за себя говорят.

Дело это произошло в Саратове или в Симбирске, одним словом, где-то недалеко от Туркестана. В городском театре. Играли в этом городском театре оперу. Кроме выдающейся игры артистов, был в этом театре, между прочим, монтер — Иван Кузьмич Мякишев.

На общей группе, когда весь театр в двадцать третьем году снимали на карточку, монтера этого пихнули куда-то сбоку — мол, технический персонал. А в центр, на стул со спинкой, посадили тенора.

Монтер Иван Кузьмич Мякишев ничего на это хамство не сказал, но затаил некоторую грубость.

А тут такое подошло. Сегодня, для примера, играют «Руслан и Людмила». Музыка Глинки. Дирижер — маэстро Кацман. А без четверти минут восемь являются до этого монтера две знакомые ему барышни. Или он их раньше пригласил, или они сами приперлись — неизвестно. Так являются эти две знакомые барышни, отчаянно флиртуют и вообще просят их посадить в общую залу — посмотреть на спектакль. Монтер говорит:

— Да ради Бога, медам. Сейчас я вам пару билетов сварганю. Посидите тут, у будки.

И сам, конечно, к управляющему.

Управляющий говорит:

— Сегодня вроде как выходной день. Народу пропасть. Каждый стул на учете. Не могу.

Монтер говорит:

— Ах так, говорит. Ну, так я играть отказываюсь. Отказываюсь, одним словом, освещать ваше производство. Играйте без меня. Посмотрим тогда, кто из нас важней и кого сбоку сымать, а кого в центр сажать.

И сам обратно в будку. Выключил по всему театру свет к чортовой бабушке, замкнул на все ключи будку и сидит — отчаянно флиртует.

Тут произошла, конечно, форменная обструкция. Управляющий бегаёт. Публика орёт. Кассир визжит, пугается, как бы у него деньги в потемках не уперли. А бродяга, главный оперный тенор, привыкший за всегда сыматься в центре, заявляется до дирекции и говорит своим тенором:

— Я в темноте петь тенором отказываюсь. Раз, говорит, темно, — я ухожу. Мне, говорит, голос себе дороже. Пушай сукин сын монтер поет.

Монтер говорит:

— Пушай не поет. Наплевать ему в морду. Раз он, сволочь такая, в центре сымается, то и пушай од-

ной рукой поет, другой свет зажигает. Дермо какое нашлось! Думает — тенор, так ему и свети все время. Теноров нынче нету!

Тут, конечно, монтер схлестнулся с тенором.

Вдруг управляющий является, говорит:

— Где эти чортовы две девицы? Через них наблюдается полная гибель. Сейчас я их куда-нибудь посажу, корова их забодай!

Монтер говорит:

— Вот они, чортовы девицы! Только не через их гибель, а гибель через меня. Сейчас, говорит, я свет дам. Мне энергии принципиально не жалко.

Дал он сию минуту свет.

— Начинайте, — говорит.

Сажают тогда его девиц на выдающиеся места и начинают спектакль. Теперь и разбирайтесь сами, кто важнее в этом сложном театральном механизме.

Ч А С Ы

Главное — Василий Конопатов с барышней ехал. Поехал бы он один — все обошлось бы славным образом. А тут чорт дернул Васю с барышней на трамвае выехать.

И, главное, как сложилось все дефективно! Например, Вася и привычки никогда не имел по трамваям ездить. Всегда пехом перся. То есть случая не было, чтоб парень в трамвай влез и добровольно гривенник кондуктору отдал.

А тут нате вам — манеры показал. Мол, неужели ли вам, дорогая барышня, в трамвае покататься? К чему, дескать, туфлями лужи черпать?

Скажи на милость, какие великосветские манеры!

Так вот, влез Вася Конопатов в трамвай и даму за собой впер. И мало того, что впер, а еще и заплатил за нее без особого скандалу.

Ну, заплатил — и заплатил. Ничего в этом нет особенного. Стой, подлая душа, на месте, не зада-

вайся. Так нет, начал, дьявол, для фасона за кожаные штуки хвататься. За верхние держатели. Ну, и дохватался.

Были у парня небольшие часы — сперли.

И только сейчас тут были. А тут вдруг хватился, хотел перед дамой пыль пустить — часов и нету. Заголосил, конечно.

— Да что ж это, — говорит. — Раз в жизни в трамвай вопрешься, и то трогают.

Тут в трамвае началась, конечно, неразбериха. Остановили вагон. Вася, конечно, сразу на даму свою подумал, не она ли вообще увела часы. Дама — в слезы.

— Я, — говорит, — привычки не имею за часы хвататься.

Тут публика стала наседать.

— Это, говорит, нахальство на барышню тень наводить.

Барышня отвечает сквозь слезы:

— Василий, — говорит, — Митрофанович, против вас я ничего не имею. Несчастье, говорит, каждого человека пригинает. Но, говорит, пойдите, прошу вас, в угрозыск. Пуцай там зафиксируют, что часы — пропажа. И, может, они, слава Богу, найдутся.

Василий Митрофанович отвечает:

— Угрозыск тут не при чем. А что на вас я подумал — будьте любезны, извините. Несчастье, это действительно, человека пригинает.

Тут публика стала выражаться. Мол, как это можно? Если часы — пропажа, то обязательно люди в угрозыск ходят и заявляют.

Василий Митрофанович говорит:

— Да мне, говорит, граждане, прямо некогда и, одним словом, неохота в угрозыск идти. Особых дел, говорит, у меня там нету. Это, говорит, необязательно идти.

Публика говорит:

— Обязательно. Как это можно, когда часы — пропажа. Идемте, мы свидетели.

Василий Митрофанович отвечает:

— Это насилие над личностью.

Однако все-таки пойти пришлось.

И что бы вы, милые мои, думали? Зашел парень в угрозыск, а оттуда не вышел. Так-таки вот и не вышел. Застрял там. Главное — пришел парень со свидетелями, объясняет. Ему говорят:

— Ладно, найдем. Заполните эту анкету. И объясните, какие часы.

Стал парень объяснять и заполнять, и запутался.

Стали его спрашивать, где он в девятнадцатом году был. Велели показать большой палец. Ну, и конченное дело. Приказали остаться и не удаляться. А барышню отпустили.

И подумать, граждане, что творится? Человек в угрозыск не моги зайти. Заметают.

ПРЕЛЕСТИ КУЛЬТУРЫ

Всегда я симпатизировал центральным убеждениям.

Даже вот когда в эпоху военного коммунизма нэп вводили, я не протестовал. Нэп — так нэп. Вам видней.

Но, между прочим, при введении нэпа сердце у меня отчаянно сжималось. Я как бы предчувствовал некоторые резкие перемены.

И, действительно, при военном коммунизме куда как было свободно в отношении культуры и цивилизации. Скажем, в театре можно было свободно даже не раздеваться — сиди, в чем пришел. Это было достижение.

А вопрос культуры — это собачий вопрос. Хотя бы насчет того же раздеванья в театре. Конечно, слов нету, без пальто публика выгодней отличается — красивей и элегантней. Но что хорошо в буржуазных странах, то у нас иногда выходит боком.

Товарищ Локтев и его дама Ньюша Кошелькова на днях встретили меня на улице. Я гулял или, может быть, шел горло промочить — не помню.

Встречают и уговаривают:

— Горло, — говорят, — Василий Митрофанович, от вас не убежит. Горло завсегда при вас, завсегда его прополоскать успеете. Идемте лучше сегодня в театр. Спектакль — «Грелка».

И, одним словом, уговорили меня пойти в театр — провести культурно вечер.

Пришли мы, конечно, в театр. Взяли, конечно, билеты. Поднялись по лестнице. Вдруг назад кличут. Велят раздеваться.

— Пальта, — говорят, — сымайте.

Локтев, конечно, с дамой моментально скинули пальта. А я, конечно, стою в раздумьи. Пальто у меня было в тот вечер прямо на ночную рубашку надето. Пиджака не было. И чувствую, братцы мои, сымать как-то неловко. «Прямо, — думаю, — срамота может сейчас произойти». Главное — рубаха нельзя сказать, что грязная. Рубаха не особенно грязная. Но, конечно, грубая, ночная. Шинельная пуговица, конечно, на вороте пришита крупная. «Срамота, — думаю, — с такой крупной пуговицей в фойе идти». Я говорю своим:

— Прямо, — говорю, — товарищи, не знаю, чего и делать. Я сегодня одет неважно. Неловко как-то мне пальто сымать. Все-таки подтяжки там и сорочка опять же грубая.

Товарищ Локтев говорит:

— Ну, покажись.

Растегнулся я. Показываюсь.

— Да, — говорит, — действительно, видик...

Дама тоже, конечно, посмотрела и говорит:

— Я, — говорит, — лучше домой пойду. Я, говорит, не могу, чтоб кавалеры в одних рубахах рядом со мной ходили. Вы бы, говорит, еще подштанники

поверх штанов пристегнули. Довольно, говорит, вам неловко в таком отвлеченном виде в театры ходить.

Я говорю:

— Я не знал, что я в театры иду, — дура какая. Я, может, пиджаки редко надеваю. Может, я их берегу, — что тогда?

Стали мы думать, чего делать. Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Я, — говорит, — Василий Митрофанович, сейчас тебе свою жилетку дам. Надевай мою жилетку и ходи в ней, будто тебе все время в пиджаке жарко.

Расстегнул он свой пиджак, стал щупать и шарить внутри себя.

— Ой, — говорит, — мать честная, я, говорит, сам сегодня не при жилетке. Я, говорит, тебе лучше сейчас галстук дам, все-таки приличней. Привяжи на шею и ходи, будто тебе все время жарко.

Дама говорит:

— Лучше, — говорит, — я, ей-Богу, домой пойду. Мне, говорит, дома как-то спокойней. А то, говорит, один кавалер чуть не в подштанниках, а у другого галстук заместо пиджака. Пушай, говорит, Василий Митрофанович в пальто попросит пойти.

Просим и умоляем, показываем союзные книжки — не пушают.

— Это, — говорят, — не девятнадцатый год в пальто сидеть.

— Ну, — говорю, — ничего не пропишешь. Кажись, братцы, надо домой ползти.

Но как подумаю, что деньги заплачены, не могу идти — ноги не идут к выходу.

Локтев, собака, говорит:

— Вот чего. Ты, — говорит, — подтяжки отстегни, — пушай их дама понесет заместо сумочки. А сам валяй, как есть: будто у тебя это летняя рубашка «апаш», и тебе, одним словом, в ней все время жарко.

Дама говорит:

— Я подтяжки не понесу, как хотите. Я, — говорит, — не для того в театры хожу, чтоб мужские предметы в руках носить. Пушай Василий Митрофанович сам несет или в карман себе сунет.

Раздеваю пальто. Стою в рубашке, как сукин сын.

А холод довольно собачий. Дрожу и прямо зубами лязгаю. А кругом публика смотрит.

Дама отвечает:

— Скорей вы, подлец этакий, отстегивайте помочи. Народ же кругом ходит. Ой, ей-Богу, лучше я домой сейчас пойду.

А мне скоро тоже не отстегнуть. Мне холодно. У меня, может, пальцы не слушаются — сразу отстегивать. Я упражнения руками делаю.

После приводим себя в порядок и садимся на места.

Первый акт проходит хорошо. Только что холодно. Я весь акт гимнастикой занимался.

Вдруг в антракте задние соседи скандал поднимают. Зовут администрацию. Объясняют насчет меня.

— Дамам, — говорят, — противно на ночные рубашки глядеть. Это, говорят, их шокирует. Кроме того, говорят, он все время вертится, как сукин сын.

Я говорю:

— Я верчусь от холода. Посидите-ка в одной рубахе. А я, говорю, братцы, и сам не рад. Что же сделать?

Волокут меня, конечно, в контору. Записывают все, как есть.

После отпускают.

— А теперь, — говорят, — придется трешку по суду отдать.

Вот гадость-то! Прямо не угадаешь, откуда неприятности...

МЕЛКОТА

Хочется сегодня размахнуться на что-нибудь героическое. На какой-нибудь этакий грандиозный, обширный характер со многими передовыми взглядами и настроениями. А то все мелочь да мелкота — прямо противно.

Или, может, не поперло нам в жизни, только так и не удалось нам встретиться близко с каким-нибудь таким героическим товарищем. Все больше настоящая мелкота под ногами путалась.

А скучаю я, братцы, по настоящему герою! Вот бы мне встретить такого!

Одного я, впрочем, встретил недавно. И даже нацелился на него — хотел героем в повесть включить. А он, собака, в самую последнюю минуту до того свернул с героической линии, что и писать о нем в пышном стиле прямо нет охоты.

Конечно, обстоятельства сложились неаккуратно. Главная причина — заболел человек.

А заболел он девятнадцатого декабря прошлого года. Простудился, видите ли. Сначала стал он легонько кашлять и сморкаться. Потом прошиб его цыганский пот. Потом началось трясение всего организма. И, наконец, слег человек прямо, скажем, без задних ног.

На второй день, как слег, закрылось у него почти все дыхание — ни охнуть, ни чихнуть. Начался отчаянный процесс в легких и замирание всего организма. И вообще приближение смерти.

Не желая расстраивать читателей, скажем заранее, что в дальнейшем человек все-таки поправился, не помер и вообще на-днях приступил к исполнению служебных обязанностей. Но смерть близко к нему подходила.

Другой, менее передовой товарищ, очень бы от этого прискорбного факта расстроился. Но товарищ Барбарисов был настоящий герой. Бился на всех фронтах. И завсегда при мирном строительстве всех

срамил за мелкие мещанские интересы и за невзнос квартирной платы.

Товарищ Барбарисов не испугался какой-то мелко-мещанской смерти. Он только рукой махнул на своих рыдающих родственников — дескать, отойдите, черти, без вас тошно. Настроились тут со своими харями. Но в самую последнюю минуту все-таки подкачал. Свернул со своей передовой программы.

А начал он произносить какие-то слова.

Обступили, конечно, родственники опять. Стали спрашивать, дескать, про что лепечете.

Барбарисов говорит:

— Венков не надо. Пушай лучше крышу у нас кровельным железом кроют. И, говорит, пушай попов на пушечный выстрел ко гробу не подпускают. Только, говорит, в крематорий меня везть не надо. Умоляю вас. Пожалуйста. Похороните обыкновенно.

Родственники начали успокаивать, дескать, об чем речь, — конечное дело, какой там крематорий.

Горько на это усмехнулся Барбарисов.

— Нет, — говорит, — боюсь, что в этом смысле товарищ Галкин может подкузьмить. Я ему в дружеской беседе сам про это не раз говорил и настаивал. Как бы теперь он, подлая личность, на этом не настоял. Не допускайте сжигать. Я, говорит, не привык еще к этому.

После этих слов начался кризис, легкий сон и освобождение организма от всякой дряни. И вообще стал поправляться человек.

Через неделю, когда Барбарисов, розовенький и свеженький, сидел в своей постели на подушке, зашел к нему с визитом товарищ Галкин. Очень о многом они говорили. Барбарисов очень извинялся за крематорий.

— Прямо, — говорит, — не знаю, только в последнюю минуту неохота было ехать в крематорий, оробел. В другой раз буду помирать — ~~не затрудняйтесь~~ выбором — везите меня в крематорий.

Галкин говорит:

— Ежели лет десять протянете еще — повезем. А пока, говорит, об чем речь. Пока, говорит, еще у нас в Питере не возят. В проекте все.

Тут Барбарисов хлопнул себя по лбу.

— Действительно, — говорит, — как это у меня из башки выпало. Зря оробел. Извиняюсь.

Через пять дней Барбарисов поправился и про этот случай больше не вспоминал.

БАРЕТКИ

Трофимыч с нашей коммунальной квартиры пошел своей дочке полсапожки купить. Дочка у него, Нюшка, небольшой такой дефективный переросток. Семи лет.

Так вот, пошел Трофимыч с этой своей Нюшкой сапоги приобретать. Потому как дело к осени, а сапожонок, конечно, нету.

Вот Трофимович поскрипел зубами — мол, такой расход, — взял, например, свою Нюшку за лапку и пошел ей покупку производить.

Зашел он со своим ребенком в один коммерческий магазин. Велел показать товар. Велел примерить. Все вполне хорошо — и товар хорош, и мерка акуратная. Одно, знаете, никак не годится — цена не годится. Цена, прямо скажем, двенадцать целковых!

А Трофимыч, конечно, хотел подешевле купить эти детские недомерки — рубля за полтора, два.

Пошел тогда Трофимыч, несмотря на отчаянный Нюшкин рев, в другой магазин. В другом магазине спросили червонец. В третьем магазине опять червонец. Одним словом, куда ни придут — та же история: и нога по сапогу, и товар годится, а с ценой форменные ножницы — расхождение и вообще Нюшкин рев.

В пятом магазине Нюшка примерила сапоги, — хороши. Спросили цену: девять целковых и никакой скидки. Начал Трофимыч упрашивать, чтоб ему скостили рубля три-четыре, а в это время Нюшка в новых

сапожках подошла к двери и, не будь дура, вышла на улицу.

Кинулся было Трофимыч за этим своим ребенком, но его заведующий удержал:

— Прежде, — говорит, — заплатить надо, товарищ, а потом бежать по своим делам.

Начал Трофимыч упрашивать, чтоб обождали.

— Сейчас, — говорит, — ребенок, может быть, явится. Может, ребенок пошел промяться в этих новых сапожках.

Заведующий говорит:

— Это меня не касается. Я товара не вижу. Платите за товар деньгами. Или с магазина не выходите.

Трофимыч отвечает:

— Я лучше с магазина не выйду. Я обожду, когда ребенок явится.

Но только Нюшка не вернулась.

Она вышла из магазина в новеньких баретках и, не будь дура, домой пошла.

«А то, — думает, — папаня, как пить дать, обратно не купит по причине все той же дороговизны».

Так и не вернулась.

Нечего делать — заплатил Трофимыч, сколько спросили, поскрипел зубами и пошел домой.

А Нюшка была уже дома и щеголяла в своих новых баретках.

Хотя Трофимыч ее слегка потрепал, но, между прочим, баретки так при ней и остались.

Теперь, после этого факта, может быть, вы заметили: в государственных магазинах начали отпускать на примерку по одному левому сапогу.

А правый сапог теперь прячется куда-нибудь или сам заведующий зажимает его в коленях и не допускает трогать.

А детишки, конечно, довольно самостоятельные пошли.

Поколение, я говорю, довольно свободное.

МЕЩАНЕ

Этот случай окончательно может доканать человека.

Василия Тарасовича Растопыркина — Васю Растопыркина, этого чистого пролетария, беспартийного чорт знает с какого года, — выкинули с трамвайной площадки.

Больше того — мордой его трахнули об трамвайную медную полустойку. Он был ухвативши за нее двумя руками и головой и долго не отцеплялся. А его милиция и обер-стрелочник стягивали.

Стягивали его вниз по просьбе мещански настроенных пассажиров.

Конечно, слов нет, одет был Василий Тарасович не во фраке. Ему, знаете, нету времени фраки и манжетки на грудь надевать. Он, может, в пять часов шабашит и сразу домой прет. Он, может, маляр. Он, может, действительно, как собака грязный едет. Может, краски и другие предметы ему льются на костюм во время профессии. Может, он от этого морально устает и ходить пешком ему трудно.

И не может он, в виду скромной зарплаты, автомобиль себе нанимать для разъездов и приездов. Ему автомобилю — не по карману. Ему бы на трамвае проехаться — и то хлеб. Ой, до чего дожили, до чего докатились!

А пошабашил Василий Тарасович в пять часов. В пять часов он пошабашил, взял, конечно, на плечи стремянку и ведрышко с остатней краской и пошел себе к дому. Пошел себе к дому и думает:

«Цельный день, думает, лазию по стремянкам и разноцветную краску на себя напускаю и не могу иттить пешком. Дай, думает, сяду на трамвай, как уставший пролетарий».

Тут, конечно, останавливается перед ним трамвай № 6. Василий Тарасович просит, конечно, одного пассажира подержать в руке ведрышко с остатней краской, а сам, конечно, становится на площадку стремянку.

Конечно, слов нет, стремянка не была сплошной чистоты — не блестела. И в ведрышко — раз в нем краска — нельзя свои пальцы окунать. И которая дама сунула туда руку — сама, дьявол ее задави, виновата. Не суй рук в чужие предметы!

Но это все так, с этим мы не спорим: может, Василий Тарасович, действительно верно, не по закону поступил, что со стремянкой ехал. Речь — не об этом. Речь — о костюме. Нэпманы, сидящие в трамвае, решительно взбунтовались как раз именно насчет костюма.

— То есть, — говорят, — не можно к нему прикоснуться, совершенно то есть, отпечатки бывают.

Василий Тарасович резонно отвечает:

— Очень, — говорит, — то есть, понятно, — раз масляная краска на олифе, то отпечатки завсегда случаются. Было бы, говорит, смертельно удивительно, если б без отпечатков.

Тут, конечно, одна нэпманша из кондукторов трезвонит, конечно, во все звонки, и вагон останавливается. Останавливает вагон и хамским голосом просит сойти Василия Тарасовича. Василий Тарасович говорит:

— Трамвай для публики или публика для трамвая, — это же, говорит, понимать надо. А я, говорит, может, в пять часов шабашу. Может, я маляр?

Тут, конечно, происходит печальная сцена с милицией и обер-стрелочником. И кустаря-пролетария Василия Тарасовича Растопыркина сымают, как сукина сына, с трамвайной площадки, мордой задевают об полустойку и выживают. Со стремянкой уж и в вагоне проехаться нельзя! До чего докатились!

ЛИМОНАД

Я, конечно, человек непьющий. Ежели другой раз и выпью, то мало — так приличия ради или славную компанию поддержать.

Больше как две бутылки мне враз нипочем не употребить. Здоровье не позволяет. Один раз, помню, в день своего бывшего ангела я четверть выкушал.

Но это было в молодые, крепкие годы, когда сердце отчаянно в груди билось и в голове мелькали разные мысли.

А теперь старею.

Знакомый ветеринарный фельдшер, товарищ Птицын, давеча осматривал меня и даже, знаете, испугался. Задрожал.

— У вас, — говорит, — полная девальвация. Где, говорит, печень, где мочевой пузырь, распознать, говорит, нет никакой возможности. Очень, говорит, вы сносились.

Хотел я этого фельдшера побить, но после остыл к нему.

«Дай, — думаю, — сперва к хорошему врачу схожу, удостоверюсь».

Врач никакой девальвации не нашел.

— Органы, — говорит, — у вас в довольно аккуратном виде. И пузырь, говорит, вполне порядочный и не протекает. Что касается сердца, очень еще отличное, даже, говорит, шире, чем надо. Но, говорит, пить вы перестаньте, иначе очень просто смерть может приключиться.

А помирать, конечно, мне неохота. Я жить люблю. Я человек еще молодой. Мне только-только в начале нэпа сорок три года стукнуло. Можно сказать, в полном расцвете сил и здоровья. И сердце в груди широкое. И пузырь, главное, не протекает. С таким пузырем жить да радоваться. «Надо, — думаю, — в самом деле пить бросить». Взял и бросил.

Не пью и не пью. Час не пью, два не пью. В пять часов вечера пошел, конечно, обедать в столовую.

Покушал суп. Начал вареное мясо кушать — охота выпить. «Заместо, — думаю, — острых напитков попрошу чего-нибудь помягче — нарзану или же лимонаду». Зову.

— Эй, — говорю, — который тут мне порции подавал, неси мне, куриная твоя голова, лимонаду.

Приносят, конечно, мне лимонаду на интеллигентном подносе. В графине. Наливаю в стопку.

Пью я эту стопку, чувствую: кажись, водка. Налил еще. Ей-Богу водка. Что за чорт! Налил остатки — самая настоящая водка.

— Неси, — кричу, — еще!

«Вот, — думаю, — поперло-то».

Приносит еще.

Попробовал еще. Никакого сомнения не осталось — самая натуральная.

После, когда деньги заплатил, замечание все-таки сделал:

— Я, — говорю, — лимонаду просил, а ты чего носишь, куриная твоя голова?

Тот говорит:

— Так что это у нас завсегда лимонадом зовется. Вполне законное слово. Еще с прежних времен... А натурального лимонаду, извиняюсь, не держим — потребителя нету.

— Неси — говорю, — еще последнюю.

Так и не бросил. А желание было горячее. Только вот обстоятельства помешали. Как говорится — жизнь диктует свои законы. Надо подчиняться.

ГРИМАСЫ НЭПА

На праздники я, обыкновенно, в Лугу езжу. Там, говорят, воздух очень превосходный — сосновый и еловый. Против бронхита хорошо помогает. Врачи так говорят. Я не знаю. Не думаю.

Главное, что в Лугу ездить — сущее наказание. Народу больно много. Пихаются. На колени садятся без разрешения. Корзинки и тючки на головы ставят. Не только бронхит — скарлатину получить можно.

Прошлый раз по пути из Луги на какой-то станции, несмотря на форменное переполнение, в вагон еще какой-то тип влазит. Не старый еще. С усиками.

Довольно франтовато одетый. В русских сапогах. И с ним — старуха. Такая обыкновенная старуха с двумя тюками и с корзинкой.

Собственно, сначала эта старуха в вагон влезла со своим багажом. А за ней уж этот тип со своими усиками.

Старуха, значит, впереди идет — пробивается сквозь публику, а он за ней небрежной походкой. И все командует ей:

— Неси, — кричит, — ровней, корзинку-то. Просыплешь чего-то там такое... Становь теперича ее под лавку! Засупонивай, я говорю, ее под лавку. Ах, чортова голова! Узел-то не клади гражданам на колени. Клади временно на головы... Обожди, сейчас я подниму его на верхнюю полку. Фу-ты, я говорю, дьявол какой!

Только видят пассажиры — действия гражданина ненастоящие — форменное нарушение уголовного кодекса труда. Одним словом, пассажиры видят: нарушена норма в отношении старослужащего человека.

Некоторые начали вслух выражать свое неудовольствие, дескать, не пора ли одернуть, если он зарвался и кричит и командует одной прислугой. Где ж это возможно одной старухе узлы на головы ложить? Это же форменная гримаса нэпа.

— Это, — говорят, — эксплуатация трудящихся! Нельзя же так кричать и командовать на глазах у публики. Это унижает ейное старушечье достоинство.

Вдруг один, наиболее из всех нервный гражданин, подходит до этого, который с усиками, и берет его прямо за грудки.

— Это, — говорит, — невозможно допускать такие действия. Это издевательство над несвободной личностью. Это форменная гримаса нэпа.

То есть, когда этого нового взяли за грудки, он побледнел и откинулся. И только потом начал возражать.

— Позвольте, — говорит, — может быть ника-

кой гримасы нету? Может быть, это я с моей мамашей в город Ленинград еду? Довольно, говорит, оскорбительно слушать подобные слова в нарушении кодекса.

Тут среди публики некоторое замешательство произошло. Некоторый конфуз: дескать, вмешались не в свои семейные дела. Прямо неловко. Оказывается, это всего-навсего мамаша.

Наиболее нервный человек не сразу, конечно, сдался. — А пес, — говорит, — ее разберет! На ней афиши не наклеено — мамаша или папаша. Тогда объявлять надо при входе.

Но после сел у своего окна и говорит:

— Извиняюсь все-таки. Мы не знали, что это ваша преподобная мамаша. Мы подумали как раз, знаете, другое. Мол, это, подумали, домашняя прислуга. Тогда извиняемся.

До самого Ленинграда который с усиками оскорблялся задним числом за нанесенные ему обиды.

— Это — говорит, — проехаться не дадут — сразу берут за грудки. Затрагивают, у которых, может быть, билеты есть? Положите, мамаша, ногу на узел — унести могут... Какие такие нашлись особенные... А, можете быть, я сам с семнадцатого года живу в Ленинграде?

Другие пассажиры сидели молча и избегали взгляда этого оскорбленного человека.

ПУШКИН

Девяносто лет назад убили на дуэли Александра Сергеевича Пушкина.

Вся Россия, можно сказать, горюет и слезы льет в эту прискорбную годовщину. Но, между прочим, больше всех горюет и убивается — Иван Федорович Головкин.

Этот милый человек при одном только слове — Пушкин — ужасно вздрагивает и глядит в пространство.

И как же ему, братцы, не глядеть в пространство, если обнаружилась такая, можно сказать, печальная, теневая сторона жизни гениального поэта.

Мы, конечно, начнем нашу повесть издаleка, чтобы не оскорбить память знаменитого гения. Начнем, примерно, с 1921 года. Тогда будет все наглядней.

В 1921 году, в декабре месяце приехал из армии в родной свой городок Иван Федорович Головкин.

А тут как раз нэп начался. Оживление. Булки стали выпекать. Торговлишка завязалась. Жизнь, одним словом, ключом забила.

А наш приятель Головкин, несмотря на это, ходит по городу безуспешно. Помещения не имеет. И спит по субботам у знакомых. На собачьей подстилке. В передней комнате.

Ну и, конечно, через это настроен скептически.

— Нэп, — говорит, — это форменная утопия. Полгода, говорит, не могу помещения отыскать.

В 1923 году Головкин все-таки словчился и нашел помещение. Или он въездные заплатил, или вообще фортуна к нему обернулась, но только нашел.

Комната маленькая. Два окна. Пол, конечно. Потолок. Это все есть. Ничего против не скажешь.

А очень любовно устроился там Головкин. На шпалеры разорился — оклеил. Гвозди, куда надо, приколотил, чтоб уютней выглядело. И живет, как падишах.

А время, конечно, идет. Вот уже восемьдесят седьмая годовщина ударяет со дня смерти нашего дорогого поэта Пушкина. Потом восемьдесят восьмая.

На восемьдесят девятой годовщине разговоры, конечно, поднялись в квартире. Пушкин, дескать. Писатель. Жил, дескать, в свое время в этом помещении. Осчастливил, дескать, жилплощадь своим нестерпимым гением. Не худо бы в силу этого какую ни на есть досточку приклеить с полным обозначением в надзидание потомству.

Иван Федорович Головкин тоже сдуру участие принял в этой дощечке, на свою голову.

Только, вдруг, в квартире ропот происходит. Дамы мечутся. Кастрюльки чистят. Углы подметают.

Комиссия приходит из пяти человек. Помещение осматривает.

Увидела комиссия разную домашнюю требуху в квартире — кастрюли и пиджаки — и горько так вздохнула.

— Тут, — говорит, — когда-то Александр Сергеевич Пушкин жил. А тут наряду с этим форменное безобразие наблюдается. Вон метла стоит. Вон брюки висят — подтяжки по стенам развеваются. Ведь это же прямо оскорбительно для памяти гения!

Ну, одним словом, через три недели выселили всех жильцов из этого помещения.

Головкин, это верно, очень ругался. Крыл. Выражал свое особое мнение открыто, не боясь никаких последствий.

— Что ж, — говорит, — это такое? Ну — пушай он гений. Ну — пушай стишки сочинил: «Птичка прыгает на ветке». Но зачем же средних людей выселять? Это же утопия, если всех жильцов выселять.

Хотел Головкин в Пушкинский заповедник поехать — ругаться, но после занялся подыскиванием помещения.

Он и сейчас еще ищет. Осунулся, поседел. Требовательный такой стал. Все расспрашивает, кто да кто раньше жил в этом помещении. И не жил ли здесь, оборони Создатель, Демьян Бедный или Мейерхольд. А если жил, то он, Головкин, и даром не возьмет такого помещения.

А это верно: как это некоторые крупные гении легкомысленно поступают — мотаются с квартиры на квартиру, переезжают. А после такие печальные результаты.

Да вот недалеко ходить, в наше время наш знаковый поэт, Митя Цензор, Дмитрий Михайлович. Да

он за последний год не менее семи комнат сменил. Все, знаете, никак не может ужиться. За неплатеж.

А ведь, может, он, чорт его знает, гений!

Ох, и обложат же его лет через пятьдесят за эти семь комнат.

Единственно, может быть, кризис несколько ослабнет к тому времени. Одна надежда.

ЦАРСКИЕ САПОГИ

В этом году в Зимнем дворце разное царское барахлишко продавалось. Музейный фонд, что ли, этим торговал. Я не знаю, кто.

Я с Катериной Федоровной Коленкоровой ходил туда. Ей самовар нужен был на десять персон.

Самовара, между прочим, там не оказалось. Или царь пил из чайника, или ему носили из кухни в каком-нибудь граненом стакане, я не знаю, — только самовары в продажу не поступили.

Зато других вещей было множество. И вещи, действительно, все очень великолепные. Разные царские портьеры, бордюры, разные рюмочки, плевательницы, сорочки и другие разные царские штучки. Ну, прямо глаза разбегаются, не знаешь, за что схватиться и какую вещь приобрести.

Тогда Катерина Федоровна на свободные деньги купила, заместо самовара, четыре сорочки из тончайшего мадепалама. Очень роскошные. Царские.

Я же вдруг увидел в описи сапоги. Русское голенище, восемнадцать целковых.

Я сразу спросил у артельщика, который торговал: — Какие это сапоги, любезный приятель?

Он говорит:

— Обыкновенно какие — царские.

— А какая, — говорю, — мне гарантия, что это царские? Может, говорю, какой-нибудь капельдинер трепал, а вы их заместо царских выдаете. Это, говорю, нехорошо, неприлично.

— Тут кругом все имущество царской фамилии. Мы, — говорит, — дермом не торгуем.

— Кажи, — говорю, — товар.

Поглядел я сапоги. Очень мне ужасно понравились, и размер подходящий. И какие они не широкие, узенькие, опрятные. Тут носок, тут каблук. Ну, прямо цельные сапоги. И вообще мало ношенные. Может, только три дня царь их носил. Подметка еще не облупилась.

— Господи, — говорю, — Катерина Федоровна, да разве, говорю, раньше можно было мечтать насчет царской обуви? Или, например, в царских сапогах по улице пройти? Господи, говорю, как история меняется, Катерина Федоровна!

Восемнадцать целковых отдал за них, не горюя. И, конечно, за царские сапоги эта цена очень и очень небольшая.

Выложил восемнадцать целковых и понес эти царские сапоги домой.

Действительно, обувать их было трудно. Не говоря про портянку, на простой носок и то еле лезут. «Все-таки, — думаю, — разношу».

Три дня разношивал. На четвертый день подметка отлипла. И не то, чтобы одна подметка, а так полностью вместе с каблуком весь нижний этаж отвалился. Даже нога наружу вышла.

А случилось это поганое дело на улице, на бульваре Союзов, не доходя Дворца труда. Так и попер домой на Васильевский остров без подметки.

Главное, денег было очень жалко. Все-таки восемнадцать целковых. И пожаловаться некуда. Ну, будь эти сапоги фабрики «Скороход» или какой-нибудь другой фабрики — другой вопрос. Можно было бы дело возбудить или красного директора с места погнать за такую техническую слабость. А тут, извольте, царские сапоги.

Конечно, на другой день сходил в Музейный фонд. А там уже и торговать кончили — закрыто.

Хотел в Эрмитаж смотаться или еще куда-нибудь, но после рукой махнул. Главное, Катерина Федоровна меня остановила.

— Это, — говорит, — не только царский, любой королевский сапог может за столько лет прогнить. Все-таки, как хотите, со дня революции десять лет прошло. Нитки, конечно, сопреть могли за это время. Это понимать надо.

А, действительно, братцы мои, десять лет про-текло. Шутка ли! Товар и тот распадаться начал.

И хотя Катерина Федоровна меня успокоила, но когда, между прочим, после первой стирки у нее эти самые царские дамские сорочки полезли в разные стороны, то она очень ужасно крыла царский режим. А вообще, конечно, десять лет прошло — смешно обижаться. Время-то как быстро идет, братцы мои!

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ

У моих знакомых, у Гусевых, немец из Берлина жил.

Комнату снимал. Почти два месяца прожил.

И не какой-нибудь там чухонец или другое национальное меньшинство, а настоящий германец из Берлина. По-русски — ни в зуб ногой. С хозяевами изъяснялся руками и головой.

Одевался, конечно, этот немец ослепительно. Белье чистое. Штаны ровные. Ничего лишнего. Ну, прямо гравюра.

А когда уезжал этот немец, то много чего оставил хозяевам. Цельный ворох заграничного добра. Разные пузырьки, воротнички, коробочки. Кроме того почти две пары кальсон. И свитер почти не рваный. А мелочей разных и не счесть — и для мужского, и для дамского обихода.

Все это в кучу было свалено в углу, у ручной-ника.

Хозяйка, мадам Гусева, дама честная, ничего про нее такого не скажешь, намекнула немчику перед са-

мым отъездом, — дескать, битте-дритте, не впопыхах ли изволили заграничную продукцию оставить.

Немчик головой лягнул, дескать, битте-дрите, пожалуйста, заберите, об чем разговор, жалко, что ли.

Тут хозяева налегли на оставленную продукцию. Сам Гусев даже подробный список вещам составил. И уж, конечно дело, сразу свитер на себя напялил и кальсоны взял.

После две недели ходил с кальсонами в руках. Всем показывал, невозможно как гордился и хвалил немецкое качество.

А вещи, действительно, были хотя и ношенные и, вообще говоря, чуть держались, однако, слов нет — настоящий заграничный товар, глядеть приятно.

Между прочим, среди оставленных вещей была такая фляга не фляга, но вообще такая довольно плоская банка с порошком. Порошок вообще розовый, мелкий. И душок довольно симпатичный — не то лориган, не то роза.

После первых дней радости и ликования начали Гусевы гадать, что за порошок. Нюхали и зубами жевали, и на огонь сыпали, но угадать не могли.

Носили по всему дому, показывали вузовцам и разной интеллигенции, но толку не добились.

Многие говорили, будто это пудра, а некоторые заявляли, будто это мелкий немецкий тальк для подсыпки только что родившихся ребят.

Гусев говорит:

— Мелкий немецкий тальк мне ни к чему. Только что родившихся ребят у меня нету. Пущай это будет пудра. Пущай я буду после каждого бритья морду себе подсыпать. Надо же культурно пожить хоть раз в жизни.

Начал он бриться и пудриться. После каждого бритья ходит розовый, цветущий и прямо благоухает.

Кругом, конечно, зависть и вопросы.

Тут Гусев, действительно, поддержал немецкое

производство. Много и горячо нахваливал немецкий товар.

— Сколько, — говорит, — лет уродовал свою личность разными русскими отбросами и вот, наконец, дождался. И когда, говорит, эта пудра кончится, то прямо и не знаю, как быть. Придется выписать еще баночку. Очень уж чудный товар.

Через месяц, когда пудра подходила к концу, пришел в гости к Гусеву один знакомый интеллигент. За вечерним чаем он и прочитал банку. Оказалось, это было немецкое средство против разведения блох.

Конечно, другой менее жизнерадостный человек был бы сильно пришиблен этим обстоятельством. И даже, может быть, у менее жизнерадостного человека рожа покрылась бы прыщами и угрями от излишней мнительности. Но не таков был Гусев.

— Вот это я понимаю, — сказал он. — Вот это качество продукции! Вот это достижение. Это, действительно, не переплунешь товар. Хочешь морду пудри, хочешь блох посыпай! На все годится. А у нас что?

Тут Гусев, похвалив еще раз немецкое производство, сказал:

— То-то я и гляжу — что такое? Целый месяц пудрюсь и хоть бы одна блоха меня укусила. Жену, мадам Гусеву, кусают. Сыновья тоже цельные дни отчаянно чешутся. Собака Нинка тоже скребется. А я, знаете, хожу и хоть бы что. Даром, что насекомые, но чувствуют, шельмы, настоящую продукцию. Вот это, действительно...

Сейчас порошок у Гусева кончился. Должно быть, снова его кусают блохи.

КЛАД

Тут одна ленинградская дамочка вкапалась в довольно поганую историю.

Главное нехорошо, что она за собой еще одного человека потянула. Одного водника.

Только его обвинять не надо. Он определенно вкапался благодаря мелкобуржуазному окружению. Его, может, подбили на это дело. Эта самая дама, может, сама за ним сбегала. А он, может быть, шел и упирался.

А сидит раз однажды эта самая дама у себя на квартире. Она жила в бывшей генеральской квартире. Бывшего генерала Лебедева. Она там комнату имела. На солнечной стороне. Бельэтаж. Парадный вход. И все на свете. Даже ей было поставлено мягкое кресло при разделе бывшего имущества генерала Лебедева.

Так живет она в этой квартире. И все у ней есть. И не капает в нее, и не дует. А ей все мало и мало. Она еще, видите, клад нашла.

А сидит она раз однажды в этой своей квартире. В этом самом кресле. Думает, наверное, какие-нибудь свои жульнические мысли и вдруг видит — перед ней стена. Другими словами — обыкновенная стенка в бывшей квартире генерала Лебедева.

И глядит она на эту стенку своими погаными глазами. И видит, будто в стене какая-то неловкость. Или, я так скажу, выпуклость какая-то четырехугольная.

Или она сразу подумала, что это денежный ящик. Или ей мелькнула идея, будто генерал замазал в стенку свои разные ценности, перед тем как драпануть за границу. Одним словом, неизвестно, что она подумала.

Только вскочила она на свои жидкие ноги. Начала руками хвататься за стенку. Начала обои отрывать.

Только видит — ей не можно своими дамскими руками капитальную стенку разобрать. И тогда она бежит крупной рысью до своего знакомого Головкина.

Бежит она, эта типичная выразительница мелкобуржуазной стихии, до своего знакомого, пролетария Григория Ефимовича Головкина. Говорит ему разные мелкобуржуазные слова. И тянет его до своей квартиры.

Приходят они в ее квартиру и производят осмотр. Товарищ Головкин говорит:

— Вот чего. Без сомнения чего-то там есть. Я еще не знаю, чего, но чего-то одним словом есть. Тем более, кирпич лежит не так, как ему следует лежать.

И тогда они оба два кидаются на эту стенку. Срезают обои. Колупают известку. Дорываются до народных кирпичей. И вынимают эти кирпичи.

Вынимают они по кусочкам кирпичи и видят: ничего нету. То есть, абсолютно, совершенно ничего нету, кроме небольшого оседания капитальной стенки. И через это кирпичи лежат несколько боком и навевают разные мысли и грезы. Тогда они начали поскорей обратно кирпичи всовывать. А только это у них очень безобразно получилось. Так что это дело невозможно было скрыть. Тем более ихний сосед услышал суетню и также, не будь дурак, начал рыться в стене со стороны своей комнаты. И тоже дорылся до самых кирпичей.

Так что произошла форменная огласка делу.

А очень их троих крыл уполномоченный. И даже, как будто бы, теперь хочет дело передать в суд за жульнические мысли и за порчу государственного имущества.

Так что, собственно говоря, это дело еще не закончилось.

И хотя дело не закончилось, тем не менее наша молодая критика может предъявить свои права.

Позвольте, скажут, а чего, собственно, автор хотел сказать этим художественным произведением. Чего он хотел выяснить? И откуда, скажут, видать развитие наших командных высот? Или, может, это

чистое искусство для искусства. И, может быть, — вообще автор нытик и сукин сын?

Дозвольте тогда объясниться.

Тут просто-напросто рассказан небольшой фактик с нашей ленинградской жизни.

И, в крайнем случае, под этот фактик можно подвести базу. Дескать, мелкобуржуазная стихия зашевелилась. Копает стену. Ищет клад. И тем самым хочет поправить свои пошатнувшиеся делишки.

Теперь все получилось в порядке дня.

Извините за беспокойство.

ВЕСЕЛЕНЬКАЯ ИСТОРИЯ

Лиговский поезд никогда шибко не идет. Или там путь не позволяет, или семафоров очень много наставлено — сверх нормы — я этого не знаю. Но только ход поезда удивительно медленный. Прямо даже оскорбительно ехать. И, конечно, через такой ход в вагоне бывает ужасно как скучно. Прямо скажем — делать нечего.

На публику глядеть, конечно, мало интереса. Обидятся еще. «Чего, — скажут, — смотришь? Не узнал?»

А своим делом заняться тоже не всегда можно. Читать, например, нельзя. Лампочки особо мутные. И ужасно высоко присобачены. Прямо, как угольки сверху светят, а радости никакой.

Хотя насчет лампочки это зря сказано. Эта веселенькая история произошла днем. Но оно и днем скучно ехать.

Так вот, в субботу днем в вагоне для некурящих пассажиров ехала Феклуша. Фекла Тимофеевна Разуваева. Она из Лигова до Ленинграда ехала за товаром. Она яблоками и семечками торгует в Лигове на вокзале.

Так вот, эта самая Феклуша поехала себе на Щукин. На Щукин рынок. Ей охота была приобрести ящик браку антоновки.

И присела она с Лигова у окошка и поехала. Едет

и едет. А напротив ее едет Федоров, Никита. Рядом, конечно, Анна Ивановна Блюдечкина — совслужащая из Соцстраха. Все лиговские. На работу едут.

А вскоре после Лигова еще новый пассажир входит. Военный. Он до этого времени на площадке ехал. И садится он наискось от Феклы Тимофеевны Разуваевой. Садится он наискось и едет.

Фекла Тимофеевна, пушай ей будет полное здоровье и благополучие, развязала косынку и, развязавши, стала свободно размышлять на торговые темы, мол, сколько в ящике может быть антоновки и так далее.

После поглядела она в окно. А после, от полной скуки, стала Фекла Тимофеевна подремывать. Что ли, в теплом вагоне ее, милую, развезло или скучные картины природы на нее подействовали, но только начала Фекла Тимофеевна клевать носом. И зевнула.

Первый раз зевнула — ничего. Второй раз зевнула во всю ширь — аж все зубы можно пересчитать. Третий раз зевнула еще послаще. А военный, который наискось сидел, взял и добродушно сунул ей палец в рот. Пошутил. Ну, это часто бывает — кто-нибудь зевнет, а ему палец в рот. Но, конечно, это бывает между, скажем, настоящими друзьями, заранее знакомыми или родственниками со стороны жены. А этот совершенно незнакомый. Фекла Тимофеевна в первый раз его видит.

По этой причине Фекла Тимофеевна, конечно, испугалась. И, с перепугу, поскорей захлопнула свой чемодан. И довольно сильно тяпнула военного за палец.

Ужасно тут закричал военный. Начал кричать и выражаться. Мол, палец ему почти начисто оттяпали. Полез было драться, но пассажиры остановили. Тем более, что палец совершенно не оттяпали, а просто немного захватили зубами. И крови-то почти не было — не больше полстакана.

Началась легкая перебранка. Военный говорит:

— Я, говорит, ну, просто пошутил. Если бы, говорит, я вам язык оторвал или что другое, тогда кусайте меня, а так, говорит, я не согласен. Я, говорит, военнослужащий и не могу позволить пассажирам отгрызать свои пальцы.

Фекла Тимофеевна говорит:

— Ой! если бы ты мне за язык взялся, я бы тебе полную кисть руки оттяпала. Я не люблю, когда меня за язык хватают. — Начала тут Фекла Тимофеевна на пол сплевывать, дескать, может, и палец-то, чорт знает, какой грязный и, чорт знает, за что брался — нельзя же такие вещи строить — не гигиенично.

Но тут ихняя дискуссия была нарушена — подъехали к Ленинграду. Фекла Тимофеевна еще слегка полаялась со своим военным и пошла на Щукин.

ШАПКА

Только теперича вполне чувствуешь и понимаешь, насколько мы за десять лет шагнули вперед!

Ну, взять любую сторону нашей жизни — то есть, во всем полное развитие и счастливый успех.

А я, братцы мои, как бывший работник транспорта, очень наглядно вижу, чего, например, достигнуто и на этом, довольно-таки важном фронте.

Поезда ходят взад и вперед. Гнилые шпалы сняты. Семафоры восстановлены. Свистки свистят правильно. Ну, прямо приятно и благополучно ехать.

А раньше. Да, бывало, в том же восемнадцатом году. Бывало, едешь, едешь — вдруг полная остановка. Машинист, значит, кричит с головы состава, дескать, сюды, братцы. Ну, соберутся пассажиры. Машинист им говорит:

— Так и так. Не могу, робя, дальше иттить по причине топлива. И если, говорит, кому есть интерес дальше ехать — вытряхайся с вагонов и айда в лес за дровами.

Ну, пассажиры побранятся, поскрипят, мол, какие нововведения, но все-таки идут до лесу пилить и колоть.

Напилят полсажени дров и далее двигаются. А дрова, ясное дело, сырые, чертовски шипят и едут плохо.

А то, значит, вспоминается случай — в том же девятнадцатом году. Едем мы таким скромным образом до Ленинграду. Вдруг резкая остановка на полпути. Засим — задний ход и опять остановка.

Значит, пассажиры спрашивают: зачем остановка, к чему это все время задний ход? Или, Боже мой, опять идти за дровами, — машинист разыскивает березовую рощу, или, может быть, бандитизм развивается?

Помощник машиниста говорит:

— Так и так. Произошло несчастье. Машинисту шапку сдуло, и он теперича пошел ее разыскивать.

Сошли пассажиры с состава, расположились на насыпи.

Вдруг видят, машинист из лесу идет. Грустный такой. Бледный. Плечами пожимает.

— Нету, — говорит, — не нашел. Пес ее знает, куда ее сдуло.

Поддали состав еще на пятьсот шагов назад. Все пассажиры разбились на группы — ищут.

Минут через двадцать один какой-то мешечник кричит:

— Эй, черти, сюда! Эвон, где она.

Видим, действительно машинистова шапка, зацепившись, на кустах висит.

Машинист надел свою шапку, привязал ее к пуговке шпагатом, чтоб обратно не сдуло, и стал разводить пары.

И через полчаса благополучно тронулись.

Вот я и говорю. Раньше было полное расстройство транспорта.

А теперь не только шапку — пассажира сдует, и то остановка не более одной минуты.

Потому — время дорого. Надо ехать.

НАУЧНОЕ ЯВЛЕНИЕ

Давеча у нас в Гавани какая интересная история развернулась.

Иду по улице. Вижу — народ собирается около пустыря.

— Что такое?

— Так что, — говорят, — странное подземное явление, товарищ. Не землетрясение, нет, но какая-то подземная сила народ дергает. Нету никакой возможности гражданам вступать на этот боевой участок, около этой лужи. Толчки происходят.

А тут ребята дурака валяют — пихают прохожих до этого опасного участка. Меня тоже, черти, пихнули.

И всех, которые вступают, отчаянно дергает. Ну, прямо устоять нет никакой возможности, до того пронизывает.

Тут один какой-то говорит:

— Скорей всего это кабель где-нибудь лопнувши — ток сквозь сырую землю проходит. Ничего удивительного в этом факте нету.

Другой тоже говорит:

— Я сам бывший электротехник. Давеча я сырой рукой за выключатель схватился, так меня так дернуло — мое почтение. Это вполне научное явление, около лужи.

А народу собралось вокруг этого факта много.

Вдруг милиционер идет.

Публика говорит:

— Обожди, братцы. Сейчас мы его тоже втравим. Пушай его тоже дернет.

Подходит милиционер до этого злополучного участка.

— Что, — говорит, — такое? Какое такое подземное явление?

И сам прет по незнанию в самый опасный промежуток. Вступает он ногами на этот промежуток — и ничего, не дергает.

Тут, прямо, в первую минуту население обалдело. Потому всех дергает, а милицию не дергает.

Милиционер строгой походкой проходит сквозь весь участок и разгоняет публику.

Тут один какой-то кричит:

— Так он, братцы, в галошах! Резина же не имеет права пропускать энергию.

Ничего на это милиционер не сказал, только строго посмотрел на население, скинул свои галоши и подошел к луже. Тут у лужи его и дернуло!

После этого народ стал спокойно расходиться. А вскоре прибыл электротехник и начал ковырять землю.

А милиционер еще раз, когда народ разошелся, подошел без галош до этого участка, но его снова дернуло.

Тогда он покачал головой, дескать, научное явление, и пошел стоять на свой перекресток.

КОШКА И ЛЮДИ

Печка у меня очень плохая. Вся моя семья за всегда угорает через нее. А чортов жакт починку производить отказывается. Экономит. Для очередной траты.

Давеча осматривали эту мою печку. Вьюшки глядели. Ныряли туда во внутрь головой.

— Нету, — говорят. — Жить можно.

— Товарищи, — говорю, — довольно стыдно такие слова произносить: жить можно. Мы за всегда угораем через вашу печку. Давеча кошка даже угорела. Ее тошнило давеча у ведра. А вы говорите — жить можно.

Чортов жакт говорит:

— Тогда, говорит, устроим сейчас опыт и посмотрим, угорает ли ваша печка. Ежли мы сейчас после топки угорим — ваше счастье — переложим. Ежли не угорим — извиняемся за отопление.

Затопили мы печку. Расположились вокруг ее. Сидим. Нюхаем.

Так, у вьюшки, сел председатель, так — секретарь Грибоедов, а так, на моей кровати, — казначей.

Вскоре стал, конечно, угар по комнате проноситься.

Председатель понюхал и говорит:

— Нету. Не ощущается. Идет теплый дух и только.

Казначей, жаба, говорит:

— Вполне отличная атмосфера. И нюхать ее можно. Голова через это не ослабевает. У меня, говорит, в квартире атмосфера хуже воняет, и я, говорит, не скулю понапрасну. А тут совершенно дух ровный.

Я говорю:

— Да как же, помилуйте, — ровный. Эвон, как газ струится.

Председатель говорит:

— Позовите кошку. Ежели кошка будет смирно сидеть, значит, ни хрена нету. Животное завсегда в этом бескорыстно. Это не человек. На нее можно положиться.

Приходит кошка. Садится на кровать. Сидит тихо. И, ясное дело, тихо — она несколько привыкшая.

— Нету, — говорит председатель, — извиняемся.

Вдруг казначей покачнулся на кровати и говорит:

— Мне надо, знаете, спешно идти по делу.

И сам подходит до окна и в щелку дышит.

И сам стоит зеленый и прямо на ногах качается.

Председатель говорит:

— Сейчас все пойдем.

Я оттянул его от окна.

— Так, — говорю, — нельзя экспертизу строить.

Он говорит:

— Пожалуйста. Могу отойти. Мне ваш воздух вполне полезный. Натуральный воздух, годный для здоровья. Ремонта я вам не могу делать. Печка нормальная.

А через полчаса, когда этого самого председате-

ля ложили на носилки и затем задвигали носилки в каретку скорой помощи, я опять с ним разговорился.

Я говорю:

— Ну, как?

— Да нет, — говорит, — не будет ремонта. Жить можно.

Так и не починили.

Ну, что ж делать? Привыкаю. Человек не блоха — ко всему может привыкнуть.

ХАМСТВО

Я-то сам не был за границей, так что не могу вам объяснить, чего там такое происходит.

Но вот недавно мой друг и приятель из-за границы прибыл, так он много чего оригинального рассказывает.

Главное, говорит, там капитализм заедает. Там без денег прямо, можно сказать, дыхнуть не дадут. Там деньги у них на первом месте. Сморгнулся — и то гони пфенниг.

У нас деньги тоже сейчас довольно-таки часто требуются. Можно сказать: куда ни плюнь — за все вытаскивай портмоне. Но все-таки у нас гораздо, как будто бы, легче.

У нас, например, можно на чай не дать. Ничего такого не произойдет. Ну, скривит официант морду или стулом двинет, дескать, — сидел тоже, рыжий пес... И все.

А некоторые, наиболее сознательные, так и стульями двигать не станут. А только вздохнут, дескать, — тоже публика.

А там у них, за границей, ежели, для примера, на чай не дать — крупные неприятности могут произойти. Я, конечно, не был за границей — не знаю. А вот с этим моим приятелем случилось. Он в Италии был. Хотел на Максима Горького посмотреть. Но не доехал до него. Расстроился. И назад вернулся.

А все дело произошло из-за чаевых.

Или у моего приятеля денег было мало, или у него убеждения хромали и не позволяли, но только он никому на чай не давал. Ни в ресторанах, ни в гостиницах — никому.

А то, думает, начнешь давать — с голым носом домой вернешься.

Там ведь служащего народу дьявольски много. Это у нас, скажем, сидит один швейцар у дверей и никого не беспокоит. Его даже не видно за газетой. А там, может, одну дверь двадцать человек открывают. Ну-те, попробуй, всех одели!

Так что мой приятель никому не давал.

А приехал он в первую гостиницу. Приняли его там довольно аккуратно. Вежливо. Шапки сымали, когда он проходил. Прожил он в таком почете четыре дня и уехал в другой город. И на чай, конечно, никому не дал. Из принципа.

Приехал в другой город. Остановился в гостинице. Смотрит, — не тот коленкор. Шапок не сымают. Говорят сухо. Нелюбезно. Лакеи морды воротят. И ничего быстро не подают.

Мой приятель думает: хамская гостиница. Возьму, думает, и перееду.

Взял и переехал он в другую гостиницу. Смотрит — совсем плохо. Только что по роже не бьют. Чемоданы роняют. Подают плохо. На звонки никто не является. Грубят.

Больше двух дней не мог прожить мой приятель и в страшном огорчении поехал в другой город.

В этом городе, в гостинице, швейцар чуть не прищемил моего приятеля дверью — до того быстро её закрыл. Номер же ему отвели у помойки, рядом с кухней. Причем коридорные до того громко гремели ногами около его двери, что мой приятель прямо-таки захворал нервным расстройством. И, не доехав до Максима Горького, вернулся на родину.

И только перед самым отъездом случайно встре-

тил своего школьного товарища, которому и рассказал о своих неприятностях.

Школьный товарищ говорит:

— Очень, говорит, понятно. Ты, небось, чаевые давал плохо. За это они тебе наверное минусы на чемоданы ставили. Они всегда отметки делают. Которые дают — плюс, которые хамят — минус.

Прибежал мой приятель домой. Действительно, на левом углу чемодана — четыре черточки.

Стер эти черточки мой приятель и поехал на родину.

ИНОСТРАНЦЫ

Иностранца я всегда сумею отличить от наших советских граждан.

У них, у буржуазных иностранцев, в морде что-то заложено другое. У них морда, как бы сказать, более неподвижно и презрительно держится, чем у нас. Как, скажем, взято у них одно выражение лица, так и смотрится этим выражением лица на все остальные предметы.

Некоторые иностранцы для полной выдержки монокли в глазах носят. Дескать, это стеклышко не уроним и не сморгнем, чего бы ни случилось.

Это, надо отдать справедливость, здорово.

А только иностранцам иначе и нельзя. У них там буржуазная жизнь довольно беспокойная. Им там буржуазная мораль не позволяет проживать естественным образом. Без такой выдержки они могут ужасно осрамиться.

Как, например, один иностранец костью подавился. Курятину, знаете, кушал и заглотал лишнее. А дело происходило на званом обеде. Мне про этот случай один знакомый человек из торгпредства рассказывал.

Так дело, я говорю, происходило на званом банкете. Кругом, может, миллионеры пришли. Форд сидит на стуле. И еще разные другие.

А тут, знаете, наряду с этим человек кость заглотал.

Конечно, с нашей свободной точки зрения в этом факте ничего такого оскорбительного нету. Ну, проглотил и проглотил. У нас на этот счет довольно быстро. Скорая помощь. Мариинская больница. Смоленское кладбище.

А там этого нельзя. Там уж очень исключительно избранное общество. Кругом миллионеры расположились. Форд на стуле сидит. Опять же фраки. Дамы. Одно электричества горит, может, больше, как на двести свечей.

А тут человек кость проглотил. Сейчас сморкаться начнет. Харкать. За горло хвататься. Ах, Боже мой! Моветон и чорт его знает что.

А выйти из-за стола и побежать в ударном порядке в уборную — там тоже нехорошо, неприлично. «Ага, — скажут, — побежал до ветру». А там это абсолютно нельзя.

Так вот этот француз, который кость заглотал, в первую минуту, конечно, смертельно испугался. Начал было в горле копать. После ужасно побледнел. Замотался на своем стуле. Но сразу взял себя в руки. И через минуту заулыбался. Начал дамам посылать разные воздушные поцелуи. Начал, может, хозяйскую собачку под столом трепать.

Хозяин до него обращается по-французски.

— Извиняюсь, — говорит, — может, вы чего-нибудь действительно заглотали несъедобное? Вы, говорит, в крайнем случае скажите.

Француз отвечает:

— Коман? В чем дело? Об чем речь? Извиняюсь, — говорит, — не знаю, как у вас в горле, а у меня в горле все в порядке.

И начал опять воздушные улыбки посылать. После на бламанже налег. Скушал порцию.

Одним словом, досидел до конца обеда и никому виду не показал.

Только когда встали из-за стола, он слегка покачнулся и за брюхо рукой взялся — наверное, кольнуло. А потом опять ничего.

Посидел в гостиной минуты три для мелкобуржуазного приличия и пошел в переднюю.

Да и в передней не особо торопился, с хозяйкой побеседовал, за ручку подержался, за галошами под стол нырнул вместе со своей костью. И отбыл.

Ну, на лестнице, конечно, поднажал.

Бросился в свой экипаж.

— Вези, — кричит, — куриная морда, в приемный покой.

Подох ли этот француз, или он выжил — я не могу вам этого сказать, не знаю. Наверное выжил. Нация довольно живучая.

Р О С Т О В

Кстати о Ростове. Симпатичный город. Я там был этой осенью. Проездом.

Славный, спокойный город. И климат довольно мягкий. Кроме того — полное отсутствие хулиганства. Даже немного удивительно, с чего бы это.

Молоденькая девица одна может свободно пройти ночью по улицам. Никто ее не затронет.

Ну, как — одна, я, конечно, не знаю. Не ручаюсь. Но вдвоем или небольшой группой — очень свободно может идти. Никаких таких лишних возгласов. Даже по тротуарам допускают ходить. Зря не сталкивают. Ругаться-то, конечно, ругаются. Но промежду себя. Не в сторону прохожих.

Это явление, в смысле полного отсутствия хулиганства, я думаю, происходит за счет физкультуры. Физкультура всегда отвлекает граждан от хулиганства. А физкультура в этом южном городе поставлена на полную высоту. Футбол, эстафетный бег, ныряние и плавание — это на каждом шагу. Это удивительный город в этом отношении.

Я сам был свидетелем такого спортивного случая.

Сию я в городском саду. Читаю, как сейчас помню, газету. Дискуссионный листок.

А кругом мягкая осенняя погода. Солнце золотится. На скамейках публика сидит. Такая тихая осенняя картина без слов.

Тут же по аллеям небольшой парнишка шляется. С ящиком. За пяточок сапоги чистит.

Увязался этот парнишка и до меня. Начал мне мусолить сапог за пяточок.

Вычистил один. Только взялся за другой, вдруг сзади кто-то как ахнет мне на плечи. Гляжу — какой-то незнакомый человек в трусиках через меня прыгнул.

Только я хотел его обругать, сукина сына, зачем он через незнакомых прыгает, вдруг сзади опять — хлоп — другой прыгнул. Всего их прыгнуло четверо. Вот, думаю, и хулиганство налицо.

Вдруг гляжу — нету хулиганства. Чистая физкультура. Чехарда. В чехарду молодежь играет. Славно так через сидячих людей прыгают.

Парнишка, который сапоги чистит, говорит:

— Вы не пугайтесь. Они тут завсегда в чехарду упражняются. Давайте второй сапог дотру. Садитесь!

Ну, что ж, думаю, пушай, лучше чехарда, чем хулиганство.

Однако, второго я не стал дочищать. Выдал парнишке пяточок и заторопился поскорей к выходу. А то, думаю, на ходу прыгнут — еще опрокинут, черти. Потом вставай.

Вышел на улицу — опять спокойно. Чисто, славно. Никаких лишних возгласов. С тротуара не сталкивают.

Прямо не город — акварельная картинка.

НЕ ВСЕ ПОТЕРЯНО

Очень даже удивительно, как это некоторым людям жить не нравится.

Кругом, можно сказать, происходят разные занимательные факты, происходит борьба, разворачиваются какие-нибудь там события, происшествия, кражи.

Кругом, можно сказать, природа щедрой рукой раздает свои бесплатные блага. Светит солнышко, трава растет, муравьи ползают.

И тут же наряду с этим находятся меланхолики, которые насчет всего этого скулят и ничего выдающегося в этом не видят и вообще не знают, как им прожить на этом белом свете.

Они не знают, как прожить на этом свете и чем, значит, им заняться или, может быть, им нечем заняться и, может быть, выгодней нырнуть хотя бы в ту же реку Фонтанку.

Конечно, эти люди — по большей части дряблые меланхолики и беспочвенные интеллигенты, утомленные своим средним образованием. Они и раньше, при всяком режиме, разводили свою меланхолию. Так что особенно уж сваливать вину на текущие события не приходится.

И дозвоьте заместо этой голой философии рассказать про одного такого утомленного человека. О том, как он перестал грустить и вроде как бы отыскал настоящий смысл. Факт абсолютно правильный и достойный всеобщего внимания.

Одним словом, этот рассказ особо полезно прочитать интеллигентным людям, которые к сорока годам не знают еще, в чем, так сказать, цель жизни. Пущай они будут спокойны, еще не все потеряно на ихнем житейском фронте.

А жил в нашем доме, на Васильевском острове, довольно-таки дряблый бездетный интеллигент Иннокентий Иванович Баринев со своей супругой.

Супруга его была дамочка, как бы сказать, менее

беспочвенная. Она круглые дни занималась с кошкой, выводила ее гулять, кормила печонкой и по этой причине особой безвыходной тоски не испытывала.

Иннокентий же Иванович кошки не понимал и не находил в ней особого счастья. Он целные дни ходил вверх и вниз по лестнице или, знаете, стоял у дома и довольно скучным взором глядел, чего вокруг него делается.

Это был форменный меланхолик. И простой, пролетарской душе глядеть на него было то есть совершенно, абсолютно невыносимо.

Он выпивать не любил, физкультурой не занимался и на общих собраниях под общий смех говорил все не актуальные вещи: дескать, например, мусор во дворе пахнет, — нету возможности окно открыть на две, видите ли, половинки.

Я говорю, простому рабочему человеку не было удовольствия глядеть на такого жильца и квартиранта.

А раз однажды спускается этот наш квартирант со своего этажа. Спускается он со своего этажа и подходит к нему тут же, на лестнице, наш председатель и говорит:

— Так что, говорит, как вам известно, средний флигель угрожает падением и по случаю этого стихийного бедствия предвидятся некоторые перемены.

— Какие, — говорит, — перемены?

— Перемены, — говорит, — обыкновенно какие: комиссия выселяет жильцов по разным другим квартирам. Комната у вас большая, опять же кухня, и придется вам потесниться по причине такого бедствия.

Одним словом, объяснил, что вселяют ему в квартиру двух жильцов со среднего флигеля.

Иннокентий Иванович говорит:

— Я на это не соглашусь. Я, говорит, с самого начала революции проживаю в этой квартире и не дозволю, говорит, производить над собой разные эксперименты.

Председатель говорит:

— Так что особого дозволения у вас не спросим. Нам, говорит, это ваше дозволение необязательно.

Тут Иннокентий Иванович ужасно изменился в лице, начал хвататься за председателя. Просит его и умоляет.

— Я, — говорит, — больной и нездоровый интеллигентный человек и мне, говорит, нипочем невозможно слушать в своей квартире посторонний шум и разные разговоры. Я, говорит, сам едва-едва проживаю вместе со своей супругой. А если, говорит, еще добавить две-три персоны, то, говорит, за последствия не ручаюсь.

Председатель говорит:

— В крайнем случае болезни мне ваши неизвестны, и вы, говорит, напрасно за меня хватаетесь. А если, говорит, вы такой чересчур интеллигентный человек, то представьте удостоверение, в силу чего вам полагается отдельная площадь.

Очень горячо ухватился за эти слова Иннокентий Иванович.

Кинулся он наверх, в свою квартиру. Надел поскорее прорезиненное свое пальто и побежал узнавать, как и что и где ему раздобыть свидетельство и на какую комиссию ему податься.

Кинулся Иннокентий Иванович по этим неотложным делам и впопыхах, от полного расстройства чувств позабыл закрыть свою квартиру.

А надо сказать, что супруга его в это беспокойное время где-то прогуливала свою кошечку и никак не предполагала, что течение ихней жизни несколько изменится.

Или Иннокентий Иванович совершенно не прихлопнул дверь и она, так сказать, навела на определенные мысли проходящих граждан, или кто-нибудь проследил движение обстоятельств, только, одним словом, эту квартиру в ударном порядке обчистили. И не так,

чтобы очень сильно обчистили, но все же кой-какие вещицы вынесли.

Очень ужасный крик подняла мадам Баринава, вернувшись назад со своей кошечкой.

Весь дом сбежался на этот дамский крик.

Начали соседи брызгать водой в мадам Баринову. Начали ее приводить в христианский вид. Начали успокаивать и подсчитывать ее убытки.

Определенно нехватало осеннего пальто, бинокля, галош и еще разного другого семейного инвентаря.

И вот в это время является Иннокентий Иванович после успешного окончания своих дел.

Надо сказать, он довольно геройски перенес эту кошмарную драму.

Он в первую голову разогнал из своей квартиры собравшихся жильцов, чтоб они, так сказать, под горячую руку не вынесли остальное имущество. Затем, не снимая своего международного пальто, побежал делать заявление в уголовный розыск.

Весь следующий день Иннокентий Иванович бежал по своим делам: дважды заявлялся в угрозыск, ходил по рынкам и, так сказать, глядел, не поступили ли в продажу его унесенные вещи.

Следующие дни Иннокентий Иванович также не присел. Он ходил на комиссию, хлопотал, чтоб прислали ищейку и дежурил на рынках.

В довершение всего на девятый день Иннокентий Иванович, мотаясь по своим делам, ссыпался с лестницы и вывихнул себе правую руку.

Он мужественно перенес и это испытание. Еще лежа на лестнице, он твердым голосом командовал и отдавал приказания. Он велел вызвать карету скорой помощи и поехал в больницу с полным сознанием исполненного долга.

А через несколько дней Иннокентий Иванович со своей забинтованной ручкой снова принялся за свои срочные дела.

Утром он ходил по своим делам, днем ездил в

больницу — массировать свою ручку и вечером, в кругу своих знакомых и родственников, Иннокентий Иванович отчитывался, так сказать, за истекшие сутки.

И этот человек, этот беспочвенный интеллигент, в короткое время сильно переменялся.

Раньше морда у него была грустная, кожа бледная и прыщеватая, а сейчас кровь заиграла на его лице, и привились разные бодрые жесты и движения.

Он форменно воспрянул духом и весь превратился в энергичного, достойного гражданина.

Конечно, нельзя сказать, будет ли у него такая душевная смелость на всю жизнь. Но, может быть, и на всю жизнь. Смотря, как обернутся его дела. Может быть, председатель в суд на него подаст за неплатеж. А там, может, угрозыск снова вызовет его по поводу похищенных вещей. А там, может, бегая по своим делам, Иннокентий Иванович снова сломает еще одну ручку или вывихнет ногу. И, может, помрет счастливый, в полном довольстве. И, помирая, будет думать о своих делах, которые наполнили ему жизнь, и о той борьбе, которую он с честью вынес на своих плечах.

Недаром в свое время товарищ Буденный воскликнул: «И вся-то наша жизнь есть борьба».

ХОРОШИЙ ЗНАКОМЫЙ

Пушай читатель за свои деньги чувствует — я печатаю этот рассказ прямо с опасностью для здоровья.

Это есть истинное происшествие. Все, так сказать, взято из источника жизни. И я побаиваюсь, как бы главное действующее лицо не набило бы мне морды за разглашение подобных фактов.

Ну, да, может, как-нибудь мирно обернется. А факт уж очень густой. Прямо не могу молчать.

А это было в Москве. И жил в этой Москве, на Зацепе, такой московский гражданин А. Ф. Царапов.

Особенно он ничем таким не отличался. Только тем он отличался, что в свое время учился в одной и

той же прогимназии с одним очень ответственным товарищем. Одним словом, с наркомом. Вот только я позабыл, с каким наркомом. Или с наркомом труда или собеса. А, может быть, и чего-нибудь другого. Я не запомнил.

Ну, и конечно, в силу этого он любил похвалиться этим обстоятельством своей жизни. Дескать, они и в перышки вместе игрались. И будто, я извиняюсь, за волосья друг друга дергали. И даже будто раз однажды товарищ нарком французскую булку у него скушал. Франзоль.

Про этот факт А. Ф. Царапов особенно любил наворачивать. И при этом у него всегда слезы на глазах горели от разных гуманных чувств и переживаний.

Только, товарищи, предупреждаю. Я за это дело не отвечаю. Тем более, может, это вранье со стороны Царапова. Хотя факт вполне допустимый. Тем более правительство рабоче-крестьянское. Это министры, действительно верно, в детском возрасте, может, пирожки с кремом жрали, а от простой французской булки морды отворачивали. А тут вполне допустимое явление.

Так вот, — раз однажды, когда А. Ф. Царапов обратно начал касаться этой французской булки, подходит до него один такой безработный жилец и так ему говорит:

— Вот, говорит, вы разные слова произносите и, говорит, кормите наркома французской булкой... Чего я вас попрошу... Закиньте пару словец насчет меня... Как я, говорит, есть безработный с одна тысяча девятьсот двадцать второго года и не могу найти службу... А тут как раз слышу подобные речи и факты.

А. Ф. Царапов говорит:

— Ладно! Специально я ехать к нему не буду. У него делов и без нас хватает. Но, говорит, как-нибудь отчего же. Об чем разговор...

Все многолюдное общество и сам безработный так ему говорят:

— Да вы, говорят, не откладываете это дело. Вы, говорят, звякните ему.

И, конечно, приперли к стенке Царапова. И пришлось ему позвонить.

Или нарком, действительно, узнал в нем своего бывшего одноклассника. Или просто не хотел грубить по телефону. Только он так ему говорит:

— Насчет протекции это хуже. Я гляжу против протекции, хвостизма и спецеедства, но, говорит, поговорить на разные темы, отчего же, можно.

И велит, значит, Царапову приехать к нему к часу дня.

И вот, на другой день А. Ф. Царапов под громкие аплодисменты и овации всего дома отбыл к наркому, совершенно не предполагая, что в пути произойдет с ним непредвиденное обстоятельство, которое нарушит весь торжественный ход событий. Только не подумайте — не встреча с наркомом. Другое.

А подходит товарищ Царапов до трамвая. И садится. Он садится в трамвай и ожидает движения. А движения, видит, нету.

А, надо сказать, это была конечная трамвайная станция. И сразу там, конечно, движения не бывает. Надо и кондуктору погреться в помещении и, может, ведомость написать.

Одним словом, нет и нет движения.

Начал Царапов слегка волноваться — не опоздать бы.

Вышел на площадку. Легонько про себя ругается. Тут же какой-то гражданин стоит. Такой у него неопределенный облик. Хотя, видать, трудящийся. В ватном полупальто.

И тоже выражает неудовольствие.

— Берут, — говорит, — по десять копеек, а, между прочим, стоят.

А. Ф. Царапов ему говорит:

— Главное, товарищ, мне надо к наркому ехать. А они определенно не чешутся.

Трудящийся говорит:

— Они так всегда. Деньги им подай, а ехать они не хотят. На стоянках отыгрываются. Ток экономят... Эвон, глядите — вожатый, как более сознательный, идет, а кондукторша, зараза, еще греется.

Начал Царапов говорить, зачем он едет и вообще про французскую булку и вдруг, знаете, позвонил. Дернул сигнал, дескать, можно ехать.

Чего у него в эти минуты было на душе — остается тайной природы. Но только он позвонил. И так говорит:

— Пущай без кондукторши поедем. Как-нибудь обойдемся, раз мы имеем от них такие поступки. Не опаздывать же.

И вагон, конечно, поехал.

Едут. Доехали до трамвайной остановки. Вошла публика.

Царапов обратно дает сигнал.

Опять поехали.

Через три остановки начала публика глядеть, где кондуктор. Глядит — нету. Глядит — пассажир и звонки названивает, и денег не берет, и жалованья не требует.

Пожалуйста, думают. Дешевле ехать.

И молчат.

Так бы, может, и доехал наш Царапов до своего знакомого наркома, но тут очень видную роль сыграла служба связи.

Поднялась, конечно, тревога на конечном пункте. Дескать, трамвай ушел, — задержать и все такое. Ну, и задержали на шестой остановке.

Конечно, схватили Царапова. Окружили. Начали его ругать. А сильнее всех ярился вожатый. Он даже хотел своей медной рукояткой личность ему разбить за такое нахальство. Только удержали.

Из публики говорят:

— Одно не понять, что он, оболдуй, с окружающих граждан деньги не брал. Все равно сидеть».

А. Ф. Царапов, конечно, умоляет и вообще вопит, что его зарезали этим делом, что теперь он может опоздать к наркомому.

Однако, как он ни бился и как ни кусался, его не выпустили и доставили в милицию.

Правда, через два часа его освободили, но к наркомому он уже не поехал. Безработный жилец остался безработным с двадцать второго года. И вся жизнь потекла по прежнему руслу.

А этим художественным произведением автор хочет сказать: не гордись. А ежели гордишься, поезжай, в крайнем случае, на извозчике.

СИЛЬНЕЕ СМЕРТИ

Нэпманам, разным нашим богачам и вообще иностранным капиталистам завидовать не приходится.

Жизнь у них безусловно тяжелая.

У них масса лишних переживаний в связи со своими деньжатами. Приходится всю жизнь следить за своим добром, прятать, дрожать, чтоб не уперли.

Тоже и подышать при деньгах не сладко. В ад-то с собой монету не возьмешь.

А очень такую удивительную денежную историю я слышал про одного нэпмана. История очень наглядно рисует капиталистов со всех ихних сторон. Вообще это есть отчаянная сатира, обернутая против нэпманов, а также против всяких людей, которые деньги обожают больше жизни.

А жил в Ленинграде такой П. Я. Сисяев. Такой довольно арапистый человек. Он в начале нэпа парикмахерскую держал. Только, кроме стрижки и брижки, он еще иностранной валютой торговал и вообще разные темные делишки обстряпывал. Ну, и, конечно, засыпался.

Он засыпался в двадцать шестом году летом. Маленько посидел, где следует. И вскоре его, голубчика,

выперли из Ленинграда куда-то подальше. Ему чего-то, одним словом, дали — минус семь, или плюс семь, или восемь, чорт его разберет. Я в этих делах пока что слабо понимаю. Одним словом, его, как плута и спекулянта, выслали в Нарымский край.

И, значит, он, хочешь — не хочешь, поехал.

А надо сказать, он своего ареста ожидал. У него сердце было беспокойно. Он еще за неделю сказал своим компаньонам, дескать, как бы не угадать куда-нибудь.

И, конечно, на всякий случай он взял старую кожаную тужурку, подпорол ей бортик и зашил туда десять царских золотых монет и один золотой квадратик. Может быть помните — государство в двадцать четвертом году выпустило такие золотые квадратики для технических надобностей.

Вот он, значит, на всякий пожарный случай и подшил свое добро в тужурку и прямо из этой тужурки он больше не вылезал. Да еще в брюки он тоже зашил разные бумажные деньги. И стал поджидать.

Только он не долго ждал. Вскоре после того его взяли вместе с тужуркой. И осенью он поехал, куда следует.

Только неизвестно, как он там жил. Может быть, скорей всего он не очень худо жил. Тем более бумажных денег у него было вдоволь припасено. Он, знай себе, подпарывал брюки и вынимал что-то из бумажника. А до золота он, между прочим, не дотрагивался.

Только живет он так больше года. И вдруг хворает. Он хворает воспалением легких. Он там простудился. Его там просквозило на работе. И он там захворал.

Конечно, кашель поднялся, насморк, хрипы, температура минус сорок градусов. В боку колет. Аппетита нету. И вообще человек чувствует приближение собственной кончины.

И тогда ночью сымает он с себя кожаную куртку и вновь подпарывает ей бортик.

Он подпарывает ей бортик, кладет на язык золотые монетки и глотает их в порядке живой очереди.

Только, может, он проглотил их пять или шесть штук, как вдруг замечает эти преступные действия один из его приятелей. Их там по семи человек вместе жило.

Заметил это приятель, поднял тарарам и не допустил глотать остальные деньги.

И хотя тот за того хватался и умолял, но этот говорит:

— Мне, говорит, не так золота жалко. Я себе золота не возьму. Но я, говорит, не могу допустить проглатывать. Тем более, воспаление легких иногда проходит. А тут и денег не будет, и вообще засорение желудка.

Короче говоря, вскоре больной поправился. Грудь ему освободило. Дыхание вернулось. Но является новая беда — в желудке колет, кушать неохота, и слюни не идут.

И спасибо, что больной не все монеты заглотал. А то бы совсем невозможно получилось.

Конечно, можно было бы больному схлопотать в Томск поехать, на операцию лечь. Но только он сам не захотел. Ему здоровье не позволяло. Да и он, может, пугался, что во время хлороформа он не доглядит и хирурги разворуют его монеты.

Он только допустил разные внутренние средства и дозволил себя массировать.

Разные сильные средства, конечно, выгнали монеты наружу, но по подсчету их оказалось меньше, чем следует.

Тут вообще дело темное. Или уперли во время тарарама несколько монет, или они в желудке остались.

Так что ежели считать, что в желудке ничего нету, то недостает трех монет и одного квадратика.

Тогда, значит, действительно уперли. И тогда, значит, надо прекратить массаж и лечение.

Но зачем на людей тень наводить? Может быть, монеты лежат себе в желудке. Тем более для здоровья это не играет роли. Золото не имеет права давать ржавчину, так что оно может лежать до бесконечности.

Конечно, жалко, что валюта лежит без движения. Но, может, она в движении у других граждан.

НЕ НАДО СПЕКУЛИРОВАТЬ

Пока мы тут с вами решаем разные ответственные вопросы насчет колхозов и промфинплана — жизнь идет своим чередом. Люди устраивают свою судьбу, женятся, выходят замуж, заботятся о своем личном счастьешке, а некоторые даже жулят и спекулируют. Конечно, в настоящее время спекулировать довольно затруднительно. Но, вместе с тем, находятся граждане, которые придумывают чего-то такое свеженькое в этой области.

Вот об одной такой спекуляции я и хочу вам рассказать. Тем более факт довольно забавный. И тем более это — истинное происшествие. Один мой родственник прибыл из провинции и поделился со мной этой новостью. Одна симферопольская жительница, зубной врач О., вдова по происхождению, решила выйти замуж.

Ну, а замуж в настоящее время выйти не так-то просто. Тем более, если дама интеллигентная и ей охота видеть вокруг себя тоже интеллигентного, созвучного с ней субъекта.

В нашей, так сказать, пролетарской стране вопрос об интеллигентах — вопрос довольно острый. Проблема кадров еще не разрешена в положительном смысле, а тут, я извиняюсь, — женихи. Ясное дело, что интеллигентных женихов нынче не много. То есть есть, конечно, но все они какие-то такие — или уже женатые, или уже имеют две-три семьи, или вообще

лишенцы, что, конечно, тоже не сахар в супружеской жизни.

И вот при такой ситуации живет в Симферополе вдова, которая в прошлом году потеряла мужа. Он у ней умер от туберкулеза.

Вот, значит, помер у ней муж. Она сначала, наверное, легко отнеслась к этому событию. А-а, думает, ерунда. А после видит — нет, далеко не ерунда, — женихи по свету не бегают пачками. И, конечно, загоревала. И вот, значит, горюет она около года и рассказывает о своем горе молочнице. К ней ходила молочница, молоко приносила. Поскольку муж у ней помер от туберкулеза, так вот она начала заботиться о себе, — усиленно питалась. Вот она пьет молоко около года, поправляется и между прочим имеет дамский обывательский разговор со своей молочницей.

Неизвестно, с чего у них началось. Наверное, она пришла на кухню и разговорилась. Вот, мол, продукты дорожают. Молоко, дескать, жидковатое и вообще женихов нету. Молочница говорит:

— Да, мол, безусловно, чего-чего, а этого мало. Зубной врач говорит:

— Зарабатываю подходяще. Все у меня есть — квартира, обстановка, деньжата. И сама, говорит, я не такое уж мурло. А вот, подите ж, вторично замуж выйти буквально не в состоянии. Прямо хоть в газете печатай.

Молочница говорит:

— Ну, говорит, газета — это не разговор. А чего-нибудь такое надо, конечно, придумать.

Зубной врач отвечает:

— В крайнем случае я бы, — говорит, — и денег не пожалела. Дала бы денег той, которая меня познкомит в смысле брака.

Молочница спрашивает:

— А много ли вы дадите?

— Да, — говорит врачиха, — смотря какой че-

ловек отыщется. Если, конечно, он интеллигент и женится, то, говорит, червонца три я бы дала, не сморгнув глазом.

Молочница говорит:

— Три, говорит, это мало. Давайте пять червонцев, тогда я вам подыму это дело. У меня, говорит, есть на примете подходящий человек.

— Да, может, он не интеллигентный, — говорит врачиха, — может, он крючник.

— Нет, — говорит, — зачем крючник. Он очень интеллигентный. Он — монтер.

Врачиха говорит:

— Тогда вы меня с ним познакомьте. Вот вам пока червонец за труды.

И вот на этом они расстаются.

А, надо сказать, у молочницы ничего такого не было на примете, кроме собственного ее супруга.

Но крупная сумма ее взволновала, и она начала прикидывать в своем мозгу, как и чего и как бы ей попроще выбить деньги из рук этой врачихи.

И вот приходит она домой и говорит своему супругу:

— Вот, мол, Николаша, чего получается. Можно, говорит, рублей пятьдесят схватить так себе, здорово живешь, без особых хлопот.

И, значит, рассказывает ему всю суть дела. Мол, чего если она нарочно познакомит его с этой разбогатевшей врачихой, а та сдуру возьмет да и отсыплет ей пять червонцев.

— И, — говорит, — в крайнем случае, если она будет настаивать, можно и записаться. В настоящее время это не составляет труда. Сегодня ты распишешься, а завтра или там послезавтра — обратный ход.

А муж этой молочницы, этакий довольно красивый сукин сын, с усиками, так ей говорит:

— Очень отлично. Пожалуйста! Я, говорит, всегда определенно рад пятьдесят рублей взять за ни за

что. Другие ради такой суммы месяц работают, а тут такие пустяки — записаться.

И вот, значит, через пару дней молочница знакомит своего мужа с зубным врачом.

Зубной врач сердечно радуется и без лишних слов и причитаний уплачивает молочнице деньги.

Теперь складывается такая ситуация.

Муж молочницы, этот известный трепач с усиками, срочно записывается с врачихой, переходит временно в ее аппартаменты и пока что живет там.

Так он живет пять дней, потом неделю, потом десять дней.

Тогда приходит молочница.

— Так что, — говорит, — в чем же дело?

Монтер говорит:

— Да нет, я раздумал вернуться. Я, говорит, с этим врачом жить останусь. Мне тут как-то интересней получается.

Тут, правда, он схлопотал по морде за такое свое безобразное поведение, но мнения своего не изменил. Так и остался жить у врачихи. А врачиха, узнав про все, очень хохотала и сказала, что поскольку нет насилия, а есть свободный выбор, то инцидент исчерпан.

Правда, молочница еще пару раз заходила на квартиру и дико скандалила, требуя возврата своего супруга, однако, ни черта хорошего из этого не вышло. Больше того — ей отказали от места, не велели больше носить молока во избежание дальнейших скандалов и драм.

Так за пять червонцев скупая и корыстная молочница потеряла своего красивого, интеллигентного супруга.

СТОРОЖ

Один знакомый парнишка рассказал мне эту занятную историю. Только, к сожалению, я позабыл название села, где развернулись все эти события. Не то Кривючи, не то Кривуши. Где-то, одним словом, недалеко от Пскова.

Так вот была в этом селе церковь «Никола-на-могильцах». Ну, такое у ней было название. Не могу вам объяснить, отчего она так называлась.

И вот при этой церкви «Никола-на-могильцах» находился сторож, некто Морозов.

И вот стало известно во Пскове, что этого сторожа нещадным образом эксплуатируют. Держат его без страховки, без жалованья и без выходных дней. Ну, там, может, кинут ему, как собаке, рубля три в месяц, и живи, как хочешь.

Но, между прочим, сам сторож не жаловался. В довершение всего это был религиозный старик и при церкви находился вроде как бы по призванию. Ну, что ли, ему нравилось быть церковным сторожем. Это, что ли, отвечало его религиозным запросам. Однако от этого картина эксплуатации не менялась.

И, значит, отрядили в эту деревню, в это село Кривуши легкую кавалерию. Отрядили трех ребят-комсомольцев обследовать, как и чего и верно ли, что сторожу жалованья не платят.

Вот прибыли ребята на село и взяли сторожа в оборот. Мол, как обстоят дела? И, небось, вам жалованья не платят, поскольку вы не застрахованы. Ну, если это так, то можете с них потребовать за все проработанное время.

Очень от этих слов взволновался старикан.

— То есть, — говорит, — как позволите понимать ваши слова? Значит, я могу с них деньги потребовать?

— Да, — говорят, — можете требовать разницу. И если вам, для примера, кидали по пятерке, то можете получить остальное, сколько не хватало до ставки.

— А сколько эта ставка?

— Рублей, наверное, двадцать или восемнадцать.

— И за три года я могу получить?

— Да, — говорят, — можете. Сколько вам платили?

Тут, значит, у сторожа психология надвое раздвоилась.

С одной стороны, очень уж ему захотелось деньжонок хапнуть. С другой стороны, как будто бы неловко церковь под удар подводить. Ну, скажи он: трешку платят. И сразу невиданная сумма перейдет в его карман. А с другой стороны — неловко, срамота, религиозное чувство страдает и вообще для церкви непоправимый удар.

Очень стал старикан мучиться, волноваться, бороденку свою зубами кусать. Начал чего-то бормотать, карман наружу выворачивать.

После все-таки деньги перетянули.

— Да, — говорит, — безусловно, какая же от них плата. Рубля три отвалят и, значит, цельный месяц кушай кошкин навоз. Они завсегда рады чью-нибудь шкуру содрать.

Кавалерия говорит:

— Очень великолепно! Сейчас составим акт и двинем дело под гору.

Сторож говорит:

— Да уж будьте милостивцы! Пушай с них деньги сдерут. Три года им дарма храм стерег. Неинтересно получается.

Вот кавалерия уехала, и вскоре после этого попу представили иск на двести восемьдесят рублей.

Чего тут было — описать перу нет возможности. Были скандалы, волнения, крики и форменная неразбериха.

Однако делать нечего. Пришлось сторожа застраховать и пришлось ему понемногу выплачивать.

А, надо сказать, все это было в акурат под самую Пасху. Тут, значит, идет разное богослужение, церковный звон, исповедь и тому подобная религиозная волынка. И, значит, наряду с этим такой скандал.

И вот последнюю неделю поста во время исповеди сторож Морозов пришел с измученной душой к

попу исповедываться. И наряду с другими прихожанами стал скромненько в очередь.

Поп, конечно, его увидел, вышел из-за ширмы и так ему говорит:

— Я тебя, Морозов, исповедывать не буду. Отойди с Богом в сторону. Ты мне храм начисто разорил, и не будет тебе никакой исповеди и прощения!

Сторож говорит:

— Батюшка, это есть гражданское дело по советским законам, а исповедь есть вроде как религия, и вы не можете мне отказать в этом, поскольку происходит отделение церкви от государства.

Поп говорит:

— Уйди, я тебя не буду исповедывать! Откажись от своих нахальных претензий — и тогда другой разговор.

Очень они тут оба взволновались, начали срамить друг друга. Сторож говорит:

— Ну, не хочешь, — не надо. Пес с тобой! И поскольку церковь не одна, то я могу в другой приход сходить. А только мне без исповеди нельзя, — меня грехи мучают.

Взял лошадь и поехал за шестнадцать верст.

Теперь получилась такая картина. Сторож Морозов служит при этой церкви. Однако, в этом храме он ничего религиозного себе не позволяет. Даже не крестится и демонстративно ходит в шапке.

А молиться и за другими мелкими религиозными делишками ездит в соседний приход. Так, сердечный, и живет, не бросая религию. Пушай его.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ВОСТОРГ

Хочется рассказать про одного начальника. Очень уж глубоко-интересная личность.

Оно, конечно, жалко — не помню, в каком городе эта личность существует. В свое время читал об этом начальнике небольшую заметку в харьковской газете. А насчет города — позабыл. Память дырявая.

Ну, да это не суть важно. Пушай население само разбирается в своих героях. Небось, узнают — фамилия Дрожкин.

Так вот, извольте видеть, было это в небольшом городе. Даже, по совести говоря, не в городе, а в местечке.

И было это в воскресенье.

Представьте себе — весна, весеннее солнышко играет. Природа, так сказать, пробуждается. Травка возможно, что зеленеть начинает.

Население, конечно, высыпало на улицу. Панели шлифует.

И тут же среди населения гуляет собственной персоной помощник начальника местной милиции товарищ Дрожкин. С супругой. Прелестный ситцевый туалет. Шляпка. Зонтик. Галоши.

И гуляют они, ну, прямо, как простые смертные. Не гнушаются. Прямо так и прут под ручку по общему тротуару.

Доперли они до угла бывшей Казначейской улицы. Вдруг стоп. Среди, можно сказать, общего пешеходного тротуара — свинья мотается. Такая, довольно крупная свинья, пудов, может быть, на семь.

И пес ее знает, откуда она забрела. Но факт, что забрела и явно нарушает общественный беспорядок.

А тут, как на грех, — товарищ Дрожкин с супругой.

Господи, Твоя воля! Да, может, товарищу Дрожкину неприятно на свинью глядеть? Может, ему во внеслужебное время охота на какую-нибудь благородную часть природы поглядеть? А тут свинья. Господи, Твоя воля, какие неосторожные поступки со стороны свиньи! И кто такую дрянь выпустил наружу? Это же, прямо, невозможно!

А главное — товарищ Дрожкин вспыльчивый был. Он сразу вскипел.

— Это, — кричит, — чья свинья? Будьте любезны ее ликвидировать.

Прохожие, известно, растерялись. Молчат.

Начальник говорит:

— Это что ж делается средь бела дня! Свиньи прохожих затирают. Шагу не дают шагнуть. Вот я ее сейчас из револьверу тяпну.

Вынимает, конечно, товарищ Дрожкин револьвер. Тут среди местной публики замешательство происходит. Некоторые, более опытные прохожие, с большим, так сказать, военным стажем, в сторону сиганули в рассуждении пули.

Только хотел начальник свинку угробить — жена вмешалась. Супруга.

— Петя, — говорит, — не надо ее из револьверу бить. Сейчас, может быть, она под ворота удалится.

Муж говорит:

— Не твое гражданское дело. Замри на короткое время. Не вмешивайся в действия милиции.

В это время из-под ворот такая небольшая старушка выплывает.

Выплывает такая небольшая старушка и что-то ищет.

— Ахти, — говорит, — Господи! Да вот он где, мой кабан. Не надо его, товарищ начальник, из пистолета пужать. Сейчас я его уберу.

Товарищ Дрожкин обратно вспылит. Может, ему хотелось на природу любоваться, а тут, извиняюсь, неуклюжая старуха со свиньей.

— Ага, — говорит, — твоя свинья! Вот я ее сейчас из револьверу трахну. А тебя в отделение отправлю. Будешь свиней распущать.

Тут опять жена вмешалась.

— Петя, — говорит, — пойдем, за ради Бога. Опоздаем же на обед.

И, конечно, по глупости своей супруга за рукав потянула, — дескать, пойдем.

Ужасно побледнел начальник милиции.

— Ах, так, — говорит, — вмешиваться в дейст-

вия и в распоряжения милиции! За рукав хватать! Вот я тебя сейчас арестую.

Свистнул товарищ Дрожкин постового.

— Взять, — говорит, — эту гражданку. Отправить в отделение. Вмешивалась в действия милиции.

Взял постовой неосторожную супругу за руку и повел в отделение.

Народ безмолвствовал.

А сколько жена просидела в милиции, и каковы были последствия семейной неурядицы — нам неизвестно.

НАСЧЕТ ЭТИКИ

Конечно, некоторым товарищам неизвестно это слово — этика.

Некоторые товарищи, небось, думают, что это какое-нибудь испанское трехэтажное словечко. Но это не так, дорогие товарищи. Это довольно хорошее, симпатичное слово. Его даже употребляют на некоторых собраниях. Даже говорят: союзная этика.

А означает оно, ну, вроде, что ли, как бы сказать — поведение или правильное отношение. А, впрочем, чорт его разберет! Уж очень заковыристое слово. А, главное, понимают его по-разному. В одних местах так, в других — этак. А, например, Заметчинский сахарный завод и совсем глупо понимает.

Сейчас расскажем про этот завод. Все отпоем.

Держись, братцы! Начинается.

Однажды тяжкое горе постигло этот завод. Любимого, можно сказать, начальника и друга, директора Григория Федоровича Каратаева перевели на другой завод. А именно — к боринцам.

Очень горевали заметчинцы.

— Братцы, — говорят, — надо хотя ознаменовать уход этого дорогого директора. Давайте, товарищи, поднесем ему душевный адрес с указанием, так сказать, всех его драгоценных качеств.

Согласились. И, не заявляя в завком, взяли и написали:

«Глубокоуважаемый... Вы — этот, который... Отдали силы... Тяжелые условия... Мы лишаемся... Желаем... Многие годы...» И прочее тому подобное.

Написали и поднесли.

Григорий Федорович прочел и едва не прослезился. Спрятал адрес в карман, распрощался дружески и отбыл на Боринский завод.

Тут-то все и начинается.

Узнал об этом адресе заметчинский завком и в срочном порядке собрание собрал. И на собрании объявил:

Выдача всяких адресов и аттестатов может происходить только через завком как через союзную организацию. В данном случае вы нарушили союзную этику. Надо потребовать адрес обратно.

Тут начали робко возражать, дескать, какой же это аттестат? Это так, вроде как в альбом на память написано.

Никаких возражений не стал слушать завком и через боринский завком потребовал:

Возвратить случайно выданный адрес.

Тут-то все и началось.

Заметчинцы кричат:

— Отдайте адрес! Потому — это явное нарушение союзной этики.

Боринцы отвечают:

— Адреса не отдадим. Потому адреса назад отдавать — это против союзной этики. И за оскорбление мы вам еще хвост накрутим.

А сам Григорий Федорович тихонько охает:

— Братцы, — говорит, — да я-то при чем? Я же не против этики. Берите все назад. Ну вас к лешему!

Вот тут, граждане, и разберись. Одно небольшое слово, а как понимают его в разных уездах!

А мы, Ленинградского уезда, совсем от этого с толку сбились.

А москвичи, например, не сбились. И говорят, будто даже ЦК сахарников уволил заметчинского предзавкома за нарушение союзной этики.

Вот оно как!

А чего думают про это слово в Дорогобуже — неизвестно. Скорей всего — ничего. Не дошло, небось, до них это слово. Ну, и к лучшему.

ЮРИСТ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Оно, конечно. Гаврила вузов не кончал. Это действительно верно, не спорим. Но, промежду прочим, в юридических тонкостях Гаврила очень даже свободно разбирается.

Единственно не понять Гавриле юридических тонкостей в городе Екатеринославе. Там, действительно, толкуют законы очень даже неожиданно и скандально.

И кто толкует — уважаемый полупочтенный товарищ с высшим образованием, юрист одного почтенного учреждения.

Дозвольте уж начать от печки.

Дело случилось, конечно, в Екатеринославе. В доме по Чумацкому переулку. Может, знаете — третий дом от угла, двухэтажный такой небоскреб. И был хозяином этого небоскреба гражданин Котков, кажись, что из нэпманов.

А, промежду прочим, жил в этом доме квартирант Горбатов. И снимал он небольшую квартирку у Коткова. И был он, можно сказать, жилец чистой пролетарской воды. И, натурально, было ему противно ежедневно встречать и видеть своего домохозяина — кровавого нэпмана Коткова.

А нэпман Котков тоже, конечно, в свою очередь не одобрял своего квартиранта и спуску ему не давал. Ну, и ссорились они от этого ежедневно.

Так вот однажды они поссорились. А домохозяин

Котков от полноты хозяйских чувств взял да и выбил стекла в квартире Горбатова.

Очень от того факта расстроился Горбатов.

— Будь, — говорит, — еще летний месяц, я бы, говорит, и внимания на это не обратил, но зимой, говорит, с дыркой в окне неинтересно жить, — дует, снег моросит и вообще скучновато.

Однако ничего он на это домохозяйину не сделал и даже морды ему не набил.

А решил, скрепя сердце, поступить строго по закону.

И вот оделся Горбатов потеплее и пошел в одно довольно видное профсоюзное учреждение за советом: как ему быть и чем окно заткнуть, и нельзя ли вообще притянуть кровавого нэпмана Коткова.

Юрист надел пенсне на нос и отвечает:

— Побейте и вы ему окна, только чтоб никто не видал.

Квартирант Горбатов гордо побледнел, плюнул в урну и вышел. Вышел и домой пошел.

Побил ли он дома стекла — мы не знаем. Газета «Звезда» (961) про этот факт ничего лишнего не говорит. Мы же из пальца тоже высосать не можем. А факт остается фактом. А факт такой, что — унеси ты мое горе...

А вообще мамаша юриста напрасно на высшее образование сынку разорялась. Стекла побить или морду набить очень свободно можно и со средним образованием.

ОПАСНАЯ ПЬЕСКА

Нынче все пьют помаленьку. Ну, и артисты тоже, конечно, не брезгают.

Артистам, может, сам Госспирт велел выпить.

Вот они и пьют.

Во многих местах пьют. А на Среднем Урале в особицу.

Там руководители драмкружка маленько зашибают. Это которые при Аевском рабочем клубе.

Эти руководители, как спектакль, так обязательно даже по тридцать бутылок трехгорного требуют. В рассуждении жажды.

Ну, а раз дорвались эти артисты до настоящей пьесы. Там по пьесе требуется подача вина.

Обрадовались, конечно, артисты.

— Наконец-то, — говорят, — настоящая художественная пьеса современного репертуара!

Потребовали артисты у клуба сорок рублей.

— Потому, — говорят, — неохота перед публикой воду хлебать. И вообще для натуральности надо обязательно покрепче воды.

Выдал клуб от чистого сердца двадцать целковых.

Артисты говорят:

— Мало. Для наглядности не менее как на сорок требуется.

И приперлись эти артисты на спектакль со своими запасами. Которые горькую принесли, которые — пиво. А некоторые и самогону раздобыли.

Вот спектакль и начался.

Мы-то на этом спектакле не были. И потому не можем описать в подробностях. Но один знакомый парнишка из зрителей сообщает нам с явным восхищением и завистью.

— По ходу пьесы спиртные напитки подавались в таком огромном изобилии, что к концу второго действия все артисты были пьяны вдребезги.

И еще спасибо, благородные артисты оказались. Другие бы, наклюкавшись, стали блевать в публику или, например, декорациями кидаться. А эти — ничего. Эти тихо и благородно, без лишних криков и драки опустили занавес и попросили публику разойтись от греха. Публика, конечно, и разошлась.

Гаврила предлагает в срочном порядке и вообще поскорей снять эту современную пьеску с репертуара как явно опасную и несозвучную с эпохой.

ДЫМ ОТЕЧЕСТВА

А вот, граждане, такая акварельная картинка нашей провинциальной жизни.

Представь, читатель.

Вечер. Снег под ногами похрустывает. Фонарики небольшие этакие светят. И стоит себе будка этакая, тоже небольшая, корявенькая. Воду она подает жителям.

А у будки — две домашние хозяйки с ведрами. Одна хозяйка нацедила себе два ведра, присобачивает их к коромыслу. Сейчас пойдет.

А другая хозяйка сердито отчитывает сторожа в будке.

— Почему, — говорит, — у тебя с ведра пятак, а в других будках по три? Небось, бродяга, зажиливает две народных копейки?

Из окошечка сердито лезет лохматая голова. Голова сморкается, ловко надавив нос одним пальцем, и говорит с хрипом:

— Наживешь с вас, дьяволов! Приказано пятак — только и делов.

— Делов, делов, — возражает хозяйка. — Вода, что ли, у тебя, у бродяги, вкусней?

Хозяйки, еще побранившись слегка, отходят от будки, делясь впечатлениями.

— Я бы, — говорит одна, — нипочем бы не стала деньги растрачивать, потому — жалко. Я бы сама на реку ходила, да только неинтересно, милая, под лед падать. Страсть склизко...

— Да уж, — говорит другая, — под лед, это верно, прохладно падать. Лучше уж я пятак заплачу, а уж чтоб с конфортом...

Хозяйки скрываются в тени.

Поскрипывает снег под ногами. Луна соперничает светом с фонарем. Тихо. Где-то жалко играет гармоника.

Вот тихая провинциальная картинка!

— Где ж это такой медвежий уголок? — ядовито спросит читатель.

Как где? А в Ленинграде, милый читатель! На Большой Охте. Неужто не признал?

Водопроводов там нету, а водой торгуют разно: где три копейки берут, а где и пятак. От этого жители сильно обижаются.

А ученые профессора проекты строят: воздушные сады на крышах, фонтаны и радиоприемники.

Эх-ма! Кабы денег тьма...

ОБ УВАЖЕНИИ К ЛЮДЯМ

Вот какой случай произошел в Ленинграде.

Вернее, даже не в Ленинграде, а за городом. На полустанке «Воздухоплавательный парк».

Наверно там, судя по названию, аэропланы летают, летчики ходят, пропеллеры жужжат. Наверно, с чувством большого морального удовлетворения сходят пассажиры и на этой платформе.

Но это удовлетворение вскоре, как дым, рассеивается. Поскольку там сразу как сойдешь — итти некуда. Поле и болото. Летом-то еще ничего, но весной, можете себе представить, чего там бывает.

Так что пассажиры приобрели там дурную привычку ходить по полотну. А за это их, конечно, штрафуют. Но они не сдаются и ходят.

Тогда на борьбу с этим злом кинули двух работников. Сторожа и делопроизводителя.

Делопроизводитель сидит в будке и отрывает квитанции. А сторож, как нанятый, ходит вокруг будки и, чуть что, замечает. То есть он берет тех, кто прошел по путям. И ведет в будку. А в будке берут штраф. По рублю с носу. И выдают квитанцию. Все, так сказать, превосходно, по закону, и так и надо. Если не вдаваться в тонкости насчет болота.

Но только вот беда — у делопроизводителя кви-

танции немного более крупнее, чем это требуется для штрафа.

Он штрафует по рублю, а квитки у него по три целковых. Вот, как хочешь, так и поступай.

Но они там со сторожем не особенно горюют. У них выход найден. Они там в будке накапливают по три пассажира. И сразу это звено целиком штрафуют. И получается у них арифметически верно. Берут с каждого по рублю и дают им общую квитанцию, объединяя, так сказать, сердца трех на почве общего несчастья.

Получается очень мило и славно. Тем более весна. Солнышко, может быть, сияет. Природа распускается. Болотце зеленеет. Любовь к людям, так сказать, загорается в сердцах. Уважение к человеческому достоинству наполняет грудь.

А квитки, конечно, ничего не поделаешь, по три целковых. Наверно, они остались от трамвайных прыжков. И их как-то надо использовать.

Конечно, такие квитки отчасти усложняют ситуацию. Например, двое подлежащих штрафу собрались, а третьего нет. Конечно, он следующим поездом будет. Но все-таки ожидание.

А главное, надо, чтоб общее число взятых пассажиров было кратное трем. Тогда еще ничего. Тогда у них цифры сходятся. А если этого нету — тогда простите за арифметику.

И вот однажды число взятых пассажиров не оказалось кратное трем. Оно не делилось на три.

У них там в будке с утра заколодило. Два пассажира сидят, ожидают, — третьего нет. Третий подошел, а с ним четвертый прется. Четвертый сидит, ожидает. А двоих нету. Идет один. Потом опять пара. И так целый день. Даже эти работники приуныли и стали немного нервничать. Но знамя своего производства не опускали до самого вечера.

И вот сошли с поезда двое. Оба работают на

«Электросиле». Один агроном Т. заводского совхоза. И служащая А.

Вот они идут по пути, ничего не подозревая о несчастьях этого дня. И, значит, напарываются на сторожа. И он их ведет в будку.

В будке им очень радуются. Поскольку там ожидают двое. И эти двое сразу выбирают себе агронома. И у них получается нужный треугольник. И делопроизводитель говорит:

— Во теперь я вас понимаю, теперь идите.

Тогда служащая говорит:

— А как же я?

— А вы, говорит, немножко обождите. Как двое еще подойдут, так я вас отпущу. Иваныч, говорит, выйди поскорей на пути, похлопочи, чтоб что-нибудь было. Чтоб нам барышню не задерживать.

Но как ни бился сторож, у него ничего на этот раз не получилось.

Потом он все-таки одного заблудившегося привел. Итого накопилось двое. А третьего нет. А уже, может быть, наступают сумерки.

Тогда сторож, в предчувствии арифметики, впал в небольшую панику. Выбежал на полотно, но опять никого не застал.

Тогда делопроизводитель, недовольный сторожем, сам вышел до ветру и заодно посмотреть, нет ли там каких-нибудь идущих по пути.

Но в этот день, мы повторяем, у них как заколо-дило. И третьего, как они ни бились, не могли достать.

Тогда делопроизводитель Сумароков, вздохнувши, говорит: «Придется написать два протокола. Платите вы вдвое по рублю и предъявите свои паспорта».

Вот двое стали подписывать протоколы. А агроном, который еще не ушел, а ожидал сослуживицу, говорит ей: «Подпишите в протоколе поверх фамилии насчет факта с трехрублевой квитанцией».

Сослуживица так и сделала.

Но это почему-то обидело делопроизводителя.

Затронуло какие-то его чувствительные струны. И он сказал:

— Никакой лишней пропаганды и никаких фокусов я не допущу на железной дороге.

И с этими словами он закрыл будку и стал по телефону звонить в милицию. И попросил, чтоб прислали ему милиционера.

Но так как тот долго не шел, то делопроизводитель повел этих людей под конвоем сторожа на станцию.

На станции эти люди запротестовали. И тогда он, составив протокол, отпустил их.

Через некоторое время агроном получает повестку из Детского Села от милиции. Ему предлагают туда явиться. Но агроном, будучи сильно занятым, является с опозданием против назначенного часа. И участкового инспектора не застаёт.

Тогда инспектор пишет уже более энергично.

— «Если, — пишет, — не явитесь такого-то числа, то доставлю приводом».

Агроном же, как назло, явиться не мог, — его послали в Гдовские Сланцы на посевную. И теперь ему оттуда прямо грустно возвращаться на неизвестное.

И действительно, как-то оно получается у них невесело. Как-то с двух сторон грубо и оскорбительно.

А главное, надо поскорей упразднить, что ли, эти трехрублевые квитанции, хотя бы из уважения к человеческому достоинству.

Это уж никуда не годится — такое слепое подчинение бумажке. Набирать людей на нужную сумму! Обычно бывает наоборот. А это прямо как-то даже озадачивает.

А что касается двух работников, кинутых на борьбу с хождением по путям, то они вместо трудностей бумажного администрирования могли бы тем временем смело на болоте дорожку проложить. И это от-

части удовлетворило бы душевные потребности, как пассажиров, так и их самих.

И не было бы таких криков, слез, обид и огорчений.

ГОРЕ ОТ УМА

Дело, о котором мы хотим вам рассказать, собственно говоря, уже закончилось.

Кое-кто получил выговор. Кое-кто был оправдан. А некоторые отделались моральным испугом.

В общем правда восторжествовала, и порок был наказан. И в этом учреждении, о котором идет речь, все, так сказать, снова сейчас завертелось. Как говорится, «дела идут, контора пишет, ключи на комоде».

И мы, не отличаясь сварливостью характера, так бы и предоставили все это течению жизни, если бы не усмотрели в этом явления, на котором следует остановиться.

Итак, как говорится, в учреждениях, давайте провентилируем вопрос.

История развернулась в одном небольшом учреждении — в отделе благоустройства одного из районов.

В этом прекрасном учреждении с таким классическим и звучным названием, заставляющим думать о превосходных делах, произошло неприятное происшествие.

В прошлом году в отделе благоустройства «служила в качестве служащей» гр. К. И вот ее уволили с глупой и, пожалуй, даже бюрократической характеристикой: «за нечеткость в работе».

К., желая восстановить свое доброе имя, подала в нарсуд. Нарсуд, рассмотрел дело, не нашел достаточного повода к увольнению и восстановил служащую с оплатой за вынужденный прогул.

Свидетельницей в суде выступала сослуживица К., гражданка Л.

Не утверждаем, что тут имелась связь с ее выступлением на суде, но только факт, что после суда эту гражданку тоже уволили. Первоначально она получила строгий выговор с предупреждением «за опоздание и за составление пониженного плана по ассобозу». А затем заведующий отделом благоустройства предложил ей уйти по «собственному желанию». Когда она отказалась это сделать, он ее уволил за опоздание.

ЦК союза работников городских предприятий отменил это постановление и предложил «восстановить служащую Л. с оплатой за вынужденный прогул».

Заведующий не подчинился этому решению. И тогда нарсуд, рассмотрев дело, восстановил и «свидетельницу» с оплатой за шестимесячный вынужденный прогул.

Вот какова история в общих чертах.

На первый взгляд дело, мы бы сказали, пустяковое. Несработанность служащих. Неполомки. Сварливый, надменный характер заведующего. И так далее. Что-нибудь в этом роде.

Но целых два одинаковых судебных дела, два неправильных увольнения с оплатой за вынужденный прогул заставили нас снова обратить свои взоры на вышеуказанное учреждение с прекрасным и благозвучным названием.

Мы поинтересовались, нет ли там еще чего-нибудь вроде этого. Нет ли там им «униженных и оскорбленных»?

И что же оказалось? Оказалось нечто поразительное.

Вот перед нами список служащих, уволенных за 1935 год.

В списке 60 человек.

А всего в штате сотрудников — 75 человек.

Итого за прошлый год уволено почти 80 процентов.

Давайте посмотрим этот черный список.

Оговоримся: список — официальный, с печатью

отдела благоустройства и с подписью зам. нач. управления.

Итак, в этом списке 60 человек. Посмотрим, каковы мотивы увольнения.

1) «По собственному желанию» ушло — 14 человек.

2) «По собственному желанию в связи с социальным происхождением» (так и сказано!) уволено — 7 человек.

Мотивировка, прямо скажем, удивительная. Просто даже трудно понять, в чем дело. То ли совесть заговорила в служащем, и он, понимая, что происхождение его нечисто, решил, так сказать, по собственной охоте не марать больше своим присутствием это высокое учреждение. То ли ему намекнули — мол, до каких же пор мы будем терпеть тебя, братец, в нашей канцелярии? Мы тебя, милочка, не гоним, но раз у тебя папаша вроде как почетный гражданин бывшей империи, то пора бы понять, что не дело служить тебе в ассенизационном обозе.

В общем так или иначе уволено «по собственному желанию в связи с социальным происхождением» — 7 персон.

3) «За пьянство» уволено — 3 человека.

4) «За кутежи» (так и сказано) — 2 человека.

Причем разница между пьянством и кутежом, вероятно, имелись, поскольку предусмотрены две графы. Кутежи, вероятно, имели характер более широкий — с пеньем и танцами. А пьянство — может быть, просто человек «наклюкался» и лег спать.

Так или иначе за пьянство «засыпались» а) помощник коменданта, б) начальник пожарной охраны и в) инспектор очистки. А за кутежи пострадали два агента ассенизационного обоза. (Может быть, чорт возьми, профессия толкнула их на скользкий путь порока, и они через это погрязли в тине кутежей и веселья.)

Далее среди уволенных идет мелкота и шушера:

5) «За нечеткость в работе» — 1.

6) «За нарушение правил внутреннего распорядка» — 2 (из них один — комендант!).

7) «За прогул» — 1 (бухгалтер).

8) «За то, что отказался прописаться» (!) — 1 (метельщик — с чего бы это он?).

9) «Как не выдержавшие испытания» — 6.

Далее идут уволенные по самым различным уважительным причинам. Один там по статье 47. Другой перешел на инвалидность. Третий опоздал. Четвертый умер по всем правилам науки. Пятый — по семейным обстоятельствам. И так далее.

При такой ужасающей текучести, казалось бы, ни о каком сокращении штата не может быть и речи. Но не тут-то было. «По сокращению штата» (указано в списке) уволено 5 человек.

Итого из 75 человек за прошлый год снято 60 служащих по самым многообразным причинам, среди которых почему-то не указано «увольнение за глупость». А надо бы, если на то пошло, завести и эту графу в отделе благоустройства.

В общем даже трудно понять, почему заведующий учинил такой бешеный разгром?

С чего бы это он действительно?

Может быть, невезенье. Может, во всех других учреждениях публика на должной высоте, а тут, может быть, у него просто как заколодило. И сотрудники, может быть, все какие-то посредственные попадались. А может быть, человек болеет за свое учреждение! Может быть, он хочет возвести свой отдел на неслыханную высоту! Может быть, он в своем уме создал, так сказать, образ идеального служащего, и к этому он стремится! А тут наряду с этим путаются какие-то, чорт их дери, мелкотравчатые конторщики, какие-то, пес их знает, обыкновенные девицы с флюсом. Портят, так сказать, пейзаж своими надутыми физиономиями. Обидно, может быть. Раздражают все-таки. Снижают значение отдела. Хочется перетряхнуть

этот хотя бы, чорт возьми, ассенизационный обоз, где кутят и нечетко работают и вдобавок марают отдел своим происхождением.

И вот берет он это свое небольшое учреждение и почти целиком, как мусорный ящик, вытряхивает почти всех в другие (несомненно) какие-нибудь учреждения, где менее прихотливы и где не оторвались от жизни, и где, говоря канцелярским языком, к «людскому составу» относятся приветливо и уважительно, без столь дурацкого бюрократизма и надутого чванства к «человеческой единице».

И какая, обратите внимание, «игра природы»! То самое учреждение, которое ведает «благоустройством» жизни, так, можно сказать, лихо наезжает с другого, более важного фланга на своих же клиентов и потребителей.

В другой раз идешь летом по бульвару. Душа радуется. Деревья подстрижены. Дорожки посыпаны. Скамейки услужливо поставлены в тени. Как-то сразу на сердце симпатично становится. Все эти мелочи как-то поднимают собственное достоинство. Вот, думаешь, все, так сказать, для тебя же, дурака, стараются. Спасибо, думаешь, отделу благоустройства.

И вдруг теперь узнаем, в этом же самом учреждении — вон какие грубые дела, нарушающие принцип благоустройства жизни!

Оно, конечно, скамейки красить проще, чем иметь дело с «людским составом». Но которые не могут за это браться, те пускай и не берутся. И тогда благоустройство еще более возвысится.

ПОМИНКИ

Не так давно скончался один милый человек Н. Б — ов.

Конечно, он был незаметный работник. Но когда он, как говорится, закончил свой земной путь, о нем

многие заговорили, поскольку это был очень славный человек и чудный работник своего дела.

Его все очень расхваливали и заметили после его кончины.

Все обратили внимание, как он чистенько и культурно одевался. И в каком порядке он держал свой станок: он пыль с него сдувал и каждый винтик ваткой обтирал.

И вдобавок он всегда держался на принципиальной высоте.

Этим летом он, например, захворал. Ему худо стало на огороде. Он в выходной день пришел на свой огород и там что-то делал. Ухаживал за растениями и плодами. И вдруг ему приключилось худо. У него закружилась голова, и он упал.

Другой бы на его месте закричал: «Накапайте мне валерианки!» или «Позовите мне профессора!» А он о своем здоровье не тревожился. И, упавши, сказал: «Ах, кажется, я на грядку упал и каротельку помял».

Тут хотели за врачом побежать, но он не разрешил отнимать от дела рабочие руки.

Но все-таки его отнесли домой, и там он под присмотром лучших врачей хворал в течение двух месяцев.

Конечно, ему чудные похороны закатили. Музыка играла траурные вальсы. Много сослуживцев пошло его провожать.

Очень торжественные речи произносились. Хвалили его и удивлялись, какие бывают на земле люди.

И под конец один из его близких друзей, находясь около его вдовы, сказал, перед тем как уйти с кладбища:

— Которые хотят почтить память своего друга и товарища, тех вдова просит зайти к ней на квартиру, где будет подан чай.

А среди провожающих был один из его сослуживцев, некто М. Конечно, этот М. особенно хорошо не знал усопшего. Но пару раз на работе его видел.

И теперь, когда вдова пригласила зайти, он взял и тоже пошел. И пошел, как говорится, от чистого сердца. У него не было там каких-нибудь побочных мыслей. И на поминки он пошел не для того, чтобы заправиться. Тем более, сейчас никого едой не удивишь. А он пошел просто идейно. «Вот, подумал, такой славный человек, дай, думает, зайду, послушаю воспоминания его родственников и в тепле посижу».

И вот, значит, вместе с одной группой он и пошел.

Вот приходят все на квартиру. Стол, конечно, накрыт. Еда. Пятое-десятое.

Все разделись. И наш М. тоже снял с себя шапочку и пальто. И ходит промежду горюющих родственников, прислушивается к воспоминаниям.

Вдруг к нему в столовой подходят трое:

— Тут, говорят, собравшись близкие родственники. И среди них вы будете чужой. И вдова расценивает ваше появление в ее квартире как нахальство. Наденьте на себя ваше пальто и освободите помещение от вашего присутствия.

Тому, конечно, неприятно становится от этих слов, и он начинает им объяснять, дескать, он пришел сюда не для чего-нибудь другого, а по зову своего сердца.

Один из них говорит:

— Знаем ваше сердце — вы зашли сюда пожрать, и тем самым вы оскорбили усопшего. Выскакивайте пулей из помещения, а то вы в такой момент снижаете настроение у друзей и родственников.

И с этими словами он берет его пальто и накидывает на его плечи.

А другой знакомый хватает его фуражку и двумя руками напяливает ее на голову так, что уши у того мнутся.

Нет, они, конечно, его не трогали, и никто из них на него даже не замахнулся. Так что в этом смысле все обошлось до некоторой степени культурно. Но они взяли его за руки и вывели в переднюю. А в передней родственники со стороны вдовы немного

на него поднажали, и даже один из них слегка поддал его коленкой. И это было тому скорее морально тяжело, чем физически.

В общем, он, мало что соображая, выскочил на лестницу с обидой и досадой в душе.

И он три дня не находил себе покоя.

И вот вчера вечером он пришел ко мне и попросил меня разобраться в его деле.

Он был расстроен, и у него от обиды подбородок дрожал, и из глаз слезы капали.

Он рассказал мне эту историю и спросил, что я насчет этого думаю.

И я, подумавши, сказал:

— Что касается тебя, милый друг, то ты совершил маленькую ошибку. Ты зашел туда по зову своего сердца. И в этом я тебе верю. Но вдова имела в виду только близких и знавших ее супруга хорошо. Вот если бы тебя завод пригласил на вечер его памяти и оттуда тебя бы выкурили и назвали чужим, — вот это было бы удивительно. И в этих тонкостях следует всегда разбираться. Но что касается их, то они с тобой поступили грубо, нетактично и, я бы сказал, некультурно. А что один из них напялил на тебя фуражку, то он попросту свинья.

Тут сидевший у меня М. немного даже просиял. Он сказал:

— Теперь я понимаю, в каком смысле они меня называли чужим. И все остальное меня теперь не волнует.

Тут я пожал ему руку. Подарил ему книгу. И мы расстались лучшими друзьями.

И когда он ушел, я подумал о том, что те же самые люди, которые так грубо выперли его, наверно, весьма нежно обращаются со своими машинами. Наверно, берегут их и лелеют. И уж во всяком случае не вышвырнут их на лестницу, а на ящике при переноске напишут: «Не бросать!» или «Осторожно!».

Засим я подумал, что не худо бы и на человеке

что-нибудь мелом выводить. Какое-нибудь там петушиное слово: «Фарфор!», «Легче!». Поскольку человек — это человек, а машина его обслуживает.

И, подумавши об этих делах, я решил для получения записать этот фактический рассказ. И вот он перед вами.

ПРОЩАЙ КАРЬЕРА

Вот какой случай произошел со мной этим летом. По телефону позвонил мне один иностранец.

Он назвал свою фамилию. И сказал, что он писатель.

Причем перед разговором с ним произошла такая сцена.

Кто-то, не знаю, может быть служащий, вызвав меня, сказал в трубку:

— С вами, товарищ, говорят из Европейской гостиницы. Просьба не отходить от аппарата и не вешать трубку, поскольку с вами будет беседовать одно иностранное лицо. Оно сейчас одевается и сию минуту подойдет.

И вот я жду минуту. Две. Никто не подходит. Я уже хочу повесить трубку, как вдруг раздается голос. Говорит иностранец на ломаном русском языке:

— Любезный коллега, я есть один интурист. Я есть писатель. Юмор — как и у вас — это моя стихия. Я пишу комические стихи. Не найдете ли вы интересным встретиться со мной?

Я сказал, что это время я занят, но дня через два я могу с ним повидаться.

— О, нет, — сказал он, — через два дня я уже уеду.

— Тогда завтра.

— Завтра? — сказал он тоном человека, которого очень просят. — Нет, завтра я тоже никак не могу. Завтра мы едем в Детское Село осматривать дворцы. А вечером состоится наш отъезд. Давайте лучше увидимся сегодня. Только я приезжий. Мне будет

трудно вас отыскивать. Не разрешите ли вас попросить пожаловать ко мне.

Из уважения к его профессии я согласился заехать к нему на полчаса. Причем сказал, что заеду около восьми часов вечера.

Он радостно сказал:

— Полчаса — это меня вполне устраивает. К тому же больше я и сам не смогу. Мы немного поговорим, и я вас сниму на память. Но что касается восьми часов, то в восемь часов, любезный коллега, мы уже идем в концерт. В восемь часов я никак не могу с вами встретиться.

Меня начала, наконец, сердить эта беседа. Тем более, что был уже шестой час вечера. И до восьми оставалось около двух часов. Я с некоторым недоумением спросил его:

— В таком случае я не понимаю вас. Вы хотели со мной увидеться. Завтра и послезавтра вы не можете, но я вижу, что и сегодняшней день у вас тоже совершенно заполнен.

— Абсолютно заполнен, — сказал он счастливым тоном. — Абсолютно, представьте себе, расписан каждый час. Но мы с вами, коллега, можем найти выход. Я вас попрошу пожаловать ко мне сейчас. Я как-нибудь выкрою для вас полчаса свободных до обеда.

Растерявшись от такой непосредственности, я не нашел сказать что-нибудь определенное. И, что-то пробормотав о своей болезни, повесил трубку.

Но вот около двенадцати часов ночи снова раздается звонок, и голос с почтительной любезностью снова просит не отходить от телефона, так как сейчас со мной будет беседовать иностранное лицо.

Я снова жду минуту. Потом две. И уже из чистого любопытства не вешаю трубки — ожидаю, когда наше приезжее лицо завяжет перед зеркалом галстук или застегнет подтяжки

Наконец раздается знакомый счастливый, самолюбленный голос:

— Добрый вечер, коллега. Вот мы и вернулись из концерта. Я прошу вас сейчас же, без возражений, пожаловать ко мне. Нет, не беспокойтесь, что поздно. Я ранее двух часов ночи все равно не ложусь. И мы вполне можем около трех четвертей часа провести в приятной беседе.

Я еле сдержался, чтоб не сказать резкостей приезжему писателю. Вероятно (я подумал), у него какая-то иная психика. И мы не можем с ним столкнуться. Он не понимает, что мне просто неприятно такое дурацкое приглашение, когда я вызываюсь «на время», как шансонетка в каком-нибудь буржуазном ресторане.

И, снова сославшись на нездоровье и поздний час, я отказываюсь приехать.

И вот, как ни в чем не бывало (я не преувеличиваю), на другой день иностранец снова звонит мне через служащего.

И, судя по его самоуверенному тону, я вижу, что он действительно не понимает некоторой неловкости своего поведения.

— Ну вот, коллега, мы и приехали из Детского Села, — сказал он. И до обеда мы имеем почти-что час времени. Как вы на это смотрите?

Я хотел было послать его к чорту, но, подумав о международных осложнениях, снова в деликатной форме отклонил приглашение.

— Но почему вы, наконец, не хотите исполнить мою просьбу, — сказал он с какой-то капризной ноткой в голосе. — Ведь вам же, наверное, тоже интересно увидеть коллегу по перу.

— Очень интересно, — сказал я и повесил трубку.

И вот на другой день случайно я рассказал эту историю одному из работников ВОКСа.

Тот спросил, не помню ли я фамилии этого иностранца. Я назвал фамилию. Тот, порывшись в своих бумагах, сказал:

— О, это известный банкир. Он вчера со своей группой отбыл из Ленинграда. У него большой банкирский дом в Н.

Я, как говорится, почувствовал в груди стеснение и переспросил:

— Вы не путаете ли? Он назвал себя писателем, а не банкиром.

— Очень возможно — он и нам сказал, что он писатель и недавно выпустил книгу стихов. Но, тем не менее, он, кроме того, крупный банкир и финансовый воротила.

Тогда мне стало многое ясно. Мне стали понятны и эти телефонные вызовы. И пренебрежительный, развязный и самоуверенный тон человека, знающего себе цену и не желающего слушать возражений.

Он хотел увидеть меня между обедом и музеем. И в этом было что-то удивительно досадное, неуважительное, это была та грубая, оскорбительная самоуверенность купца и хозяина от которой обычно гаснет и затухает искусство.

И вот я стал уже позабывать эту дурацкую историю. Но на этих днях я случайно встретился с одним его соотечественником. Это был иностранный специалист, инженер, работающий на одном из ленинградских заводов.

Я рассказал ему эту историю.

Он засмеялся и сказал:

— А что вас удивляет в этом? Его отношение? Это было исключительно хорошее отношение. Видите, писатели, художники, артисты, за исключением крупных знаменитостей, — это у нас богема, это даже не приглашается в лучшие финансовые дома. А если вас приглашают, то это уже карьера. Но если вас приглашает такой банкир, такое влиятельное лицо, как вы мне сказали, то это уже блестящая карьера. И не в его привычках выслушивать отказ. Вы ему отказали в своем отечестве. У вас на этот счет вообще спутаны понятия. И, например, артисты у вас чуть не

первые люди. А у нас это мелкота, богема... А попробовали бы вы у нас отказаться к нему приехать.

— И что тогда?

— Тогда? Прощай, карьера... Я помню, у нас в один дом приглашен был литератор. И он, представьте себе, не встал со стула, когда с ним поздоровалось одно влиятельное лицо, один банкир, богач. Ого! Он впоследствии не нашел-таки ни одного издателя, который захотел бы печатать его труды... Вы не знаете соотношения сил. Это богема, и финансовые тузы при встрече им подадут два пальца.

— Значит, если бы я отказался к нему приехать...

Иностраннный специалист многозначительно свистнул и, закрыв глаза, сказал:

— Тогда за вашу карьеру, месье, я не дал бы ломаной монеты.

После этого случая я понял, что моя карьера в его стране окончательно испорчена.

Ну, как-нибудь, чорт возьми, переживу.

УСЕРДИЕ НЕ ПО РАЗУМУ

Весьма забавная история произошла у нас в Ленинградской области.

Житель деревни «Поселок», некто Яков Федоров, поймал ручного голубя.

Вот как это было. Он открыл дверь на улицу, и вдруг в избу влетает, представьте себе, голубь. Обыкновенный голубь, но ручной, и на лапке у него находится медное колечко.

Федоров, не особенный любитель голубиноного дела, довольно равнодушно отнесся к этой птице. Он, конечно, удивился, что голубь такой ручной. Но, не зная, к чему бы его приспособить, взял и запер его в сарай вместе со своими курами.

Но вдруг об этом деле узнает председатель сельсовета Егоров.

Он моментально бежит к этому жителю и ему

говорит, дескать, как это можно. Голубь, быть может, почтовый или он переписку из-за границы носит. Я, говорит, тебя в таком случае не поздравляю, если это такой голубь. А ты его еще маринуешь две недели со своими курами.

Дядя Яша, конечно, испугался и моментально отдал председателю эту птицу.

Председатель говорит:

— Этого голубя я сейчас отправлю в район к уполномоченному. Мало ли какой это голубь.

И с этими словами он назначает местную престарелую жительницу Иванову везти в район этого голубя.

Он ей говорит:

— Вот тебе и птица. Вези ее пулей в район. И там передай ее уполномоченному с этой моей запиской. Но если голубь у тебя улетит, то я не знаю, что я с тобой сделаю.

А дело было, между прочим, поздно вечером. И район находился в тридцати километрах. Так что наша престарелая жительница не захотела ночью ехать. Она сказала:

— Я, товарищ, ехать не отказываюсь. Я дисциплину всецело понимаю. И сознаю, что голубь этот особенный. Но только ночью я буду страшиться его потерять. И я поеду лучше завтра утром, а сейчас я ехать отказываюсь.

Председатель говорит:

— Что это за голубь — я тебе объяснять не буду, я, говорит, еще сам не осознаю его назначения, но если ты моментально с ним не поедешь, то я тебя, безумная старуха, оштрафую на сто рублей.

Иванова говорит:

— Вы, говорит, меня такой суммой не пугайте. Я такую сумму никогда не видела и все равно не смогу вам ее заплатить.

Председатель говорит:

— Тогда я конфискую твоё барахло.

И действительно, на другой день он наложил на

старуху штраф в сто рублей. А так как денег у старухи не было, то он взял у нее для продажи холст, несколько полотенцев, одеяло, две юбки, кофту и еще кое-какое хозяйственное имущество. И эти вещи он передал в кооператив на предмет продажи.

А когда вещи были проданы, старуха Иванова рассердилась и написала об этом факте письмо к своим московским родственникам.

И мы не знаем, как это случилось, но только письмо это попало к товарищу М. И. Калинин. И товарищ Калинин телеграфно отдал распоряжение о возврате отобранного имущества.

А так как вещи были уже проданы, то дело перешло в суд. И нарсуд постановил возвратить вещи в трехдневный срок. В противном случае возбудить уголовное дело.

Нам, к сожалению, неизвестно, как это произошло, но только вещи действительно были возвращены. Наверное, мы так думаем, жители, купившие старухины вещи, являлись к председателю, и он им, наверное, выдавал деньги, а они возвращали ему вещи. А может быть, и он сам ходил по избам и увещевал. В общем, наверное, беспокойства у него было много.

Так или иначе, но Дарья Ивановна получила вещи назад, кроме, кажется, какого-то половичка, который затерялся в суматохе или был продан в слишком отдаленную местность.

Так что уголовного дела не возникло, и Егоров получил только выговор.

В довершение всего голубь при ближайшем с ним ознакомлении оказался просто домашним голубем, которого выпустили полетать ребята из соседней деревни. Причем эти же ребята для потехи набили медное колечко на лапку этого голубя, чем и ввели в заблуждение председателя, который просто даже заадминистрировался от всех возникших фантазий по поводу голубя.

Конечно, он поступил правильно, что отправил

голубя в район для осмотра, поскольку он сам не решился определить, что это за птица, но все остальное было уже слишком. И к выговору, который он получил, ему бы следовало добавить еще, пожалуй, некоторое предупреждение. Тем более, что он, говорят, то и дело штрафует по всякому поводу местное население.

В общем справедливость и законность восторжествовали. Председатель получил выговор, старухе Ивановой вернули вещи, а дядя Яша, поймавший голубя, отделался, так сказать, легким испугом. Так что все в порядке, и, казалось бы, и писать нечего.

Но дело осложнялось тем, что этот чортов голубь после осмотра улетел. Не найдя в этом голубе ничего особенного, его, естественно, оставили без особого присмотра, и он, так сказать, сразу «дал тигалья» — улетел в неизвестном направлении.

Так что мы теперь имеем небольшую душевную тревогу, как бы он не залетел сдуру еще куда-нибудь в населенное место и не наделал бы там снова каких-нибудь происшествий. Мало ли тоже, — наскочит на какого-нибудь строгого человека, который опять-таки возьмет и заадминистрируется.

Вот благодаря отлету голубя мы и решили опубликовать эту историю.

Дарье Ивановой передаем наш сердечный привет. Выражаем уверенность, что ее половичок найдется. В крайнем случае надо возместить его стоимость.

Дяде Яше также посылаем привет и поздравляем за героическую поимку голубя. Что же касается до Егорова, то пусть он всякий раз ловит голубей, у которых на лапке есть кольцо. Тем более, такой голубь действительно может оказаться пущенным, например, научной экспедицией. И тогда, может быть, Егорову напечатают благодарность, вот, дескать, поймал то, чего надо. Но при поимке таких голубей пусть он не теряет присутствия духа и не поступает столь некрасиво, как, например, в данном случае.

А что голубь улетел — это в высшей степени жалко. Он еще может натворить что-нибудь вроде этого.

СПИ СКОРЕЙ

Откровенно говоря, я не люблю путешествовать. Меня останавливает вопрос, где переночевать.

Из ста случаев мне только два раза удалось в гостинице комнату зацепить.

И то в последний раз я получил номер отчасти случайно. Они меня не за того приняли. Потом-то на другой день они, конечно, спохватились и предложили очистить помещение, но я и сам уехал.

А сначала любезность их меня удивила.

Портье, нюхая розу, сказал:

— Только осмелюсь вам сказать, ваш номер будет с дефектом. Там у вас окно разбито. И если, допустим, ночью кошка в ваш номер прыгнет, так вы не пугайтесь.

Я говорю:

— А зачем же кошка будет ко мне прыгать? Вы меня удивляете.

Портье говорит:

— Видите, там у нас в акурат на уровне окна имеется помойная яма, так что животные не разбираются, где чего есть, а прыгают, думая, что это то же самое.

Конечно, когда я вошел в номер, я всецело понял психологию кошек. Они смело могли не разобраться в действительности.

Вообще говоря, номер «люкс» мне не нужен, но эта грязная каморка с колченогим стулом меня немного покорибила.

Главное, меня удивило, что в комнате была лужа.

Я стал звать кого-нибудь, чтоб это убрать, но никто не пришел. Тогда я разговорился с портье.

Он говорит:

— Если у вас имеется лужа, то, наверно, я так

думаю, кто-нибудь там воду опрокинул. Сегодня у меня нет свободного персонала, но завтра я велю эту лужу вытереть, тем более, что к утру она, наверно, и сама высохнет. Климат у нас теплый.

Я говорю:

— Потом номер уж очень жуткий. Темно, и из мебели всего стул, кровать и какой-то ящик. Конечно, говорю, разные бывают гостиницы. Недавно, говорю, в Донбассе, а именно в Константиновке, я вместо одеяла покрывался скатертью...

— До скатертей мы не доходим, — сказал портье, — но вместо пододеяльников у нас действительно положены короткие отрезы. А что касается темноты, то, конечно, вам не узоры писать. Спите скорей, гражданин, и не тревожьте администрацию своей излишней болтовней.

Я не стал с ним спорить, чтобы не разгуляться, и, придя в номер, разделся и юркнул в кровать.

Но в первую минуту я даже не понял, что со мной. Я, как на горке, съехал вниз.

Я хотел приподняться, чтоб посмотреть, какая это кровать, что на ней так удобно съезжать. Но тут запутался ногами в простыне, в которой были дырки. Выпутавшись из них, я зажег свет и осмотрел, на чем я лежу.

Оказалось, что начиная от изголовья продавленная сетка кровати устремлялась книзу, так что спящему человеку действительно не было возможности удерживаться в горизонтальном положении.

Тогда я переложил подушку в ноги, а под нее сунул свой чемодан и таким образом лег наоборот.

Но тут оказалось, что я не лежу, а сижу.

Тогда я в середину сунул пальто и портфель. И лег на это сооружение с намерением, как говорится, задать храповицкого.

И вот я уже стал дремать, как вдруг меня начали кусать клопы.

Нет, два-три клопа меня бы не испугали, но тут,

как говорится, был громадный военный отряд, действующий совместно с прыгающей кавалерией.

Я поддался панике, но потом повел планомерную борьбу.

Но когда борьба была в полном разгаре, вдруг неожиданно потух свет.

В полной беззащитности я начал нервно ходить по номеру, ахая и причитая, как вдруг раздался стук в дощатую стену, и грубый женский голос произнес:

— Что вы тут, чорт возьми, вертитесь в комнате, как ненормальный!

В первую минуту я остолбенел, но потом у меня с соседкой началась словесная баталия, которую даже совестно передать, поскольку, сгоряча и нервно настроенные, мы наговорили друг другу кучу самых архиобидных слов.

— Если я с вами, чорт возьми, когда-нибудь встречу, — сказала мне под конец соседка, — то я вам непременно дам плюху, имейте это в виду.

Мне прямо до слез хотелось ей на это что-нибудь возразить, но я благоразумно смолчал и только швырнул в ее стену ящик, чтобы она подумала, что я в нее стреляю. После этого она замолчала.

А я, отодвинув от стены постель, взял графин с водой и сделал вокруг кровати водяное кольцо, чтобы ко мне не прилезли посторонние клопы. После чего я снова лег, предоставив свое, как говорится, брэнное тело на волю Божию.

Под адские укусы я уже стал засыпать, как вдруг за стеной раздался ужасный женский крик.

Я закричал соседке:

— Если вы нарочно завизжали, чтоб меня разбудить, то завтра вы мне ответите за свой хулиганский поступок.

Тут у нас снова поднялся словесный бой, из которого выяснилось, что к ней в кровать прыгнула со двора кошка, и через это она испугалась.

Дурак портье, наверно, перепутал. Он мне обещал кошку, но у меня окно было целое, а у нее нет.

В общем я опять задремал. Но, настроенный нервно, я то и дело вздрагивал. А при вздрагивании всякий раз меня будила сетка от кровати, которая издавала зловещий звон, визжание и скрежет.

Начиналось утро. Я снял тюфяк с кровати и положил его на пол. Полное блаженство охватило меня, когда я лег на это славное ложе.

«Спи скорей, твоя подушка нужна другому» — сказал я сам себе, вспомнив, что такой плакат висел в прошлом году в Доме крестьянина в городе Феодосии.

В эту минуту во дворе раздался визг электрической пилы.

В общем, ослабевший и зеленый, я покидал мою злосчастную гостиницу.

Я решил, что моей ноги не будет в этом отеле и в этом городе. Но судьба решила иначе.

В поезде, отъехав сто километров, я обнаружил, что мне дали не мой паспорт. А так как это был дамский паспорт, то ехать дальше не представлялось возможности.

На другой день я вернулся в гостиницу.

Конечно, мне было адски неловко встретиться с моей соседкой, которая тоже, оказывается, уехала и теперь вернулась с моим паспортом.

Это оказалась славная девушка, инструкторша по плаванию. И мы с ней потом мило познакомились и позабыли о ночной драме. Так что пребывание в гостинице все же имело известные плюсы. И в этом смысле путешествия иной раз приносят забавные встречи.

ВЕСЕЛАЯ ИГРА

Давеча я кушал в ресторане и после того заглянул в бильярдную. Хотелось посмотреть, как там, как говорится, шарик катается.

Слов нет — игра интересная. Она занятная и отвлекает человека от всевозможных несчастий. Некоторые даже находят, что бильярдная игра развивает мужество, глазомер и натиск. А врачи утверждают, что эта игра для неуравновешенных мужчин крайне полезна.

Не знаю. Не думаю. Другой неуравновешенный мужчина, играя на бильярде, до того нальется пивом, что после игры еле домой ползет. Так что я сомневаюсь, чтоб это для нервных и расстроенных было полезно. А что это глазомер усиливает, то как сказать. Тут одному с нашего дома партнер, прицеливаясь, глаза кием подбил. И хотя тот не ослеп, но все-таки слегка окривел. Вот вам и развитие глазомера. И если ему теперь по другому глазу пройдутся, то человек и вовсе глазомера лишится.

Так что в смысле пользы это уж, как говорится, бабушкины сказки.

Но игра, конечно, забавная. Особенно когда «на интерес» играют — очень увлекательно смотреть.

Конечно, на деньги сейчас играют редко. Но зато что-нибудь придумывают оригинальное. Некоторые заставляют проигравшегося под бильярд лезть. Другие заставляют поставить пару пива. Или велют заплатить за игру.

А когда я на этот раз зашел в бильярдную, то увидел очень смехотворную картину.

Один выигравший велел своему усатому партнеру со всеми шарами под бильярдом пролезть. Он записал ему шары в карман, в каждую руку дал по шару и вдобавок один шар подсунул под подбородок. И в таком виде проигравшийся под общий смех прополз под бильярдом.

После новой партии выигравший снова нагрузил усатого шарами и вдобавок велел ему взять в зубы кий.

И тот, бедняга, снова полез под гомерический хохот собравшихся.

Для новой партии они уж и не знали, что придумать.

Усатый говорит:

— Давайте что-нибудь полегче, а то вы меня и без того загнали.

А у него, действительно, даже усы книзу повисли, до того он задергался.

Выигравший говорит:

— Зато, дурак, я тебя великолепно научу на бильярде играть благодаря таким штрафам.

А с выигравшим был еще его приятель. Тот говорит:

— Я придумал. Если он проиграет, давайте так: пускай он лезет под бильярд нагруженный шарами, а мы ему к ноге вдобавок привяжем ящик с пивом. Пускай он в таком виде пролезет.

Выигравший, засмеявшись, говорит:

— Bravo! Вот это будет номер!

Усатый обиженно говорит:

— Если ящик будет с пивом, то я играть не буду. С пустым ящиком мне и то трудно будет лезть.

В общем он проиграл, и тут под общий смех усатого снова нагрузили шарами, в зубы дали ему кий и к ноге привязали ящик. Вдобавок друг выигравшего начал пихать усатого кием, чтоб тот быстрее проходил свой маршрут под бильярдом.

Выигравший до того хохотал, что упал на стул и хрюкал от изнеможения.

Усатый вылез из-под бильярда сам не свой. Он осоловело поглядел на всех собравшихся и даже некоторое время не двигался. Потом он выгрузил из карманов шары и стал отвязывать от ноги ящик с пивом, говоря, что он больше не играет.

У выигравшего текли слезы от смеха. Он сказал:

— Ну, голубчик Егоров, сыграем еще одну партию. Я еще забавную штуку придумал.

Тот говорит:

— Ну, что вы еще придумали?

Выигравший, давясь от смеха, говорит:

— Давай, Егоров, сыграем на твои усы. Мне твои пушистые усы давно противны. Если выиграю я, то отрежу тебе усы. Идет?

Усатый говорит:

— Нет, на усы я играть не буду, или же дайте мне сорок очков вперед.

В общем он опять проиграл. И никто не успел опомниться, как выигравший схватил столовый нож и начал отпиливать пушистый ус у своего незадачливого партнера.

В зале помирили от смеха.

Вдруг один из присутствующих подходит к выигравшему и так ему говорит:

— Наверно, ваш партнер дурак, что он соглашается на такие штрафы. А вы этим пользуетесь и насмехаетесь над человеком в общественном месте.

Друг выигравшего говорит:

— А ваше какое собачье дело? Ведь он добровольно соглашается.

Выигравший говорит своему партнеру томным голосом:

— Егоров, подойди сюда. Ответ общественности, что ты добровольно соглашался на все штрафы.

Партнер, придерживая рукой полуотрезанный ус, говорит:

— Известно, добровольно, Иван Борисович.

Выигравший говорит, обращаясь к публике:

— Другой там заставляет шофера ждать на морозе три часа. А я к людям гуманно подхожу. Это шофер с нашего учреждения, и я его завсегда в тепло беру. Я к нему не свысока отношусь, а я с ним товарищески на бильярде играю. Учю его и маленько наказываю. И что теперь ко мне придираются — я прямо не пойму.

Шофер говорит:

— Может, тут из публики есть парикмахер. Просьба подравнять мне усы.

Из толпы выходит один человек и говорит, вынимая из кармана ножницы:

— Сердечно рад подравнять ваши усики. Если вы желаете, я вам сделаю их, как у Чарли Чаплина.

Пока парикмахер возился с шофером, я подошел к выигравшему и сказал ему:

— Я не знал, что это ваш шофер. Я думал, что это ваш приятель. Я не позволил бы вам устраивать такие номера.

Выигравший, немного струхнув, говорит:

— А вы что за птица?

Я говорю:

— Я про вас статью напишу.

Выигравший, оробев, говорит:

— А я вам свою фамилию не скажу.

Я говорю:

— Я только факт опишу и добавлю, что это был довольно плотный рыжеватый мужчина, с именем Иван Борисович. Конечно, этот номер вам, может быть, и пройдет, но если и пройдет, то пусть ваша гнилая душа передернется перед напечатанными строчками.

Друг выигравшего, услышав насчет статьи, ментально смотал удочки и исчез из помещения.

Выигравший долго хорохорился и пил пиво, крича, что он плюет на всех.

Шоферу пообрезали усики, и он стал несколько моложе и красивее. Так что я даже решил писать фельетон не очень свирепого характера.

И, придя домой, как видите, написал. И теперь вы его читаете и, наверно, удивляетесь, что бывают такие горячие игроки и встречаются такие малосимпатичные рыжеватые мужчины.

МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

Вот какой случай произошел в Арзамасе. Там у них, как сейчас выясняется, имеется войлочная фабрика.

Что именно производит эта фабрика, я не берусь сказать. Но надо думать, что не войлочные стельки к сапогам, а что-нибудь в высшей степени исключительное, полезное для всех в гражданском смысле. Может быть, там фетровые валенки и так далее.

Но не в этом суть.

Вот что произошло на этой фабрике.

Во время обеденного перерыва пять девушек, собравшись вместе, начали шутить и болтать всякую чушь и ерунду. Ну, естественно, — молодые девушки. Они только что поработали. Теперь у них перерыв. И, конечно, им охота немного пошутить, посмеяться и пококотничать.

Тем более, это не профессора какие-нибудь там, сухари и педанты, интересующиеся только, может быть, интегралами и так далее. А попросту это самые обыкновенные девушки в возрасте от восемнадцати до двадцати лет.

Так что и разговор у них был скорее забавного содержания, чем имеющий научную подкладку.

Короче говоря, они беседовали о том, кто кому нравится и кто за кого замуж стремится.

И ничего тут плохого нет. Отчего об этом не поговорить? Тем более обеденный перерыв. И тем более был чудный весенний день. Конец февраля. Первое, так сказать, пробуждение природы. Солнце. Воздух этакий сумасшедший. Птички чирик-чирик. На душе весело и забавно.

И вот сидят эти пять девушек и славно между собой беседуют.

А одна из этих девушек была, как теперь говорится, особенно заводная.

И когда речь зашла насчет замужества, она взя-

ла бумагу и карандаш и, весело смеясь, сказала всем собравшимся, что я, дескать, решила запротоколировать все, об чем мы тут с вами беседуем. И кто кому нравится, я сейчас в протокол запишу, и, может быть, из этого гаданья у нас что-нибудь более реальное получится.

Тут все начали смеяться и хохотать. И начали шутить с полным вдохновением.

И тут они под горячую руку возьми и сочини забавный протокол. Как говорится: слушали — постановили. Этой постановили выйти замуж за этого. А этот обязан сделать предложение этой. И так далее... Все в этом духе.

Ну, шутка. Баловство. Пустяки во всех отношениях. Ну, дурацкое дело, не стоящее внимания.

Собственно, мы даже не знаем, каким образом этот забавный протокол попал к начальству. Скорей всего какой-нибудь там типус, страдающий сахарной болезнью и пучеглазием, подложил эту бумажку на стол директору. А может быть, он и лично, на своих полусогнутых, явился в кабинет директора и, вздохнувши, передал ему протокол, — дескать, вот, взгляните, чего наши девицы выкомаривают.

Директор Кистанов, сделав постное лицо, зачитал протокол и пришел в неопишное расстройство.

Двух девиц он уволил с фабрики, как буквально сказано в приказе: «за разлагательную работу, выразившуюся в организации официальной секции с наличием протокола, ставившую себе целью обработать парней в мелкобуржуазном духе».

Одной девице он сделал строгий выговор с предупреждением. А еще двум — поставил на вид.

Может быть, те и поплакали, не знаем, но только, поплакавши, решили подать протест о неправильном увольнении.

И вот тут началась канитель и волынка, которая до сего времени продолжается.

В общем обиженные подали заявление в конфликтную комиссию.

Фабричная конфликтная комиссия (РКК) под председательством того же самого директора подтвердила увольнение.

Тогда девушки подали заявление в союз.

Там отнеслись внимательно к женскому горю.

Инспектор ЦК союза шерстяников вынес такое совершенно правильное постановление:

«Факт составления протокола, в котором было прикрепление девушек к парням с целью выйти за них замуж, не может служить поводом для их увольнения. А поэтому решение РКК, как неправильное, отменить».

Постановление это, однако, не повлияло на черствую душу директора.

И тогда инспектор посоветовал девушкам подать в народный суд.

Народный суд постановил отменить увольнение и уплатить уволенным за вынужденный прогул.

Казалось бы, все сложилось хорошо и отлично. И можно, казалось бы, снова начать женские разговоры о любви и браке. Но не тут-то было.

Директор, получив извещение от народного судьи, решил заняться домашним воспитанием молодых особ.

И вот, имея самые благие намерения, он пишет в приказе об этих злосчастных девушках нижеследующее:

«Дело, которое они организовали, не сумело причинить вреда. Но товарищи В. и Г. как организаторы этой никому ненужной группы по обработке парней получили моральное наказание. Все это должно в дальнейшем научить тт. В. и Г. как организаторов отделять полезное от вредного, ненужного дела»...

Может быть, когда-нибудь в дальнейшем народные суды будут к чему-нибудь приговаривать за по-

добный стиль и за такие обороты речи, но пока с этим приходится мириться.

Далее в приказе говорится:

«Принимая во внимание, что В. и Г. уже морально и общественно наказаны, отменить приказ в части снятия их с работы, оставив прежнюю формулировку в определении поступка».

Короче говоря, приказ, как можно видеть, оставлял за девушками унижительную и дурацкую кличку: «организаторов секции по обработке парней».

И как девушки ни бились и как они ни протестовали, ничего у них не вышло.

Мы не сомневаемся, что ЦК союза придет на помощь и доброе имя пяти девушек (которым всем вместе девяносто пять лет) будет восстановлено в прежнем своем блеске. Но нас тревожит, что дело это крайне затянулось.

Шесть месяцев тянется подобная канитель. И навряд ли это благоприятно отражается на здоровье и наружности всех участников дела.

Да и сам директор, наверное, слинял и окончательно перестал иметь успех у женщин.

А скорей всего он даже и никогда успеха не имел. И это отчасти чувствуется по его характеру.

В общем жало нашей конкретной сатиры направлено в акурат на всякого сорта сухарей и педантов, которые не любят и не понимают смеха и веселья.

Ну, пусть бы девушки посмеялись. Подумаешь, какая беда! Ну, что могло из этого получиться? Ровно ничего.

Главное, забавно видеть, что он заступился за парней.

Как будто те бедные-несчастные, и вот сейчас их обработают «в мелкобуржуазном духе». А те, небось, как говорится, и сами с усами. И обошлись бы без самосильной поддержки директора.

Пустое и глупое дело. А сколько из-за него криков, шума и огорчений.

ИСТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

За последнее время пламенные дела творятся повсюду.

Летчики ставят мировые рекорды. Строительство расширяется. Торговля процветает. Одна группа граждан неожиданно вдруг поднялась на гору Казбек. И чуть ли даже не достигла одной из ее славных вершин. Другая группа граждан плывет, представьте себе, на яликах в Казань. Третьи, наоборот, сидят дома и, кто чем может, приносят посильную пользу своим личным присутствием.

Многие, вдобавок, исключительно выросли. Другие стремятся культурно провести время. Много купаются. И так далее.

Так что при таком обороте дела как-то оно даже не хочется видеть что-нибудь недостойное, какое-нибудь там мелкое арапство или жульничество. Как-то на светлом фоне досадно это наблюдать и с этим рядом находиться.

Но в том месяце, производя обмен квартир, мы как раз столкнулись с этим. И теперь желаем в печати осветить для поучения остальных граждан, и чтоб другим было неповадно заниматься очковтирательством.

Те, которые менялись с нами комнатой, прикинулись сначала идейными людьми.

— Обманывать вас, — сказали они, — не входит в наше намерение. Мы хотим предупредить вас, что наша комната находится в квартире, под которой расположен тир. И там стреляют в цель, благодаря чему вы можете иной раз услышать звуки выстрелов. Но к этому не надо прислушиваться, и тогда в той квартире жить будет отчасти можно.

Мы с женой были растроганы честностью этих людей. И мы тоже откровенно им сказали:

— Что касается нашей квартиры, то дефекты у нас, по сравнению с вашими, невелики. И мы даже

удивляемся, чего мы ее меняем. Это дивная и теплая квартира, под которой в течение пяти лет находилась пекарня. Так что наши жильцы отвыкли даже покупать дрова. Но лет девять назад пекарня эта закрылась, и туда въехал кустарь. И он там теперь чинит примуса и детские салазки.

Которые с нами менялись нам сказали:

— Значит, выходит, что под вами слесарная мастерская. Уж, наверно, там стоит адский шум и грохот.

А честно говоря, грохот у нас стоял действительно умопомрачительный. И, главное, сильно гарью пахло. Так что моя супруга как южанка находилась почти все время в полуобморочном состоянии. И врач категорически запретил ей тут жить. И через это мы решили поменять нашу комнату.

Но теперь, когда речь зашла начистоту, мы откровенно сознались, что шум у нас, конечно, есть, но зато и у вас стрельба — тоже, как говорится, чего-нибудь да стоит.

Который с нами менялся так сказал:

— Да, но, простите, что я за дурак — переезжать сюда грохот слушать. Уж лучше я в таком случае буду слушать стрельбу. Все-таки она укрепляет нашу мощь и вырабатывает глазомер. А что я буду, простите, слушать у вас? Примуса и кастрюльки. Ну, нет, знаете ли, без доплаты я сюда не ездох.

Короче говоря, мы ему немного приплатили, и он с нами поменялся. Его соблазнило, что тут у нас детей не было. Он к детскому крику относился пассивно. Он не любил это. Но, конечно, он не учел, что тут у нас в квартире были уже три дамы под сомнением. Из которых у одной на этих днях должно что-нибудь получиться. Но говорить ему об этом не хотелось. Зачем же расстраивать человека заранее?

Короче говоря, мы с ним поменялись апартаментами. И вскоре убедились, что имели дело с арапом.

Кроме тира, он нам подсунул вундеркинда. Это

был подросток, который за свою игру на скрипке получил похвальный отзыв на музыкальной олимпиаде, благодаря чему этот малолетний артист безостановочно пикировал на своем инструменте, так что у жены и тут началось полуобморочное состояние.

Кроме того, тут в квартире жил ненормальный. Он тут жил с братом и с матерью.

Правда, это был сравнительно тихий ненормальный. И даже первое время было забавно за ним наблюдать. Но все-таки, как говорится, зачем же нам такое избранное общество? Это неприятно и ночью могло пугать.

И вдобавок, когда у нас созрело решение снова поменяться комнатой, это наличие сумасшедшего сыграло отрицательную роль в процессе обмена. И мы даже не могли поменяться, поскольку все боялись сюда переезжать. А когда мы менялись, то этот ненормальный жил на даче, и мы понятия о нем не имели.

А теперь он на каждый звонок выбегал в коридор в нижнем белье, и с ним ничего нельзя было поделать.

Мы с женой первое время закрывали его в уборную. Но это не достигало цели, поскольку те, которые с нами менялись, всякий раз, как нарочно, заглядывали и туда, чтобы увидеть, как и что у нас там есть. А тот, естественно, выбегал оттуда все равно как сумасшедший. И, конечно, пугал пришедших до того, что те хлопались в обморок.

Так что мы так и не могли пока что поменяться. И даже хотели в суд подать на того, который нам все это устроил и сам занял наше помещение. Но нас то успокоило, что он, может быть, вообще останется без комнаты. Поскольку там, кажется, весь дом будут срывать, чтобы расширить улицу. Это старый дом, и он слишком выпирал среди других домов.

Его хотели, как в Америке, немного пододвинуть назад, метров на пять. И уже начали в подвале что-то

копать, чтоб сообразить, куда, в крайнем случае, поставить машины. Но там еще до прибытия машин у них получилась какая-то трещина. И ввиду дряхлости этого дома, его решили вообще к чорту срыть, чтоб построить что-нибудь более достойное эпохи.

Так что этот жулик, подсунувший нам свое логово, теперь и сам поставлен в затруднительное положение.

Он думал, что своим обманом он нас поймал, как говорится, на пушку. Но не тут-то было. Обманом не проживешь. И теперь это ему и всем поучение.

ПЬЯНЫЙ ЧЕЛОВЕК

Люди пьют по самым разнообразным причинам.

Например, мы знали одного слесаря, который записал от удивительной причины. У него, если так можно сказать, был разрыв между его гордым характером и практикой жизни.

То есть, он хотел, чтоб его все время хвалили, награждали орденами, грамотой, часами и так далее.

А этого в его жизни как-раз не было.

Действительно, на работе его однажды похвалили и сказали: вы — ударник. Но это его мало устраивало. И гордая его натура требовала чего-нибудь особенного.

Тогда он в мае этого года прыгнул с самолета на парашюте. Надеясь почему-то, что за это ему дадут орден Красной звезды. Но правительство на этот раз почему-то равнодушно отнеслось к его прыжку. И он ничего не получил. Только в газете мелким шрифтом было отмечено без указания фамилии, что такого-то числа прыгнуло с самолета несколько служащих и рабочих.

Вдобавок он не так удачно прыгнул. Вернее, он прыгнул хорошо, но в последний момент, перед тем как приземлиться, его ветром дунуло на забор колхозного огорода. Так что он немножко побился и поцарапался.

Но, конечно, его чудно лечили, и он вскоре по-

правился. И после поправки он выехал на дачу в Поповку к своим родным. И там, будучи на даче, он стал шляться по шпалам, надеясь найти какой-нибудь лопнувший рельс с тем, чтобы его за это наградили. Но он ничего такого путного не нашел и, вернувшись в Ленинград, запил.

И сейчас июль. И он все пьет. И говорит, что его проза жизни не удовлетворяет.

Но, наверно, он вскоре очухается, потому что ему на заводе сказали: мы вас уволим, если это будет продолжаться.

В общем это был довольно забавный мотив, по которому человек запил.

А по большей части люди склоняются к вину по более простым причинам. Ну там, молоденькая жена бросила. Комнаты нету. Начальник на службе очень ядовитый — придирается. Жалованье не удовлетворяет. Здоровье плохое — надо подхлестнуть себя. Вот все больше такие простенькие мотивы наблюдаются среди алкоголиков.

Но человек, о котором мы собираемся вам сейчас рассказать, ни под один из этих мотивов не подходит.

Он тоже слесарь. У него две комнаты есть. Жена. Дочка. Порядочное жалованье. Приличное здоровье. И как будто все на свете... Тем не менее человек пьет вот уже несколько лет.

И от этого он стал терять человеческий облик.

А он слесарь прекрасной квалификации. Но его уволили за прогулы. И через это он еще больше погряз в тине жизни. А был в свое время партиец. И вот как он опустился.

Он даже за паспортом не пошел на завод. И прекратил за комнату платить. И вообще прекратил все платежи по всем своим обязательствам.

А его жена, видя, что он неисправим, еще раньше с ним разошлась. И одну комнату на себя перевела. И там жила со своей дочуркой.

И она никаких алиментов со своего пьяного супруга не требовала. Только просила — оставьте ее в покое.

Но он ее в покое не оставлял и часто приходил в ее комнату скандалить и делал разные угрозы и пугал.

И вот, наконец, его за неплатеж выселяют из комнаты.

Но так как ему выехать некуда, то берут его вещи, переставляют в коридор и комнату опечатывают.

Человек начинает жить в коридоре.

От этого он звереет. Днем и ночью вламывается в комнату к бывшей жене и там скандалит.

Но его бывшая жена не идет на него жаловаться. Наверно, она его жалеет, или уж я не знаю что. И, наконец, в это дело вступаются посторонние окружающие люди. Обращаются в редакцию и просят пособить.

Они говорят: вот какие происходят ненормальности, вот какие сцены наблюдает девочка, и вот она на чем воспитывается.

Конечно, надо подать срочную помощь и сделать так, чтобы человек оставил свои угрозы и оставил бы в покое свою бывшую жену и дочь. Все это, конечно, надо срочно сделать. Но дело оборачивается другой стороной...

Ну, хорошо. Дело это, предположим, можно квалифицировать как квартирное хулиганство или что-нибудь вроде этого, и кончен бал.

Но является другой вопрос. А как же до этого дошел человек? Как же допустили его до такого падения? Ведь он прекрасный слесарь. Рабочий. Партиец. Ведь он когда-нибудь горел на работе. Ведь он когда-нибудь стремился к чему-нибудь. Мечтал о чем-нибудь. И как же так получилось? Кто же его допустил до такой пропасти?

Ведь он же не родился в 35-м году. Ведь у него

были друзья, товарищи, заводская общественность. Партийный и заводский комитеты, которые должны же поинтересоваться человеком, прежде чем его уволить.

Ведь это слишком просто и легко — выкинуть из комнаты, отдать под суд за квартирное хулиганство, и точка. Был человек, и прекратили его. Списали, так сказать, к чортовой матери.

А было ли сделано хоть что-нибудь, чтоб его спасти?

И вот нам думается, что нет. При увольнении никто не вызвал его жену, никто не предложил ему лечиться. А ведь можно было бы положить его в больницу, провести курс лечения и вернуть человека к жизни.

Но этого не было.

А на запрос редакции дать характеристику уволенному рабочему председатель завкома ответил, что он его не знает и что позже это выяснит.

Повидимому, мы правы. И, так сказать, «колесо истории» равнодушно прошло мимо пьяного человека.

И в этом можно видеть безразличие к человеческой судьбе, невнимательное и холодное отношение и тот поверхностный взгляд, с которым легче и спокойней живется на свете. И то поверхностное мнение, которое произносит готовые штампованные слова: пьянство, прогулы, квартирное хулиганство, выкинуть, уволить и так далее. Но всякий раз за этим бывают какие-нибудь причины. И в другой раз кому-нибудь следует этим поинтересоваться, прежде чем наложить суровую резолюцию.

И это надо всякий раз сделать, чтобы не стать равнодушной бюрократической машиной. И вот, стало быть, если перевести с языка художественной литературы на язык отдела происшествий, то дело обстоит так. Ленинградский слесарь был уволен за прогулы с завода. За невнос квартирной платы суд выселил его из комнаты. Он живет теперь в коридоре. Он хо-

дит пьяный. Скандалит. Угрожает. Вламывается в комнату жены. И его поведение надо срочно изменить.

Но можно поведение изменить так, что человек еще больше упадет и еще больше разобьется, а можно сделать так, что этого не будет. И тут нужно подумать, как это сделать. Но это надо непременно сделать.

Иногда бывает достаточно по-хорошему поговорить. А если это не помогает, то хорошо действует перемена места. Можно послать на другую работу. В другой, наконец, город. И там за ним присмотреть. И, может, что-нибудь и получится.

В общем это дело надо в срочном порядке кому следует обдумать.

А ребенка нам очень жалко. Девочке одиннадцать лет. И вот что ей приходится видеть.

И мы просим не давать ей читать наш фельетон. Пусть у ней будет какое-нибудь другое детское представление об отце, который ну хотя бы уехал в командировку.

И это надо сделать не из сентиментальных чувств, а из педагогических целей.

А папу надо скорей одернуть.

ФИЗИКА

Вот какая история произошла в одной школе.

В седьмом классе на уроке физики неожиданно погасло электричество.

А надо сказать, что класс был в первом этаже. Окна выходили во двор. Так что без электричества по утрам всегда было полутемно и нельзя было заниматься.

Так вот, погас в классе свет. И погас очень, так сказать, странным образом. Сначала погасла одна лампочка, потом погасла другая, потом третья и, наконец, помигав, погасла четвертая.

Учитель, как человек опытный в делах подобного

рода (поскольку он — физик), захотел посмотреть, где именно произошла порча. Стал он смотреть лампочки, провода, выключатели — все в порядке. Посмотрел в коридоре пробки — тоже в полной сохранности. А свет не горит.

Вот тогда он удивился и велел позвать монтера. Побежали за монтером.

Вот приходит монтер, влезает на парту и начинает осматривать лампочки.

А урок, конечно, сорван. Полутемно. Работать нельзя. Физик сидит надутый у окна. Ребята шалят и так далее.

Вот монтер, осмотревши три лампочки, говорит: — Я, говорит, двадцать лет работаю по электричеству и никогда ничего подобного не видел, чтоб электричество не горело при полной исправности. Лампочки в порядке. Провода тем более. Все должно гореть, а оно не горит, и я через это так удивляюсь, что принужден сейчас побежать за стремянкой, поскольку я не могу подолгу стоять на парте, задравши вверх голову. У меня через это возникает головокружение.

Вот он побежал за стремянкой. А тем временем кончился урок и наступила перемена.

Тогда один из учеников, некто Петя Лебедев, встал на парту, начал что-то производить с лампочками. И вдруг они загорелись.

Вот приходит монтер со стремянкой. И, поглядев на лампочки, в высшей степени удивляется — зачем они опять горят.

И, пожав плечами, уходит.

Начинается немецкий урок. Только он начался — снова погасли лампочки. И точно таким же образом — в порядке живой очереди.

Тогда учительница немецкого языка велела позвать монтера.

А монтер, оказывается, никуда не уходил. А он

стоял в коридоре со своей стремянкой и что-то там делал.

Вот монтер моментально вбегает в класс. Подставляет к лампочке стремянку. И вскоре от удивления чуть не падает с этой своей стремянкой.

Он говорит:

— Только теперь я начинаю понимать, что тут случилось. Кто-то из вас к каждой лампочке подложил маленький клочок мокрой промакашки. А согласно нашему учению об электричестве, мокрая бумага есть хороший проводник. И благодаря этому свет горел. А поскольку эта мокрая бумажка высохла, то свет, как это ни удивительно, погас. И мы все были свидетелями полной темноты в классе. Вот так здорово. Я пойду сейчас директору скажу.

Вот приходит директор и с ним физик.

— Кто из вас, — говорит директор, — это сделал?

Ученик Петя Лебедев встает и говорит:

— Мы проходили сейчас электричество. Вот я и захотел произвести опыт.

Тут в классе раздается хохот.

Физик говорит:

— Опыт ему удался, но поведение для этого у него оказалось в высшей степени недопустимым.

Немка говорит:

— Поскольку у нас сейчас идет урок немецкого языка, то я бы всех просила для практики говорить по-немецки.

Физик говорит:

— В таком случае я лучше с директором сию минуту уйду. Поскольку я по-немецки не все кумекаю. Я только читаю, и то не все понимаю.

Директор говорит по-русски:

— В общем, говорит, поставьте Лебедеву «плохо» по поведению. А если еще раз что-нибудь подобное повторится, то я уволю Лебедева из моей школы... Продолжайте заниматься немецким языком,

Монтер говорит:

— А мы теперь будем подкованы на этот счет. И если в каком-нибудь классе погаснет свет, то нам причины будут вполне известны. До свиданья, молодые друзья.

Немка говорит монтеру:

— Ауфвидерзейн.

И тот уходит со своей стремянкой.

ГАЛОШИ

Конечно, потерять галошу в трамвае нетрудно. Особенно если поднапрут да сзади какой-нибудь архаровец на задник наступит, — вот вам и нет галоши.

Галошу потерять — прямо пустяки.

С меня галошу сняли в два счета. Можно сказать, ахнуть не успел.

В трамвай вошел, — обе галоши стояли на месте, как сейчас помню. Еще рукой потрогал, когда влезал, — тут ли.

А вышел из трамвая — гляжу: одна галоша здесь, а другой нету. Сапог — здесь. И носок, гляжу, здесь. И подштанники на месте. А одной галоши нету.

А за трамваем, конечно, не побежишь...

Снял галошу, которая осталась, завернул в газету и пошел так. «После работы, — думаю, — пушусь на розыски. Не пропадать же товару. Где-нибудь да раскопаю».

После работы пошел искать. Первым делом — посоветовался с одним знакомым вагоновожатым.

Тот, прямо, вот как меня обнадежил.

— Скажи, — говорит, — спасибо, что в трамвае потерял. Это тебе очень повезло, что ты именно в трамвае потерял. В другом общественном месте — не ручаюсь, а в трамвае потерять — святое дело. Такая у нас существует камера для потерянных вещей. Приходи и бери. Святое дело!

— Ну, — говорю, — спасибо. Прямо гора с плеч.

Главное, галоша почти что новенькая. Всего третий сезон ношу.

На другой день иду в камеру.

— Нельзя ли, — говорю, — братцы, галошу заполучить обратно? В трамвае сняли.

— Можно, — говорят. — Какая галоша?

— Галоша, — говорю, — обыкновенная какая. Размер — двенадцатый номер.

— У нас, — говорят, — двенадцатого номера, может, двенадцать тысяч. Расскажи приметы.

— Приметы, — говорю, — обыкновенно какие: задник, конечно, обтрепан, внутри байки нету — сносилась байка.

— У нас, — говорят, — таких галош, может, больше тыщи. Нет ли специальных признаков?

— Специальные, — говорю, — признаки имеются. Носок, вроде бы, начисто оторван, еле держится. И каблука, — говорю, — почти что нету. Сносился каблук. А бока, — говорю, — еще ничего, пока что удержались.

— Посиди, — говорят, — тут. Сейчас посмотрим.

Вдруг выносят мою галошу.

То есть, ужасно обрадовался. Прямо умилился.

«Вот, — думаю, — славно аппарат работает. И какие, — думаю, — идсейные люди, сколько хлопот на себя приняли из-за одной галоши».

Я им говорю:

— Спасибо, — говорю, — друзья, по гроб жизни. Давайте поскорей ее сюда. Сейчас я надену. Благодарю вас.

— Нету, — говорят, — уважаемый товарищ, не можем дать. Мы, — говорят, — не знаем, может, это не вы потеряли.

— Да я же, — говорю, — потерял. Что вы, обьелись?

Они говорят:

— Верим и вполне сочувствуем, и очень вероятно, что это вы потеряли именно эту галошу. Но

отдать не можем. Принеси удостоверение, что ты действительно потерял галошу. Пущай домоуправление заверит этот факт, и тогда без излишней волокиты мы тебе выдадим то, что законно потерял.

— Братцы, — говорю, — святые товарищи, да в доме не знают про этот факт. Может, они не дадут такой бумаги.

— Дадут, — говорят, — это ихнее дело дать. На что они у вас существуют?

Поглядел я еще раз на галошу и вышел.

На другой день пошел к председателю нашего дома.

— Давай, — говорю, — бумагу. Галоша гибнет.

— А верно, — говорит, — потерял? Или закручи-ваешь? Может, хочешь схватить лишний предмет ширпотреба?

— Ей-Богу, — говорю, — потерял.

Он говорит:

— Конечно, на слова я не могу положиться. Вот если б ты мне удостоверение достал с трамвайного парка, что галошу потерял, — тогда бы я тебе выдал бумагу. А так не могу.

Я говорю:

— Так они же меня к вам посылают.

Он говорит:

— Тогда, — говорит, — напиши мне в крайнем случае заявление.

Я говорю:

— А что там написать?

Он говорит:

— Пиши: сего числа пропала галоша. И так далее. Даю, дескать, расписку о невыезде впредь до выяснения.

Написал заявление. На другой день форменное удостоверение получил.

Пошел с этим удостоверением в камеру. И там мне, представьте себе, без хлопот и без волокиты выдают мою галошу.

Только когда надел галошу на ногу, почувствовал полное умиление. Вот, — думаю, — люди работают! Да в каком-нибудь другом месте разве стали бы возиться с моей галошей столько времени? Да выкинули бы ее с трамвая — только и делов. А тут неделю не хлопотал, выдают обратно. Одно досадно, за эту неделю во время хлопот первую галошу потерял. Все время носил ее подмышкой в пакете — и не помню, в каком месте ее оставил. Главное, что не в трамвае. Это гиблое дело, что не в трамвае. Ну, где ее искать?

Но зато другая галоша у меня. Я ее на комод поставил. Другой раз станет скучно, — взглянешь на галошу, и как-то легко и безобидно на душе становится. Вот, думаю, славно канцелярия работает.

Рассказали вам эту историю и теперь пугаемся, как бы трамвайщики на нас не обиделись. А чего обижаться? Наверное, они уже эти свои недочеты исправили. И, наверное, у них галоши выдаются еще более проще. Тем более, это было еще в тридцатом году. А с тех пор я ничего не терял. Так что не могу удовлетворить ваше любопытство.

А в общем тут дело даже не в трамвае, а в самой закрученной психологии. А поскольку с этой психологией идет борьба и вообще канцелярия выравнивается, то этот наш фельетон можно зачитать просто как художественное воспоминание или там мемуары о пропавшей галоше.

КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ

Недавно зашел ко мне один человек и поведал мне свою горестную историю. Он попросил, чтоб я написал фельетон на рассказанную тему.

Но его история меня смутила. И я даже сначала отказался что-либо сделать, потому что без проверки нельзя было написать. А проверить этот факт, как вы сейчас увидите, не представлялось возможным.

Но я нашел выход. Эту историю я расскажу без фамилий. И если это правда, то пусть виновник этого дела, так сказать, морально поперхнетя моим фельетоном.

В общем вот как это было.

Директор одного небольшого учреждения накануне выходного дня сказал своему хозяйственнику, что завтра он с семьей переезжает на дачу, и поэтому ему нужна грузовая машина перевезти вещи.

Заведующий хозяйством в деликатной форме ответил, что вот, дескать, редкий случай, когда он не может удовлетворить просьбу директора. Две грузовые машины в капитальном ремонте, одна мобилизована на дорожное строительство, а что касается четвертой машины, то эта машина еще вначале мая обещана счетоводу М., который завтра тоже переезжает на дачу.

Разговор происходил при людях, и директор ничем не выдал своего раздражения, но когда посторонние люди вышли из кабинета, директор, грубо ругаясь, набросился на заведующего, говоря, что слова директора есть не просьба, а приказание, и что если машины завтра не будет, то пусть он, чортов сын, убирается с работы. И, дескать, вообще, если на то пошло, ему надоел его независимый тон, облакачивание на столы и стулья и полное отсутствие той почтительности, которую пора бы, наконец, выработать в подчиненных, как это бывает в других учреждениях.

Заведующий оказался не робкого десятка. Он так сказал директору:

— Почтительности своей я не теряю. Насчет облакачивания на столы и стулья всецело согласен с вами, что это, пожалуй, лишнее с моей стороны. Но ваша грубая брань плюс угрозы тоже, как говорится, ни на что не похоже. И если бы вы происходили из людей прежней формации, тогда было бы понятно подобное отношение к служащему, но вы человек

пролетарской закваски, и откуда у вас возник такой генеральский тон — вот это я просто не понимаю. Все ваши приказания я всегда беспрекословно выполнял. Ваша преподобная супруга, если на то пошло, буквально не вылезает у меня из легковой машины. Но я вам, кажется, об этом ничего не говорю. Потому что я не позволю себе сделать замечание своему начальнику или его супруге с целью унижить их достоинство. Но что касается грузовой машины, которую я должен отобрать от счетовода, чтобы отдать ее вам, — вот с этим я принципиально не согласен и этого не сделаю, хотя бы вы в меня палили из пушек.

Эти слова привели директора в бешенство. Он так закричал:

— Ты забылся, нахал, где ты и что ты! Ты мне осмеливаешься говорить такие слова, как если бы ты был мой начальник, а я твой подчиненный. Я действительно тебя выгоню из учреждения. И тогда ты поймешь разницу между нами.

— Хотел бы я посмотреть, как вы меня выгоните, — сказал заведующий. — У меня нет преступлений, и я чист душой. И вам не так-то будет легко произвести мое увольнение, поскольку мотив для этого не возвышает вас в глазах окружающих.

— Насчет легкости ты не беспокойся, — сказал директор. — Ты у меня так полетишь, что своих не узнаешь.

И вот проходит десять дней и, как с ясного неба ударяет гром, директор отдает в приказе заведующему строгий выговор за бесхозяйственность и разбазаривание имущества.

Потом проходят еще две недели, и заведующий, еще не придя в себя от первого удара, снимается с должности с указанием в приказе, что он развалил работу.

Ошеломленный заведующий начинает бегать из месткома в союз, из союза в нарсуд. И всем доказывает, что никакого развала не произошло и ника-

кой бесхозяйственности не было, а скорее было наоборот, что он слишком перегибал палку, чтоб наладить дело. И этим он даже вызвал нарекание в разбазаривании имущества. Он, дескать, продал дрожки и лошадь, с тем чтобы приобрести вещи, более необходимые учреждению. Что, наконец, все это дело — личная месть директора.

Но все эти робкие слова тонули в пучине всяких актов и документов, предъявленных директором.

Кроме того, возмущенный директор заявил в союз, что никакой личной вражды у него не было, а что если он однажды и накричал на заведующего, то за его неудовлетворительную работу.

И тут директор, порывшись в документах, предъявил счета, по которым выходило, что заведующий дважды покупал шины из частных рук. И хотя заведующий кричал, что это было сделано в силу крайней необходимости и согласно разрешению директора, этот факт сыграл решающую роль. И приказ директора остался в силе, с некоторым, правда, смягчением, чтобы пострадавший мог бы найти себе какую-нибудь мелкую работишку.

Когда заведующий пришел за расчетом, директор, улыбаясь, сказал ему, случайно встретившись в коридоре:

— Ну что, получил дулю?

Заведующий хотел было броситься на директора, но сдержался и, с презрением посмотрев на него, вышел.

И вот он теперь пришел ко мне с просьбой написать фельетон.

И вот фельетон перед вами.

Вот вам, так сказать, своего рода «потолок бюрократизма». Все сделано директором весьма тонко и с таким знанием человеческой души, что тут и доказать ничего нельзя. Этот чиновник, у которого сердце обросло мохом, пожмет плечами и от всего откажется.

И только общественное мнение и товарищеская поддержка могли бы с этим вступить в борьбу.

Итак, если про директора была рассказана правда, то пусть он поперхнется моим фельетоном.

ЕЩЕ О БОРЬБЕ С ШУМОМ

Итак, борьба с шумом энергично продолжается.

Но если говорить насчет борьбы, то в первую очередь хочется все-таки отметить радио.

По силе звуков радио стоит на первом месте. И только, может быть, выстрелы дают более сильный звук. И то, как говорится, против выстрелов имеется своя наука — баллистика. А против радио научная мысль ходит как слепая.

Главное, досадно, что борьба с шумом началась не с этого открытия. Научная мысль почему-то в первую очередь пошла, так сказать, по трамвайному пути.

Но бесшумный трамвай — это, в конце концов, техника плюс, может быть, простая резина или там, говоря научным языком, гутаперча.

Но что может сделать та же резина против радио, — вот это еще не выясненный вопрос.

Лично я еще в хороших условиях в смысле радио. Некоторые в своих квартирах слышат радио и с улицы, и с верхних, и с нижних этажей, не говоря уже о соседях.

Один мой родственник с научной целью записывает все звуки, какие к нему доносятся со всего дома. Так он, если не врет, слышит у себя шестнадцать радиоаппаратов.

Лично я такого количества не слышу, но два радиоаппарата меня, прямо скажу, сильно удручают.

Ну, один сосед со своим аппаратом еще ничего. Про него нельзя сказать, что это большой любитель радио. Он с работы придет, прослушает детский час. И больше его не слышать. Разве что, находясь под

мухой, он поставит там еще минут на пять какое-нибудь пение. Вот вам и вся его радиопрограмма. Это мягкий, гуманный человек. И не дурак выпить. Так ему, как говорится, не до того.

Но другой сосед — это уж что-нибудь особенное. Он нарочно подолгу не выключает радио. И даже, идя, например, в баню, оставляет радио звучать.

Но каково было наше удивление, возмущение и ненависть, когда он, уехав в отпуск, оставил радио работать на полный ход! Он не выключил его. А свою комнату закрыл на висячий американский замок и сам, как говорится, преспокойно отбыл на месяц в Крым. Он туда загорать поехал. На южный берег Крыма. А мы, как говорится, должны в его комнате терпеть шум.

Первые два дня мы сразу даже не сообразили наличие подобной забывчивости. Но потом слышим звучание совершенно не в урочное время. И вдруг видим: радио звучит круглые сутки.

Тогда я бегу в домоуправление и прошу в конце концов прекратить вышеуказанный шум.

Председатель говорит:

— Да, борьба с шумом идет, не спорю. И это, конечно, нехорошо со стороны жильца шум производить во время отпуска. Но ломать дверь, чтоб туда войти, я не смею без его разрешения.

Тогда мы с другим его соседом делаем складчину и посылаем ему в Крым телеграмму, дескать, забыл, Иуда, закрыть радио. Срочно дай согласие сломать дверь с петель.

Но поскольку от нервного раздражения я в последний момент в телеграмме добавил еще несколько язвительных слов, то он не ответил мне на телеграмму.

Тогда я хотел как-нибудь привыкнуть к этим постоянным звучаниям в его комнате. И к музыке я уже уже стал понемногу привыкать, но когда какая-то девица стала из бюро погоды перечислять, где

какая температура находится, то я не мог более этого терпеть и выскочил из комнаты, чтоб что-нибудь произвести.

Один жилец мне говорит: «Вы поднимитесь на крышу и срежьте его антенну. Без антенны редко какое радио может звучать. И через это вы найдете себе душевный покой».

Тогда я, не будучи никогда на крыше и даже не понимая, как туда ходят, с опасностью для жизни влез туда и в акурат над его окном отломал громадную, как багор, антенну.

Но каково же было мое удивление, когда, спустившись вниз, я снова услышал звуки!

Тогда жилец говорит:

— Вероятно, у него очень сильное радио, что оно без антенны играет. Если хотите, я, говорит, к вам вечером одного подростка подошлю, он в радиомеханике хорошо понимает.

И вот прислал он мне вечером подростка.

Подросток осмотрел все, что полагается, и говорит:

— Вы, — говорит, — у кого-то другого антенну сломали. За что ждите себе неприятности. А что касается вашего соседа, то у него никакой антенны не должно быть, поскольку у него всего-на-всего радиоточка, то есть просто у него идут провода и к ним приставлен громкоговоритель. Если вы хотите, я отрежу в коридоре эти провода, и оно перестанет давать звучание.

Так он и сделал. И музыка сразу прекратилась. И наступила блаженная тишина. И я минут двадцать наслаждался этим в полное свое удовольствие.

Но потом мой другой сосед ни с того, ни с сего поставил свое радио, и снова началась чертовщина и завывание. И тут вдобавок еще пришли ко мне объясняться насчет сломанной антенны, и тогда начался шум и крики другого порядка, которые еще более досаждают душу и ослабляют кровь.

Вообще в первую голову надо что-нибудь насчет радио придумать, а потом уже с новыми силами приняться за трамвай. Тем более, что на поверку оказалось — выпущенный бесшумный трамвай довольно-таки порядочно шумит, как там его ни называй.

Может быть, регулятор какой-нибудь придумать для радиоточек?

Ничего не скажу — радио великое открытие, но уж очень оно, как бы сказать, в печенку въелось.

ДИКТОФОН

Ах, до чего, все-таки, американцы народ острый! Сколько удивительных открытий, сколько великих изобретений они сделали! Пар, безопасные бритвы Жиллет, вращение земли вокруг своей оси — все это открыто и придумано американцами и отчасти англичанами.

А теперь извольте: снова осчастливлено человечество — подарили американцы миру особую машину — диктофон.

Конечно, может, эта машина несколько и раньше придумана, но нам-то прислали ее только что.

Это был торжественный и замечательный день, когда прислали эту машинку.

Масса народу собралось посмотреть на эту диковинку.

Многоуважаемый всеми Константин Иванович Деревяшкин снял с машины чехол и благоговейно обтер ее тряпочкой. И в ту минуту мы воочию убедились, какой это великий гений изобрел ее. Действительно: масса винтиков, валиков и хитроумных загогулинок бросились нам в лицо. Было даже удивительно подумать, как эта машинка, столь нежная и хрупкая на вид, может работать и соответствовать своему назначению,

Ах, Америка, Америка, — какая это великая страна!

Когда машина была осмотрена, многоуважаемый всеми товарищ Деревяшкин, похвально отозвавшись об американцах, сказал несколько вступительных слов о пользе гениальных изобретений. Потом было приступлено к практическим опытам.

— Кто из вас, — сказал Константин Иванович, — желает сказать несколько слов в этот гениальный аппарат?

Тут выступил уважаемый товарищ Тыкин, Василий. Худой такой, длинный, по шестому разряду получающий жалованье плюс за сверхурочные.

— Дозвольте, — говорит, — мне испробовать. Разрешили ему.

Подошел он к машинке не без некоторого волнения, долго думал, чего бы ему такое сказать, но ничего не придумал и, махнув рукой, отошел от машины, искренно горя о своей малограмотности.

Затем подошел другой. Этот, не долго думая, крикнул в открытый рупор:

— Эй ты, чортова дура!

Тотчас открыли крышку, вынули валик, вставили его куда следует — и что же? — доподлинно и точно валик передал всем присутствующим вышеуказанные слова.

Тогда восхищенные зрители наперерыв протискивались к трубе, пробуя говорить то одну, то другую фразу или лозунг. Машинка послушно записывала все в точности.

Тут снова выступил Василий Тыкин, получающий жалованье по шестому разряду плюс сверхурочные, и предложил кому-нибудь из общества неприлично заругаться в трубу.

Многоуважаемый Константин Иванович Деревяшкин сначала категорически воспретил ругаться в рупор и даже топнул ногой, но потом, после некоторого колебания, увлеченный этой идеей, велел позвать из

соседнего дома бывшего черноморца — отчаянного ругателя и буяна.

Черноморец не заставил себя долго ждать — явился.

— Куда, — спрашивает, — ругаться? В какое отверстие?

Ну, указали ему, конечно. А он как загнет, как загнет — аж сам многоуважаемый Деревяшкин руками развел, — дескать, здорово пущено, это вам не Америка.

Засим, еле оторвав черноморца от трубы, поставили валик. И действительно, аппарат опять в точности и неуклонно произвел запись.

Тогда все снова стали подходить, пробуя ругаться в отверстие на все лады и наречия. Потом стали изображать различные звуки: хлопали в ладоши, делали ногами чечетку, щелкали языком — машинка действовала безотлагательно.

Тут действительно все увидели, насколько велико и гениально это изобретение.

Единственно только жаль, что эта машинка оказалась несколько хрупкая и неприспособленная к резким звукам. Так, например, Константин Иванович выстрелил из нагана, и, конечно, не в трубу, а, так сказать, сбоку, чтобы для истории запечатлеть на валик звук выстрела — и что же? — оказалось, что машинка испортилась, сдала.

С этой стороны лавры американских изобретателей и спекулянтов несколько меркнут и понижаются.

Впрочем, заслуга ихняя все же велика и значительна перед лицом человечества.

СЛАБАЯ ТАРА

Нынче взяток не берут. Это бывало раньше, шагу нельзя шагнуть без того, чтобы не дать или не взять.

А нынче характер у людей сильно изменился к лучшему.

Взятки, действительно, не берут.

Давеча мы отправляли с товарной станции груз.

У нас тетка от гриппа померла и в духовном завещании велела отправить ейные там простыни и прочие мешанские вещицы в провинцию, к родственникам со стороны жены.

Вот стоим мы на вокзале и видим такую картину, в духе Рафаэля.

Будка для приема груза. Очередь, конечно. Десятичные метрические весы. Весовщик за ними. Весовщик, такой в высшей степени благородный служащий, быстро говорит цифры, записывает, прикладывает гири, клеит ярлыки и дает разъяснения.

Только и слышен его симпатичный голос:

— Сорок. Сто двадцать. Пятьдесят. Сымайте. Берите. Отойдите... Не станови сюда, балда, станови на эту сторону.

Такая приятная картина труда и быстрых темпов.

Только вдруг мы замечаем, что при всей красоте работы весовщик очень уж требовательный законник. Очень уж он соблюдает интересы граждан и государства. Ну, не каждому, но через два-три человека он обязательно отказывает груз принимать. Чуть расхлябанная тара, — он ее не берет. Хотя видать, что сочувствует.

Которые с расхлябанной тарой, те, конечно, охают и страдают.

Весовщик говорит:

— Вместо страданий укрепите вашу тару. Тут где-то шляется человек с гвоздями. Пушай он вам укрепит. Пушай сюда пару гвоздей вобьет и пушай проволокой подтянет. И тогда подходите без очереди, — я приму.

Действительно верно: стоит человек за будкой. В руках у него гвозди и молоток. Он работает в поте лица и укрепляет желающим слабую тару. И которым отказали, — те смотрят на него с мольбой и предлагают ему свою дружбу и деньги за это самое.

Но вот доходит очередь до одного гражданина. Он такой белокурый, в очках. Он не интеллигент, но близорукий. У него, видать, трахома на глазах. Вот он надел очки, чтоб его было хуже видать. А, может быть, он служит на оптическом заводе, и там даром раздают очки.

Вот он ставит свои шесть ящиков на метрические десятичные весы.

Весовщик осматривает его шесть ящиков и говорит:

— Слабая тара. Не пойдет. Сымай обратно.

Который в очках, услышав эти слова, совершенно упадает духом. А перед тем, как упасть духом, до того набрасывается на весовщика, что дело почти доходит до зубочистки. Который в очках кричит:

— Да что ты, собака, со мной делаешь! Я, — говорит, — не свои ящики отправляю. Я, говорит, отправляю государственные ящики с оптического завода. Куда я теперь с ящиками сунусь? Где я найду подводу? Откуда я возьму сто рублей, чтобы везти назад? Отвечай, собака, или я из тебя коклету сделаю.

Весовщик говорит:

— А я почему знаю? — И при этом делает рукой в сторону.

Тот, по близорукости своего зрения и по причине запотевших стекол, принимает этот жест за что-то другое. Он вспыхивает, чего-то вспоминает, давно позабытое, роется в своих карманах и выгребает оттуда рублей восемь денег, все рублями. И хочет их подать весовщику.

Тогда весовщик багровеет от этого зрелища денег.

Он кричит:

— Это как понимать? Не хочешь ли ты мне, очкастая кобыла, взятку дать?!

Который в очках сразу, конечно, понимает весь позор своего положения.

— Нет, — говорит, — я деньги вынул просто так.

Хотел, чтоб вы их подержали, покуда я сыму ящики с весов.

Он совершенно теряетя, несет сущий вздор, принимается извиняться и даже, видать, согласен, чтобы его ударили по морде.

Весовщик говорит:

— Стыдно. Здесь взяток не берут. Сымайте свои шесть ящичков с весов, — они мне буквально холодят душу. Но, поскольку это государственные ящики, обратитесь вот до того рабочего, он вам укрепит слабую тару. А что касается денег, то благодарите судьбу, что у меня мало времени возжаться с вами.

Тем не менее, он зовет еще одного служащего и говорит ему голосом, только что перенесшим оскорбление:

— Знаете, сейчас мне хотели взятку дать. Понимаете, какой абсурд. Я жалею, что поторопился и для виду не взял деньги, а то теперь трудно доказывать.

Другой служащий отвечает:

— Да, это жалко. Надо было развернуть историю. Пуцай не могут думать, что у нас попрежнему рыльце в пуху.

Который в очках, совершенно созревший, возится со своими ящичками. Их ему укрепляют, приводят в христианский вид и снова волокут на весы.

Тогда мне начинает казаться, что у меня тоже слабая тара.

И, покуда до меня не дошла очередь, я подхожу к рабочему и прошу его на всякий случай укрепить мою сомнительную тару. Он спрашивает с меня восемь рублей.

Я говорю:

— Что вы, говорю, обалдели, восемь рублей брать за три гвоздя.

Он мне говорит интимным голосом:

— Это верно, я бы вам и за трояк сделал, но, говорит, войдите в мое пиковое положение — мне же надо делиться вот с этим крокодиллом.

Тут я начинаю понимать всю механику.

— Стало быть, — я говорю, — вы делитесь с весовщиком?

Тут он несколько смущается, что проговорился, несет разный вздор и небылицы, бормочет о мелком жалованьишке, о дороговизне, делает мне крупную скидку и приступает к работе.

Вот приходит моя очередь.

Я становлю свой ящик на весы и люблюсь крепкой тарой.

Весовщик говорит:

— Тара слабовата. Не пойдет.

Я говорю:

— Разве? мне сейчас ее только укрепляли. Вот тот, с клещами, укреплял.

Весовщик отвечает:

— Ах, пардон, пардон. Извиняюсь. Сейчас ваша тара крепкая, но она была слабая. Мне это завсегда в глаза бросается. Что пардон, то пардон.

Принимает он мой ящик и пишет накладную.

Я читаю накладную, а там сказано: «тара слабая».

— Да что ж вы, — говорю, — делаете, арапы? Мне же, говорю, с такой надписью обязательно весь ящик в пути разворуют. И надпись не позволит требовать убытки. Теперь, говорю, я вижу ваши арапские комбинации.

Весовщик говорит:

— Что пардон, то пардон, извиняюсь.

Он вычеркивает надпись, — и я ухожу домой, рассуждая по дороге о сложной душевной организации своих сограждан, о перестройке характеров, о хитрости и о той неохоте, с какой мои уважаемые сограждане сдают свои насиженные позиции.

Что пардон, то пардон.

ТЕРПЕТЬ МОЖНО

Конечно, об чем говорить, каждая профессия имеет свой брак.

Взять хотя бы такое мелкое и глупое дело — парикмахерское. И то без брака там не обходится. Другой озверевший парикмахер в выходной день до того обрабатывает своего пассажира, что после родная мама его не узнает.

Или, наоборот, стекольщики. Газеты пишут, будто эти славные ребята имеют на круг пятнадцать процентов брака.

То есть, для примера, произвели стекольщики сто графинов. Так из этих ста стеклянных вещей — пятнадцать вовсе невозможно пустить в продажу. Остальные проценты тоже, собственно говоря, не следовало бы пускать на прилавок, но приходится. Надо же чем-нибудь торговать. Тем более покупатель — он купит. Действительно, будет плакать, отбиваться и морду отворачивать, но купит.

Или, наоборот, повара и доктора. Они также имеют свой брак. Говорить об этом не приходится. Каждый кушал и после к врачам заходил.

Одним словом, какую профессию ни возьми — везде есть брак.

И только есть одна профессия. Она не имеет брака. Это, прямо скажем, — почтовое дело.

Ну, сами посудите, сами раскиньте своим воображением. Ну, какой может быть брак в этом культурном деле? Что ли, вместо марки на ладонь штемпель ставить? Или заказные письма проглатывать?

Прямо не может быть у них брака.

А это, может быть, очень обидно показалось почтовым начальникам.

То есть, говорят, каждый комиссариат имеет льготы, а мы вроде и не люди, а собаки.

Неизвестно, как в Сибири к этому отнеслись, но Средне-Волжское управление, утомленное такой не-

справедливостью, поправило это дело. Оно выработало свои нормы брака.

Эти святые строчки можно петь на мотив: «Две гитары за стеной»:

Средне-Волжское управление связи выработало нормы брака для корреспонденции. Этими нормами разрешалось безнаказанно терять двенадцать процентов писем, шесть процентов заказных писем, четыре процента телеграмм...

Одним словом, почтовики кое-как уравнились с другими профессиями. Нормы допущены подходящие. Не зверские.

Другое бы управление, дорвавшись до такой полноты власти, махнуло бы сразу: «Теряй, робя, пятьдесят процентов на нашу голову». А это такие деликатные мальчишки попались. Обдумали, чего сколько терять. И, заметьте, как глубоко продумано. Например, четыре процента телеграмм. Не три и не пять, а четыре. Тонкость какая, замечаете?

При такой тонкости надо бы, я извиняюсь, и про денежные переводы чего-нибудь намекнуть, а они ни гу-гу. Помалкивают в тряпочку. Ну, надо полагать, тоже не свыше пятнадцати процентов.

Одним словом, терпеть можно. Пальто не снимают. Извиняюсь за обидное сравнение.

МАЛЕНЬКАЯ ХИТРОСТЬ

Не знаю, как в Москве, а у нас в Ленинграде продаются только крупные электрические лампочки. Ну там, на сто пятьдесят, двести или четыреста свечей.

А которые потребители мечтают приобрести лампочку в десять или там пятнадцать свечей, то это оказывается бессмысленное мечтание. Таких лампочек в продажу не поступает.

Ну, я думал, — отправляют эти маленькие лампочки на периферию, для нужд деревни. И на этом успокоился.

Вот старые лампочки у меня перегорели. Я достал три штуки по четыреста свечей и довольствовался этим ярким светом. Конечно, обидно. Очень светло. Главное — не узоры писать. В коридоре и в уборной такая бессмысленная яркость, что прямо худо делается. Но терпел.

А в этом месяце приходит счетчик. Начинает проверять, на сколько у меня энергии сожжено.

— Ого, — говорит, — у вас с каждым месяцем сумма возрастает. Что вы, картошку, что ли, жарите на электричестве?

Я говорю:

— Нет, у меня крупные лампочки горят. И что мне делать — я сам не пойму. Безвыходное положение.

Ну, разговорился со счетчиком. Пятое, десятое. Выпил он у меня стакан чаю. Булку съел. И после говорит:

— А знаете, почему нету маленьких лампочек? Сказать?

Я говорю:

— Скажите, только навряд ли мне от этого легче будет.

Он говорит.

— Тут наблюдается большая хитрость с маленькими лампочками. Тут, говорит, все дело в промфинплане.

— То есть, — говорю, — как вас понимать?

Он говорит:

— Завод должен выполнить свой план. Ну вот, они и выполнили.

— Нет, — говорю, — с тех пор, как у меня бьет такой свет в квартире — голова у меня слабее работает, — не понимаю вас.

— Чего же, — говорит, — не понимать? Ну, предположим, по плану надо им выполнить продукцию на миллион свечей. Ну, теперь представьте себе — начнут они этот миллион маленькими лампочками делать. Да они, черти, в два года не сделают. А большими лам-

почками они сделать берутся. Что маленькие лампочки, что большие — работа одинаковая. А количество штук требуется меньше. Вот они, черти, и насели на большие лампы. Пекут их, как блины.

Я говорю:

— Но это же свинство! Это и нам мало радости, и государство теряет лишнюю драгоценную энергию. Вон у меня, говорю, в уборной четыреста свечей. Мне прямо совестно туда заходить.

Он говорит:

— Скажи спасибо, что они насели не на самые большие лампочки. На будущий год они, наверно, начнут лампочки выпекать по тысяче свечей.

Тут я вдруг рассердился:

— Чем, — говорю, — мне баки заколачивать, лучше бы посоветовали, где маленькие лампочки достать.

Он говорит:

— Я даром что служу на электрослужбе, но маленьких лампочек второй год в глаза не видел.

С этими словами он попрощался и отбыл. А я потушил в комнате свет, лег на кровать и в темноте стал думать о хитрости, на какую иной раз пускаются люди для выполнения своих канцелярских балансов.

ВОДЯНАЯ ФЕЕРИЯ

Техника у нас шагнула на очень большую высоту.

Технические достижения уже перестали публику удивлять.

Однако случаются некоторые факты, которые поражают своим величием. Они поражают своей неожиданностью.

Еще десять лет назад, казалось бы, ничего подобного не могло быть на страницах нашей жизни. А сейчас это уже бытовой факт, дающий реальную пользу населению.

Короче говоря, вот что недавно произошло у нас в Ленинграде.

Один московский работник кинематографии прибыл в Ленинград по делам службы.

И он остановился в гостинице «Европа».

Прекрасный уютный номер. Две постели. Ванна. Ковры. Картинки. Все это, так сказать, располагало нашего приезжего видеть людей и приятно проводить время.

В общем, к нему стали заходить друзья и приятели.

И как это всегда бывает, некоторые из его приятелей, приходя, принимали ванну. Поскольку многие живут в квартирах, где нет ванн. А в баню ходить многие, конечно, не так-то любят и вообще забывают об этой бытовой процедуре. А тут такой удобный случай: зашел к приятелю, поболтал, пофилософствовал и тут же помылся. Тем более тут горячая вода. Казенная простынка и так далее.

И многие, конечно, через это любят, когда у них есть приезжие друзья.

Короче говоря, дней через пять наш приезжий москвич несколько даже утомился от подобной неуклонной линии своих друзей.

Но, конечно, крепился до самого последнего момента, когда, наконец, разыгралась катастрофа.

А к нему как-то вечером пришли почти что сразу шесть знакомых.

Тары да бары, и тут же среди гостей образовалась до этой ванны небольшая очередь.

Трое быстро помылись и, попив чайку, ушли.

Но четвертая была старая дама. Родственница приезжего. И та мылась исключительно долго. И даже, кажется, что-то стирала из своего гардероба.

И до того она там долго возилась, что москвич и дожидавшиеся просто захандрили. Она час с четвертью не выходила из ванны.

Но поскольку она была родная тетка нашего москвича, то он и не разрешил своим друзьям никаких эксцессов по ее адресу.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко за полночь.

Один из приятелей не стал больше ждать и ушел. А другой, удивительно настойчивый и нахальный, все-таки во что бы то ни стало пожелал непременно сегодня вымыться, чтоб ему для чего-то завтра быть чистым.

И вот он дождался теткиного выхода. Вымыл ванну. И пустил горячую воду. И сам прилег на кушетку и стал дожидаться, когда ванна наполнится.

Но тут как-то случилось, что от сильного утомления он заснул. И москвич вдобавок задремал на диване.

А вода, наполнив ванну, вышла наружу и в короткое время затопила номер и даже протекала в другой этаж. Но поскольку в нижнем этаже была гостиная и там никого не было, то катастрофу не сразу заметили.

Короче говоря, когда она вышла, было уже далеко от сильного тепла и пара. Причем москвичу, как он после рассказывал, снился сон, что он в Гаграх.

Но когда он проснулся, то увидел, что весь номер в воде и поверх плавают туфли, газеты и разные деревянные изделия.

Горячая вода не позволила, конечно, сразу прекратить наводнение, поскольку они не решались добежать до ванны, чтоб закрыть кран. Они, сидя на диванах, не могли рискнуть спустить свои ноги в воду, от которой шел пар.

Но потом, кое-как передвигая стулья и перепрыгивая с одного стула на другой, перетрусивший приятель москвича добрался до ванны и закрыл кран.

И только они закрыли кран и вода стала куда-то утекать, как в номер вбегает администрация с побледневшими лицами.

Осмотрев ванну и нижний этаж, администрация совместно с прибывшим инженером стала о чем-то совещаться.

А среди наших друзей завязался тяжелый спор: кто виноват и кому платить убытки.

Приятель москвича, еле дыша от страха, сказал, что рублей сорок он как-нибудь покроет, но все, что свыше, пусть оплачивает владелец номера, который легкомысленно допускал мыться посторонних.

Тут между ними завязался спор, который мог бы кончиться печально, если б рядом не было администрации.

Москвич дрожащим голосом говорит администрации:

— А скажите, на какую сумму могут быть убытки?

Администрация говорит:

— Видите, внизу в гостиной размыло лепные украшения: одну крупную античную фигуру и трех херувимов. Так что это сильно увеличит расходы.

Услышав о лепных украшениях и херувимах, приятель москвича буквально задрожал.

Москвич, с тоской взирая на администрацию, прошептал:

— А на какую сумму размыло этих херувимов?

Инженер говорит:

— Тысчонок, мы так полагаем, семь-восемь будет стоить эта операция...

Сумма эта совершенно подкосила силы москвича, и он прилег на диван, мало чего соображая.

А приятель его выказал себя с нехорошей стороны. Он поступил как подлец, пытаясь, так сказать, дать тигалю. Но был задержан слабой, но честной рукой приезжего.

Приезжий москвич, еле ворочая языком, говорит администрации:

— Тысчонки бы за две нельзя? В крайнем случае не надо мне ставить этих херувимов. Не такое сейчас время, чтоб платить за этих самых херувимов...

Администрация говорит:

— Да вы напрасно горячитесь и торгуетесь. Мы, кажется, с вас убытков не требуем.

Услышав эти слова, приятель москвича закрыл глаза, думая, что это сон.

Но администрация говорит:

— На вас мы не возлагаем никакой вины. Тут наш технический недосмотр. Мы плохо рассчитали утечку воды, и это наша техническая слабость.

Инженер тут же дает научное пояснение. Он говорит, показывая на ванну:

— Видите, тут наверху ванны имеется дырка, в которую вода должна утекать по мере наполнения ванны. И при научно правильном расчете вода не имеет права выйти за пределы краев. Но тут мы выказали некоторую слабость, и дырка, как вы могли видеть, не успела поглотить текущую жидкость. Так что мы просим у вас извинения за причиненное беспокойство. В дальнейшем этого не будет. Мы исправим. Это технические неполадки, которым не место в нашей славной современности.

Услышав эти слова, приятель москвича хотел упасть на колени, чтоб возблагодарить администрацию и судьбу, но приезжий не разрешил ему это сделать.

Он сказал инженеру:

— Конечно, иначе не могло и быть. Но скажите, кто мне возместит убытки: у меня испортились ночные туфли и чемодан подмок, и, может быть, там что-нибудь тоже испортилось благодаря вашей технической слабости.

Администрация говорит:

— Подайте заявление — мы возместим убытки.

На другой день москвич получил сорок шесть рублей за подмокший чемодан.

Приятель москвича тоже хотел воспользоваться случаем, чтоб содрать небольшую сумму за счет техники, но это ему сделать не удалось, так как он не имел права ночью находиться в чужом номере.

На другой день он все же пришел в гостиницу и там принял ванну, несмотря на то, что москвич был этим крайне недоволен и даже рассердился.

1935

ПЛОХАЯ ЖЕНА

Один муж, сильно занятый на службе и перегруженный разными делами, поручил своей жене присмотреть за займами.

У него выигрышных займов было больше, как на две тысячи рублей. И вот он все надеялся выиграть. Он любил выпить и с друзьями побеседовать. И этот выигрыш был бы ему крайне необходим.

И вот каково же было его удивление, когда кассир на его работе однажды говорит:

— Поздравляю, Федя, с выигрышем.

Тот удивляется и спрашивает:

— А что такое? Я ничего не знаю. С чем ты мне поздравление делаешь?

Кассир говорит:

— Да как же — ты выиграл тысячу рублей. Вот, — говорит, — мы тебе эти займы выдавали, и у нас остались в списках твои номера. Я для потехи посмотрел и вижу — ты выиграл. Неужели ты не знаешь? Это уже было с месяц назад.

Вот наш муж рысью побежал домой и дома говорит:

— Где же выигрыш?

Жена очень смущается и говорит:

— Я не знаю. Ничего подобного. Кассир нахально врет.

Тут у них происходит крупный разговор, в результате чего муж ей под конец делает такое замечание:

— Тогда, говорит, мне придется на тебя в товарищеский суд подать за сокрытие выигрышей. И хотя мне даже как-то странно подобные дела выно-

сильно на решение жактовской общественности, но, тем не менее, я это сделаю, чтобы доказать, какая ты есть в наши дни нахальная и вредная жена, не могущая служить примером для нашей современности.

И вот на-днях происходит этот товарищеский суд. И все жильцы с их дома присутствуют на этом суде. Поскольку это очень любопытное дело.

Председатель товарищеского суда товарищ Егоров ее спрашивает:

— Ну, как дела?

И она, не зная, какой найти выход, говорит:

— Да, это я выиграла. Признаюсь.

Муж говорит:

— Вот видите теперь, что это за персона. Она утаила выигрыш. И, наверно, что-нибудь на это себе купила.

Председатель говорит:

— Ах да, в самом деле, где же эти деньги?

Жена, не привыкшая стоять перед общественностью, сразу говорит, смутившись:

— Я их отдала.

Муж говорит:

— Посмотрите, она их кому-то отдала. Это прямо интересно становится.

Председатель говорит:

— Кому ж вы и за что их отдали? Это действительно странно.

Жена, смутившись, говорит:

— Я их отдала Володе.

Муж, закачавшись, говорит:

— Боже мой, товарищ Егоров. Это, вероятно, Володька Ньюшин. Я их давно подозревал. Это хорошо, что я на нее в суд подал. По крайней мере я теперь кое-что для себя выясняю.

Егоров говорит:

— Суд не входит в ваши интимные отношения. Но поскольку деньги мужа, то зачем же, глупая, вы

их отдали? Вот он на вас теперь в суд подал, и вам за это приходится судиться.

Тогда жена отбрасывает всякий ложный стыд и произносит речь.

Она говорит:

— В чем дело? Да, я Ньюшину передала эти выигранные деньги. Кто есть мой муж? Он есть, товарищи, любитель выпить. Он — любитель закусить. Он любит посидеть с друзьями... Он есть неудачная фигура на фоне нашей общественной жизни. И я не намерена скрываться — Ньюшин мой любовник. И я ему передала выигрыш. Мой супруг все равно бы их пропил, а тут, по крайней мере, что-нибудь да будет.

Муж, снова закачавшись, говорит:

— Лишите ее слова! Мне худо делается.

Судья говорит:

— Не могу же я лишить ее слова — она только что разговорилась. Какой вы странный.

Жена говорит, употребляя демагогический прием:

— Ньюшин есть советский изобретатель. Он дважды что-то изобрел. И он изобретает в третий раз музыкальный ящик. И его открытие — он говорит — перевернет и опрокинет всех композиторов и все страны Европы. И как я могла, будучи советской гражданкой, отдать деньги пьянице. Нет, я их лучше отдала человеку с гениальным дарованием.

Муж говорит:

— Отдать тысячу рублей какому-то сопляку! Ой, какая жалость, что товарищеский суд не может ее приговорить на десять лет.

Судья говорит:

— На десять лет ее, конечно, нельзя приговорить. Но я ей хочу задать вопрос. Скажите, гражданка, вот вы Ньюшина любите и даете ему такую сумму. А насчет мужа небрежно выражаетесь. А позвольте вас спросить, зачем тогда вы живете с этим мужем? Вот и жили бы себе с этим одаренным Ньюшиным.

Жена говорит:

— Видите, так Ньюшин ничего не имеет. У него вся дорога впереди. А муж все-таки прилично зарабатывает. И вот, как видите, иногда выигрывает.

Тогда председатель говорит:

— Нам странно слушать такие речи. Это, говорит, позорный взгляд на современность. Жить с этим ради денег, а выигрыш давать другому. Ну, я от вас этого не ожидал. И вас непременно надо к чему-нибудь присудить, поскольку вы глубоко отрицательное явление в нашей жизни.

После чего, посоветовавшись с заседателями, председатель объявил приговор, встреченный аплодисментами: приговорить к общественному порицанию и вернуть мужу половину выигрыша, поскольку вторая половина принадлежит жене и она вправе этим распорядиться.

Жена, услышав этот приговор, говорит:

— Деньги, я ему, собаке, верну, но я ему, подождите, тоже пулю завинчу.

И на другой день она в отсутствие мужа продает зеркальный шкаф, принадлежащий ему, и вдобавок его плюшевую оттоманку. И вырученные деньги возвращает мужу.

Она говорит:

— Поскольку мне принадлежит половина предметов, так вот я кое-что и продала из твоих вещей.

Муж, увидев, что проданы по дешевке вещи, служившие украшением его комнаты, пришел в исключительное расстройство. Он пошел к председателю жакта и сказал ему:

— Она мои вещи уже стала продавать. Я с ней разведусь, поскольку я не могу жить с такой арапкой.

Председатель говорит:

— Вот и хорошо.

Через два дня без особых скандалов муж с ней развелся. Но поскольку жена никуда не уехала и нарочно осталась жить в его небольшой комнатке,

то получился абсурд, благодаря которому муж от полного расстройствa чувств сильно прихворнул.

А что касается изобретателя Ньюшина, то он не довел свое изобретение до конца, а, получив деньги, загулял и благодаря этому поссорился со своей дамoй-патронессой — покровительницей изобретателей.

Но она, собственно, не долго расстраивалась и, видя, что она теперь с двух сторон свободна, вступила в связь с одним инженером. Но поскольку инженер был женат, то получился опять абсурд, так как разведенный муж не мог даже теперь выгонять его, когда тот заскакивал в гости к его бывшей половине.

Но тут, к счастью мужа, у которого уже возник невроз сердца, она разошлась со своим инженером и неожиданно вышла замуж за одного провинциального фотографа, который прибыл в Ленинград за фотографическими принадлежностями. Но тут он ее встретил, влюбился и увез ее с собой в Торжок.

А бывший ее муж до того этому обрадовался, что снова стал здоров и даже перед отъездом подарил ей какой-то красивый расписной коврик, чтобы она совместно со своим дураком-фотографом могла уютно обставить свое новое жилище.

1935

ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА

К одному жильцу с нашей коммунальной квартиры прибыл из деревни его отец.

Конечно, он прибыл по случаю болезни своего сына. Без этого он, наверное, до конца своих дней не увидел бы Ленинграда. Но поскольку захворал его сын, вот он и прибыл.

А сын его был наш жилец. И он служил в одном ресторане официантом. Он там порции подавал и был на хорошем счету.

И, может быть, стараясь еще больше, он однажды, разгорячившись своим ночным трудом, выскочил на улицу с тем, чтобы пойти домой, и, конечно, через

это простудился на своем, так сказать, кулинарном посту. Он захворал сначала насморком и семь дней чихал. Но потом простуда перешла к нему на грудь, и температура вдруг поднялась до плюс сорока градусов выше нуля.

Вдобавок еще до этого, желая в свободный день культурно провести время, он поехал в Павловск осмотреть дворцы, и там он немного надорвался, помогая своей супруге войти в вагон.

Так что все это вместе взятое дало печальную картину заболевания человека в полном расцвете его сил.

И, будучи от природы мнительным, наш бедный официант был уверен, что он уже не поправится и уже, как говорится, не приступит больше к исполнению своих прямых обязанностей.

И вот через это он и пригласил своего папу приехать в Ленинград, чтобы сказать ему последнее «прости».

Не то, чтобы он горячо любил своего папеньку, и вот теперь на закате своей жизни он во что бы то ни стало захотел его увидеть, напротив, он в течение сорока лет о нем не справлялся и совершенно как бы безучастно относился к факту его существования. Но его супруга, увидя у своего мужа такую невозможно высокую температуру, скорее из самолюбия, — мол, все, как у людей, — дала папе телеграмму: дескать, приезжайте в Ленинград, ваш сын захворал.

И когда сын уже начал поправляться, в Ленинград, всем на удивление, прибыл из весьма далеких мест его папенька в лаптях, с мешком за спиной и с палкой. Правда, потом оказалось, у старика в мешке были сапоги, но он их принципиально не носил, говоря об этом: «Богатый бережет рожу, а бедный — одежду».

Конечно, все, и в том числе сын, рассчитывали, что приедет скромный, отчасти даже религиозный

старец лет семидесяти и будет тут произносить постные речи и всего пугаться. Но оказалось совершенно, как говорится, напротив.

Оказалось, что старикан был на редкость задиристый, немного скандалист, грубиян и брехун. И добавок он был не то чтобы контрреволюционер, но он отличался исключительной отсталостью в политическом смысле.

Он моментально во дворе дома схлестнулся с дворником и отодрал за уши одного подростка, пришедшего в гости к своему дяде, живущему тут двенадцать лет.

Потом он у нас в жакте резко беседовал с председателем, так что тот удивился какие бывают взгляды на современность, и даже хотел об этом сообщить по месту его жительства.

В довершение всего приезжий отец напугал своего сына тем, что с места в карьер навел в конторе справку, не может ли он тут получить площадь для постоянного проживания в Ленинграде.

Конечно, сам по себе старик, наверное, был сравнительно хороший, но тут с первого дня его приезда почти все жильцы оказались не на высоте в смысле культуры. Они все начали над ним подтрунивать, шутили над ним, как над дураком, смеялись насчет его провинциальных, деревенских манер. И каждый старался сказать ему какую-нибудь чушь, вроде того, как ему при встрече всякий раз говорил дворник петушиным голосом: «С какого именно колхоза прибыли ,молодой человек?»

Да и сын его, официант Гаврилов, тоже, конечно, не отставал от общего настроения и в другой раз, давась от смеха, говорил старику, нарочно глядя в газету:

— Сегодня, папаня, не ходите на улицу, — ожидается облава на седых и рыжих.

Конечно, все это делалось довольно любовно и без злобы, но все-таки, как говорится, это, наверное,

не было чем-нибудь приятным для приезжего старика, который прожил семьдесят два года и был, наверное, умнее их всех, вместе взятых. А они думали, что это — простофиля, дурак и серый мужик, и вот что с ним делали.

И это, конечно, имело отрицательную реакцию на его поведение.

И сколько дней он тут прожил, столько скандалов имело место. Были крики, сцены грубости и так далее.

В довершение всего на седьмой день своего пребывания он в пивной надрызгался и стал там буяннить. И даже его хотели представить в милицию. Но он от всех скрылся и пошел шляться по улицам.

И вот он идет по улице и песни играет. А сам старенький, седенький и одетый по-деревенски, в высшей степени незатейливо.

И вот он идет по улицам и вдруг видит, что заблудился.

Конечно, это абсурд тут заблудиться. Тем более, он адрес знает. Но с пьяных глаз он испугался и даже протрезвел.

И спросил прохожего, куда ему идти. Но прохожий не знал и велел ему обратиться к органам милиции.

Конечно, наш старик оробел сразу подойти к стоящему на посту милиционеру и от волнения прошел еще на два-три квартала.

Но потом подошел к постовому с опаской, думая, что тот засвистит и закричит на него.

Но тот, согласно внутренней инструкции, отдал честь подошедшему, приложив к козырьку свою руку в белой перчатке.

Приготовившись к скандалу и привыкши к этому, старик от неожиданности немного растерялся и залепетал разные слова, не идущие к делу.

А постовой, спросив у него, какая ему нужна

улица, показал, куда идти, и, снова отдав честь, занялся своим делом.

В ТРАМВАЕ

Давеча еду в трамвае. И стою, конечно, на площадке, поскольку я не любитель внутри ехать.

Стою на площадке и любуюсь окружающей панорамой.

А едем через Троицкий мост. И очень вокруг поразительно красиво. Петропавловская крепость с золотым шпилем. Нева со своим державным течением. Тут же солнце закатывается. Одним словом, очень, как говорится, божественно.

И вот стою на площадке, и душа у меня очень восторженно воспринимает каждую краску, каждый шорох и каждый отдельный момент.

Разные возвышенные мысли приходят. Разные гуманные фразы теснятся в голове. Разные стихотворения на ум приходят. Из Пушкина что-то такое выплывает в память: «Тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца...»

И вдруг кондукторша разбивает мое возвышенное настроение, поскольку она начинает спорить с одним пассажиром.

И тут я, как говорится, с высоты заоблачных вершин спускаюсь в надземный мир с его узкими интересами, мелкими страстями и недочетами.

Молодая, интересная собой кондукторша ядовито говорит пассажиру:

— Что ж вы думаете: я даром вас повезу? Платите, короче говоря, деньги или сойдите с моего вагона.

И слова, которые она произносит, относятся к скромно одетому человеку. И стоит этот человек со своим постным лицом и, одним словом, не платит за проезд. Он отвиливает платить. И то роется в карманах и ничего там не находит, то говорит уклончиво:

— Такая славненькая кондукторша, и такие хорошенькие у нее губки, и так она сильно ерепенится и этим портит свою наружность... Ну, нет у меня денег... Сейчас сойду, милочка, только одну остановку проеду...

— То есть никакой остановки я тебе даром не дам проехать, — говорит кондукторша. — А если у тебя денег нет, так зачем же ты, нахал, в трамвай вперся? Вот чего я никак не пойму.

Пассажир говорит:

— Тоже пешком идти, — может быть, у меня пузыри на ногах? Какие нечувствительные люди в настоящее время. Совершенно не входят в положение человека. Только за все деньги и деньги. Прямо, может быть, этого не оберешься. Только давай, давай, давай...

Гуманные чувства заполняют мое сердце. Мне становится жалко человека, у которого нет даже нескольких грошей на проезд в трамвае.

Я вынимаю деньги и говорю кондукторше:

— Примите за того, который с постным лицом. Я заплачу за него.

Кондукторша говорит:

— Никакой уплаты со стороны я не разрешаю.

— То есть, говорю, как же вы можете не разрешить? Вот тебе здравствуйте!

— А так, говорит, — и не разрешу. И если у него нету денег, то и пушай он пешком шкандыбают. А на своем участке работы я не дозволю поощрять то, с чем мы боремся. И если у человека нету денег — значит, он их не заслужил.

— Позвольте, говорю, это негуманно. К человеку надо гуманно относиться, когда ему плохо, а не наоборот. Человека, говорю, надо жалеть и ему помогать, когда с ним что-нибудь происходит, а не тогда, когда ему чудно живется. А вдобавок это, может быть, мой родственник, и я его желаю поддержать на основе родственных чувств.

— А вот я вашего родственника сейчас отправлю в одно местечко, — говорит кондукторша и, свесившись с трамвая, начинает трещать в свой свисток.

Пассажир с постным лицом говорит, вздохнувши:

— Какая попалась на этот раз ядовитая бабенка. А ну, брось свистеть и поезжай дальше: я сейчас заплачу.

Он вынимает из кармана записную книжку, вытаскивает из нее три червонца и со вздохом говорит:

— Крупная купюра, и через это в трамвае мне ее не хотелось зря менять. Но поскольку эта особа с ума сходит и не позволяет пассажирам производить поддержку, то вот примите, если, конечно, найдется сдачи, что вряд ли.

Кондукторша говорит:

— Чего вы суετε мне в нос такие крупные деньги? У меня нету сдачи. Нет ли у кого разменять?

Я было хотел разменять, но, увидя суровый взгляд пассажира, отложил свои намерения.

— Вот то-то и оно, — сказал пассажир. — Через это я и не давал купюру, поскольку знаю, что это безрезультатно, и в трамвае не могут ее разменять.

— Какая канитель с этим человеком, — говорит кондукторша. — Тогда я трамвай сейчас остановлю и его к чорту ссажу. Он мне тормозит мою работу.

И она берется за звонок и хочет звонить.

Пассажир, вздохнувши, говорит:

— Эта кондукторша что-нибудь особенное. То есть я в первый раз вижу такое поведение. А ну, погоди звонить: я сейчас заплачу. Вот действительно какой ядовитый человек попался...

Он роется в кармане и достает двугривенный.

Кондукторша говорит:

— Что ж ты, дармоед, раньше-то не давал? Небось, хотел на пушку проехать.

Пассажир говорит:

— Всем давать — потрохов нехватит. Прими деньги и заткни фонтан своего красноречия. Через

такие мелочи трещит своим языком в течение часа. Прямо надоело.

— И хотя это мелочи, — сказала кондукторша, обращаясь к публике, — но они затрудняют плавный ход движения государственного аппарата. И я через это пропустила целую массу безбилетных пассажиров. И его пятнадцать копеек обошлись государству рублей шесть.

Через две остановки злополучный пассажир со своей мелкой, склочной душой сошел с трамвая.

И тогда кондукторша сказала:

— Какие бывают отпетые подлецы!

Потом мы снова въехали на какой-то мост, и я снова увлекся картинами природы, позабыв о мелочах, связанных с движением транспорта.

1936 г.

НЕ ПУЩУ

Есть такая картина. Она написана, не помню, каким-то известным художником. Она называется «Не пущу».

А дело там вот в чем. Пивная. И около дверей пивной стоит женщина во весь рост. И, широко расставив руки, эта женщина не пускает в пивную своего мужа.

А муж, видимо, не дурак выпить, все же ломится. И хочет ее отстранить.

А при ней вдобавок еще, кажется, перепуганный ребенок. И, так сказать, всем своим видом женщина говорит: «Не пущу». А у самой на лице горе и волнение. И волосы у нее в беспорядке распущены, дескать, не до прически. И кругом пустынно. Никого нет. И никто этим явлением не заинтересован.

Очень сильная дореволюционная картина. Она очень метко схватывает моменты той эпохи. И зритель через эту картину убеждается, какие были пьяные забудыги-мужья и как неважно жилось женам и как зарабатывал на этом каналья-кабатчик, кото-

рый каждую минуту мог выйти и прогнать женщину, не допуская мужа пропить свой последний рубль.

В этом смысле дореволюционный мастер кисти и резца отлично справился со своей задачей и по мере своих слабых сил честно отразил момент действительности.

Эту картину поучительно видеть во все исторические времена. И, например, наблюдая эту картину в наши дни, видишь существенную разницу.

Конечно, у нас пьют порядочно. И заливают, как говорится, за галстук при первой возможности. Но, между прочим, пьют сравнительно как-то не так, как прежде. Все меньше и меньше наблюдаешь влежку пьяненьких.

Бывало, раньше идешь в воскресенье или в какой-нибудь царский день и прямо чуть не наступаешь на лежащих граждан. А над ними хлопочут дворники и городовые. Натирают им уши и подставляют к носу пузырьки с нашатырным спиртом, чтоб те очухались и смогли бы на своих ножках дойти до участка. А уж там их, миленьких, в полутемной каморке, как дрова, сваливают друг на друга.

Сейчас, конечно, этого не бывает. А уж если какой-нибудь тип свалится у нас, то вскоре торжественно и культурно подъезжает до него карета «Скорой помощи», и его, как случайно захворавшего, везут в вытрезвитель. А уж там его иодом смажут и с научной целью внутренности промоют. И вдобавок утром какую-нибудь лекцию прочтут. И возьмут с него за все про все вместе с процедурами рублей десять или двадцать.

Так что, я говорю, разница колоссальная. И даже по этому поводу надо бы выпить.

А что касается жен, то и они порядочно выросли. И уже такую женщину, какая выведена на картине, навряд ли можно найти.

И уж если муж у нее сильно пьет, то она, скорей всего, с ним разойдется, если квартирный вопрос до-

зволяет. А если она его любит, то она и сама зайдет с ним, куда его тянет, и там культурно посидит с ним за столиком.

А которые потеряли совесть, то на них уж такие робкие слова «не пушу» все равно не действуют. Таким нужно что-нибудь более современное.

И на этих днях мы видели нечто подобное, которое и вдохновило нас (как и того художника) зарисовать для потомства момент действительности.

А идем мы по Выборгской стороне. И вдруг видим — человек двадцать граждан идут вдоль панели и все ахают. Некоторые возмущаются. Другие машут руками. Третьи смеются.

И вдруг мы видим — на панели идет мужчина. В обыкновенной синей спецовке и в кепочке.

И вдруг все видят, что этот мужчина — пьяный. Он идет очень неровно. Шатается. И его сильно кренит то в одну, то в другую сторону.

И тут все замечают, что этот пьяный мужчина держит на руках малыша. Он держит маленького ребенка лет, может, трех. Такая чудная крошка. Курчавенький. Носик пуговкой. И смеется. Ему, видать, забавно, и у него дух замирает, что он так на руках качается. Он не понимает, конечно, что его пьяный несет и он через это качается. Он, может быть, думает, что это такая игра.

А рядом с этим странным шествием идет женщина. И одной рукой эта женщина отстраняет прохожих. А другой рукой она по временам делает «козу». Она этим, видать, еще более забавляет малыша, который сидит на руках у пьяного.

И вот, я говорю, кругом в толпе раздаются возмущенные возгласы. Некоторые женщины, недовольные такой безобразной сценой, и видя, что крошка подвергается опасности упасть и вдребезги разбиться, начинают кричать на пьяного, чтоб он прекратил свое шествие с ребенком. Но тот, мало что понимая, идет, покачиваясь, дальше.

А та женщина, которая идет с ним рядом, не смущается этим и продолжает забавлять ребенка. И по всему видно, что она мать этой деточки и жена этого пьяного. И, тем не менее, такая сцена.

Тогда одна молодая особа, не могущая больше видеть подобные дела, бежит до милиционера и с ним возвращается.

И тогда все, наперерыв галдя, рапортуют милиционеру, что вот, дескать, пьяный дурак подвергает опасности ребенка, а эта ненормальная мать потакает. Не допускайте это шествие.

Тогда милиционер делает под козырек этой паре. И те останавливаются.

И вдруг женщина машет на толпу рукой, чтоб все замолчали. И когда прекратились крики, она произнесла такую речь:

— Товарищи, — сказала она, — этот выпивший человек, несущий на руках нашего сына, есть мой муж. И он в настоящее время лечится от алкоголя. И он уже делает некоторые успехи. Но пока он провел двадцать сеансов. А врачи ему сказали, что надо двадцать пять. Так что он еще не окончательно забылся от своей привычки. И он последнее время каждый день сидит в пивной, покуда я его оттуда не вытяну. Но поскольку я его силой вывести не могу и он все равно будет сидеть до закрытия, я тогда прибегаю к нашему сыну. Муж у меня исключительно любит ребенка. И только когда я в пивную зайду с сыном, муж мой весь преображается, берет его на руки и идет домой. Но попробуйте от него отнять ребенка — и он обратно вернется и будет снова пить. Что же касается до того, что он уронит ребенка, то на этот случай я иду рядом, и, если муж опрокинется, то я вполне успею подхватить мальчика. Конечно, в каждом деле есть риск и волнение, но тут меньше беды, чем если он у меня сопьется и тем самым сделает еще больший вред себе, сыну и обществу. Вот что я могу

вам сказать в ответ на ваши законные крики, угрозы и возмущение.

Тут многие развели руками, когда услышали эту реплику. А некоторые зааплодировали и расступились, чтоб дать им дорогу.

И пьяный отец, который во время речи мотался, как пшеничный колос от ветра, торжественно пошел дальше.

И тут все убедились, что он крайне бережно и крепко держит мальчишку.

И снова рядом с ними пошла женщина, продолжая делать мальчику «козу».

И милиционер, не зная, какую резолюцию подвести под это дело, снова взял под козырек и, вздохнув, сказал:

— Все в порядке... Пуцай идут.

И кто-то из толпы добавил:

— Все в порядке — пьяных нет.

И тут все засмеялись и разошлись по своим делам.
1936 г.

НЕРАВНЫЙ БРАК

А то есть еще другая знаменитая картина из прежней жизни. Та называется — «Неравный брак».

На этой картине нарисованы, представьте себе, жених и невеста.

Жених — такой, вообще, престарелый господинчик, лет этак, может быть, семидесяти трех с хвостиком. Такой, вообще, крайне дряхлый, обшарпанный субъект, на которого зрителю глядеть мало интереса.

А рядом с ним — невеста. Такая, представьте себе, молоденькая девочка в белом подвенечном платье. Такой, буквально, птенчик, лет, может быть, девятнадцати.

Глазенки у нее напуганные. Церковная свечка в руках трясется. Голосок дрожит, когда брюхастый поп спрашивает: ну, как, довольна ли, дура такая, этим браком?

Нет, конечно, на картине этого не видать, чтоб там и рука дрожала и чтоб поп речи произносил. Даже, кажется, и попа художник не изобразил по идеологическим мотивам того времени. Но все это вполне можно представить себе при взгляде на эту картину.

В общем, удивительные мысли навеивает это художественное полотно.

Такой, в самом деле, старый хрен мог до революции вполне жениться на такой крошке. Поскольку, может быть, он — «ваше сиятельство» или он сенатор, и одной пенсии он, может быть, берет свыше как двести рублей золотом, плюс поместья, экипаж и так далее. А она, может, из бедной семьи. И мама ее нажучила: дескать, ясно, выходи.

Конечно, теперь всего этого нету. Теперь все это благодаря революции кануло в вечность. И теперь этого не бывает.

У нас молоденькая выходит поскорей за молоденького. Более престарелая решается жить с более потрепанным экземпляром. Совершенно старые переключаются вообще на что-нибудь эфемерное — играют в шашки или гуляют себе по набережной.

Нет, конечно, бывает, что молоденькая у нас иногда выходит за пожилого. Но зато этот пожилой обыкновенно какой-нибудь там крупнейший физиолог, или он ботаник, или он чего-нибудь такое изобрел всем на удивление, или, наконец, он ответственный бухгалтер, и у него хорошая материальная база на двоих.

Нет, такие браки не вызывают неприятных чувств. Тем более тут можно искренно полюбить — может, это какая-нибудь одаренная личность, хороший оратор или у него громадная эрудиция и прекрасный голос.

А таких дел, какие, например, нарисованы на вышеуказанной картине, у нас, конечно, больше не бывает. А если что-нибудь вроде этого и случается, то это вызывает всеобщий смех и удивление.

Вот, например, какая история произошла недавно в Ленинграде.

Один, представьте себе, старик, из обыкновенных служащих, неожиданно в этом году женился на молодой.

Ей, представьте себе, лет двадцать, и она интересная красавица, приехавшая из Пензы. А он — старик, лет, может быть, шестидесяти. Такой, вообще, облезлый тип. Морда какая-то у него потрепанная житейскими бурями. Глаза какие-то посредственные, красноватые. В общем ничего из себя не представляющая личность, из таких, какие в каждом трамвае по десять штук едут.

И к тому же он плохо может видеть. Он, дурак, дальтонизмом страдает. Он не все цвета может различать. Он зеленое принимает за синее, а синее ему, дураку, мерещится белым.

В довершение всего он был женат. И вдобавок ко всему жил со своей старухой в крошечной комнатке.

И вот, тем не менее, имея такие дефекты и минусы, он неожиданно и всем на удивление женится на молодой прекрасной особе.

Окружающим он так объяснил это явление: дескать, новая эра, дескать, нынче даже старики кажутся молодыми и довольно симпатичными.

Окружающие ему говорят:

— Вы поменьше занимайтесь агитацией и пропагандой, а вместо этого поглядите, чего ей от вас нужно. Это же анекдот, что она за вас выходит замуж.

Старик говорит:

— Кроме своей наружности и душевных качеств, я ничего материального не имею. Жалование маленькое. Гардероб — одна пара брюк и пара рваных носовых платков. А что касается комнаты, этой теперешней драгоценности, то я живу пока что со своей престарелой супругой на небольшой площади, какую я намерен делить. И в девяти метрах, с видом на помой-

ку, я буду, как дурак от счастья, жить с той особой, какую мне на старости лет судьба послала.

Окружающие ему говорят:

— А ну вас к лешему! Вас не убедишь.

И вот он разделил площадь. Устроил побелку и окраску. И в крошечной комнатке из девяти метров начал новую великолепную жизнь рука об руку с молодой цветущей особой.

Теперь происходит такая ситуация.

Его молодая подруга жизни берет эту крошечную комнату и меняет ее на большую. Поскольку нашелся человек, которому дорого было платить и он хотел иметь свои законные девять метров, без излишков.

И вот она со своим дураком переезжает на эту площадь, в которой четырнадцать метров.

Там живет она некоторое время, после чего проявляет бешеную энергию и снова меняет эту комнату на комнату уже в двадцать метров. И в эту комнату снова переезжает со своим старым дураком.

А переехав туда, она с ним моментально ссорится и дает объявление в газету: дескать, меняю чудную комнату в двадцать метров на две небольшие в разных районах.

И вот, конечно, находится пара, которая мечтает пожить совместно, и за эту комнату они с радостью отдают две свои.

Короче говоря: через два месяца после, так сказать, совершения таинства брака наш старый дурак, мало чего понимая, очутился в полном одиночестве в крошечной комнатке за городом, а именно — в Озерках.

А молодая особа поселилась на Васильевском острове, в небольшой, но славной комнатке.

А вскоре, имея эту комнату, она вышла замуж за молодого инженера, и теперь она бесконечно счастлива и довольна.

Старый дурак хотел подать в суд на эту особу за надувательство. И даже он разговаривал по этому

поводу с одним юристом. Но этот юрист, из бывших адвокатов, весело посмеявшись, заявил, что обман этот доказать крайне трудно и к тому же молодая особа, может быть, искренно увлеклась им и, только узнав его поближе, разочаровалась.

На этих сладких мечтах наш старый дурень и успокоился. И теперь он ежедневно трясется на поезде, выезжая из этих своих Озерков на службу.

В общем, как говорится, не угадал папаша. Старого воробья провели на мякине. А он расчувствовался, фантазию построил, всякие мечты, за что и пострадал сверх всякой меры.

1935

БАНЯ И ЛЮДИ

В свое время мы чего-то такое писали насчет бань. Сигнализировали опасность. Дескать, голому человеку номерки некуда деть и так далее.

Прошло после того несколько лет.

Затронутая нами проблема вызвала горячие дискуссии в банно-прачечном тресте. В результате чего кое-где в банях отвели особые ящички, куда каждый пассажир может класть свою, какую ни на есть, одежду. После чего ящик замыкается на ключ. И пассажир с радостной душой поспешает мыться. И там привязывает этот ключ к шайке. Или, в крайнем случае, не выпускает его из рук. И как-то там моется.

Короче говоря, несмотря на это, вот какие события развернулись у нас в одной из ленинградских бань.

Один техник захотел у нас после мытья, конечно, одеться. И вдруг он с ужасом замечает, что весь его гардероб украли. И только вор, добрая душа, оставил ему жилетку, кепку и ремень.

Он прямо ахнул, этот техник. И сам без ничего стоит около ящичка своего — и прямо не имеет никакой перспективы. Он стоит около ящичка, в чем его мама родила, и руками разводит. Он ошеломлен.

А он — техник. Не без образования. И он прямо

не представляет себе, как он теперь домой пойдет. Он прямо на ногах качается.

Но потом он сгоряча надевает на себя жилетку и кепку, берет в руки ремень и в таком, можно сказать, совершенно отвлеченном виде ходит по предбаннику, мало чего соображая.

Некоторые из публики говорят:

— В этой бане каждый день кражи воруют.

Наш техник, имея головокружение, начинает говорить уже на каком-то старорежимном наречии с применением слов «господа». Это он, наверно, от сильного волнения порастерял некоторые свойства своей новой личности.

Он говорит:

— Меня, господа, главное интересует, как я теперь домой пойду.

Один из немывшихся еще говорит:

— Позовите сюда заведующего. Надо же чего-нибудь ему придумать.

Техник говорит слабым голосом:

— Господа, позовите мне заведующего.

Тогда банщик в одних портках бросается к выходу и вскоре является с заведующим. И тут вдруг все присутствующие замечают, что этот заведующий — женщина. Техник, сняв кепку с головы, задумчиво говорит:

— Господа, да что же это такое! Еще того чище! Мы все мечтали увидеть сейчас мужчину, но вдруг, представьте себе, приходит женщина. Это, — говорит, — чтоб в мужской бане были такие заведующие — это прямо, — говорит, — какая-то курская аномалия.

И, прикрывшись кепкой, он, в изнеможении, садится на диван.

Другие мужчины говорят:

— Чтоб заведующий — женщина, это действительно, курская аномалия.

Заведующая говорит:

— Для вас, может, я и курская аномалия. А там

у меня через площадку — дамское отделение. И там — говорит, — я далеко никакая не курская аномалия.

Наш техник, запахнувшись в свою жилетку, говорит:

— Мы, мадам, не хотели вас оскорбить. Что вы ерепенитесь. Лучше бы, — говорит, — обдумали, в чем я теперь пойду.

Заведующая говорит:

— Конечно, до меня тут были заведующие мужчины. И на этой вашей половине они были очень хороши в своем назначении, а в дамском отделении они все с ума посходили. Они туда слишком часто заскакивали. И теперь мужчинам назначения редко дают. А дают все больше женщинам. И что касается меня, то я захожу сюда по мере надобности или когда тут что-нибудь сперли, и я от этого не теряюсь. А что я постоянно нарываюсь тут у вас на оскорбления и меня каждый моющийся непременно обзывает курская аномалия, то я предупреждаю каждого, который меня впредь оскорбит на моем посту, я велю такого отвести в отделение милиции... Что у вас тут случилось?

Техник говорит:

— Господа, что она ерепенится? Ну ее к чорту. Я не предвижу, как я без штанов домой пойду, а она мне не позволяет называть ее курская аномалия. И она грозит меня в милицию отвести. Нет, лучше бы заведующий был мужчина. По крайней мере он бы мне мог одолжить какие-нибудь свои запасные брюки. А что тут заведующая женщина — это меня окончательно побивает. И я, господа, теперь уверен, что из этой бани я несколько дней не уйду, — вот посмотрите.

Окружающие говорят заведующей:

— Слушайте, мадам, может, тут у вас в бане есть муж. И, может быть, он у вас имеет лишние брюки. Тогда дайте им в самом деле их на время поносить. А то они страшно волнуются. И не понимают, как им теперь домой дойти.

Заведующая говорит:

— В дамском отделении у меня полная тишина, а на этой половине ежедневно происходит все равно как извержение вулкана. Нет, господа, я тут отказываюсь быть заведующей. У меня муж в Вятке работает. И ни о каких, конечно, штанах не может быть и речи. Тем более, что сегодня это уже второе заявление о краже. Хорошо, что в первый раз украли мелочи. А то бы ко мне опять приставали с брюками. Тогда, господа, вот что: если есть у кого-нибудь какие-нибудь запасные штаны, то дайте им, а то мне на них прямо тяжело глядеть. У меня мигрень начинает разыгрываться от всех этих волнений.

Банщик говорит:

— Хорошо, я опять дам свои запасные штаны. Но вообще надо будет сшить, наконец, казенные. У нас часто воруют, и в этот месяц у меня прямо сносили мои штаны. То один возьмет, то другой. А это мои собственные.

Вот банщик дает нашему технику ситцевые штаны, а один из моющихся дает куртку и шлепанцы. И вскоре наш друг, с трудом сдерживая рыдания, облачается в этот музейный наряд. И в таком нелепом виде он выходит из бани, мало чего понимая.

Вдруг после его ухода кто-то кричит:

— Глядите, вон еще чья-то лишняя жилетка валяется и один носок.

Тогда все обступают эти найденные предметы.

Один говорит:

— Вероятно, это вор обронил. Поглядите хорошенько жилетку, нет ли там в карманах чего. Многие в жилетках документы держат.

Выворачивают карманы и вдруг там находят удостоверение. Это пропуск на имя Селифанова, служащего в центральной пошивочной мастерской.

Тут всем становится ясно, что воровские следы уже найдены.

Тогда заведующая бойко звонит в милицию, и

через два часа у этого Селифанова устраивается обыск.

Селифанов страшно удивляется и говорит:

— Чего вы обалдели, господа. У меня у самого сегодня в этой бане вещи украли. И я даже делал об этом заявление. А что касается этой моей жилетки, то ее, наверно, вор обронил.

Тут перед Селифановым все извиняются и говорят ему: это недоразумение.

Но вдруг заведующий пошивочной мастерской, где служит этот Селифанов, говорит:

— Да, я уверен, что вы сами в бане пострадали. Но скажите: откуда у вас этот кусок драпа, что лежит в сундуке. Этот драп из нашей мастерской. Его у нас нехватает. И вы его наверно взяли. Хорошо, что я из любопытства пришел вместе с обыском.

Селифанов начинает лепетать разные слова, и вскоре он признается в краже этого драпа.

Тут его моментально арестовывают. И на этом заканчивается банная история, и начинаются уже другие дела. Так что мы и помолчим, чтобы не смешивать две темы.

В общем и бани и моющиеся там люди, казалось бы, могли за последнее время подтянуться и выглядеть еще более эффектно. В банях могли бы чего-нибудь особенное придумать на этот счет, а люди могли бы не воровать имущество в таких ответственных местах.

Но тут, в сравнении с другими учреждениями, еще плетутся в хвосте.

И это очень жаль.

1935

РОМАНТИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ

Один молодой поэт, довольно интересной волевой наружности, автор книги «Навстречу жизни», влюбился на курорте в одну недурненькую особу.

Она не была поэтесса, но она имела все время

наклонность к поэзии, и от этого наш поэт совершенно от нее растаял.

Кроме того, она вдобавок понравилась ему как тип. То есть ее наружность соответствовала его идеалам.

Она была из блондинок, в то время как там у них, на юге, он говорит, преобладали все больше черноватые, которые не вызывали у него поэтических эмоций. Тем более, что он был лирик и, как он говорит, певец революционных будней. В результате чего он и влюбился в эту особу до потери сознания.

Ну, вообще — поэт. Мироззрение. Пылкая, забывчивая натура. Стихи пишет. Любитель цветов и хорошо покушать. И ему всякая красота доступна. И он психологию понимает. Знает дам. И верит в их назначение.

Он встретил ее на южном побережьи, куда он прибыл в сентябре месяце по путевке. И она тоже со своей путевкой прибыла туда же в сентябре.

И там они имели неожиданное счастье встретиться. Они там познакомились. И у него возникло чувство к ней. И она тоже им исключительно увлеклась.

И у них там целый месяц прошел, как в угаре.

С одной стороны — море, природа, беззаботная жизнь на готовом питании, с другой стороны — понимание с полслова, поэзия, переживания, красота.

То есть, как во сне промелькнули все дни, которые были один другого лучше.

И вот ударило время разлуки. Наступило время расставанья.

Она вернулась к себе в Ленинград и приступила там к завершению курса каких-то там исключительных наук. А он прибыл к себе в Ростов или куда-то там в эти места. И там продолжал свою поэзию.

Но там он продолжать ее не мог, поскольку ему вспоминалась его особа. Он там тосковал по ней. И, будучи лириком, грустил.

И вот, просидев пару недель в своем южном городе, он вдруг моментально сложился и, никому ничего не сказав, дернул к своей особе в далекий Ленинград.

Он только в последний момент сказал своей супруге:

— Возникло чувство к другой. Расстаемся. Деньги буду посылать почтой.

И с этими словами махнул в Ленинград. Тем более она его туда усиленно звала. Она ему говорила:

— Приезжай скорей. Я живу там совершенно одиноко. Совсем одна. Кончаю курс науки. Ни от кого не завишу. И мы там будем продолжать наше чувство.

И теперь, перебирая в своей памяти эти нежные слова, полные глубокого значения, наш поэт лихорадочно спешил поскорей с ней встретиться.

И он даже удивлялся, как это он не сообразил сразу выехать к ней, раз имелись такие великолепные предпосылки.

Короче говоря, он прибыл к ней и вскоре держал ее в своих объятиях.

И они оба были так довольны, что и сказать нельзя.

Она его спросила: «Надолго ли?» И он ей поэтически ответил: «Навсегда!»

И они опять были очень довольны.

Но он у ней остановиться не мог, поскольку она жила не одна в общежитии.

Не без некоторого волнения он вдруг увидел в ее уютной комнате четыре постели, при виде которых сердце оборвалось в его груди.

Она сказала:

— Живу с тремя подругами по образованию.

Он сказал:

— Я это вижу и недоумеваю. Вы мне сказали о своем одиночестве, через что я и имел смелость приехать. Вы, кажется, мне прихвастнули.

Она сказала:

— Я это сказала: «живу одиноко» не в смысле комнаты, а в смысле чувства и брака.

Он сказал:

— Ах, вон что. В таком случае это недоразумение. После чего они снова обнялись и долго не могли друг на друга налюбоваться.

Он сказал:

— Ну, ничего. Я пока буду жить в гостинице. А там мы посмотрим. Может быть, вы кончите образование, или, может быть, я напишу какие-нибудь ценные стишки.

И она сказала:

— Вот и хорошо.

Он переехал в гостиницу «Гермес» и там стал с ней жить.

Но он порядочно уже поистратился и недоумевал, что же, собственно, будет дальше. К тому же, на его несчастье, сразу после его приезда она была два дня под ряд именинница. То есть, один день у нее были ее именины. И наш поэт, зная немного жизнь, было уже совсем успокоился. Но на второй день, без перерыва, ударило вдруг ее рождение. И наш поэт совершенно обезумел от трат на это. На первый день он ей купил кондитерский крендель. И думал — только и делов. Но, узнавши о рождении, он растерялся и купил ей бусы. Каково же было его удивление, когда она, получив бусы, вдобавок сказала:

— Сегодня по случаю моего дня рождения я бы хотела в этих бусах пройтись с вами в какой-нибудь ресторан.

И при этом она сказала ему еще что-то про Блока, который в свое время тоже любил почем зря бывать в ресторанах и в кондитерских.

И хотя он ей ответил уклончиво: «То Блок...», но все-таки вечером он с ней побывал в ресторане, где страдания его достигли наивысшей силы по случаю порционных цен, о которых в Ростове слышали только мельком.

Нет, он не был скуп, наш поэт, но он, так сказать, совершенно вытряхнулся. И к тому же, имея мелко-буржуазную сущность, он ей не решился сказать о своем крайнем положении. Хотя намекал, что в гостиницах ему беспокойно. Но она, подумав о его нервности, сказала:

— Надо взять себя в руки.

Он пытался взять себя в руки. И в день ее рождения попробовал было оседлать свою поэтическую музу, чтоб настроичить хотя бы несколько мелких стихотворений на предмет, так сказать, продажи в какой-нибудь журнал.

Но не тут-то было. Муза ему долго не давалась, а когда далась, то поэт просто удивился от того, что у него с ней получилось. Во всяком случае по прочтении продукции ему стало ясно, что не может быть и речи о гонораре. Получилось нечто неслыханное, что поэт приписал отчасти своей торопливости и беспокойствию духа.

Тогда наш молодой поэт, подумав о превратностях судьбы и о том, что поэзия — дело, в сущности, темное, не способствующее ведению легкой жизни, продал на рынке свое пальто.

И налегке побывал со своей барышней там, где она того хотела.

После чего он рассчитывал на пару дней прожить легко, стараясь ни о чем не думать, так сказать, в полное свое удовольствие, снимая пенки с блестящего ресторанного вечера. И только уже после этого он решил обдумать свое положение. И как-нибудь извернуться. В крайнем случае он надумал призанять некоторую сумму у своей особы.

Но на другой день после ее рождения вдруг ударил в Ленинграде ранний мороз. И наш поэт в легком пиджачке стал на улице попрыгивать, говоря, что он совершенно закалился там у себя, на юге, и потому как ходит почти без ничего.

В общем, он простудился. И слег в своей гостинице «Гермес». Но там удивились его нахальству и сказали, что прежде следует заплатить за номер, а потом хворать.

Но все же, узнав, что он поэт, отнеслись к нему гуманно и сказали, что вплоть до выздоровления они его не тронут. После каких-то слов поэт совершенно ослаб физически и дней шесть не поднимался с постели, ужасаясь, что даже за лежачего жильца насчитываются за номер те же суточные деньги.

Барышня его посещала и приносила ему покушать, а то ему пришлось бы совсем невероятно. И, может быть, он даже бы не поправился.

После выздоровления поэт было думал снова на пушку поймать свою музу. Но та вовсе отказала что-либо путное ему присочинить. И поэт до того упал духом, что дал себе обещание, в случае если он выпутается благополучно из создавшегося положения, непременно найти службу, чтоб не полагаться в дальнейшем на чистое искусство.

Правда, после того как у него в номере побывал директор гостиницы, поэт еще в третий раз пробовал приблизиться к своей поэзии, но, кроме как трех строк, ему ничего не удалось из себя выжать:

В который раз гляжу на небо
И слышу там пропеллеров жужжанье,
И кто-то вниз сигает на...

Но уже слова «на парашюте» никак не входили в размер стиха. А сказать «с парашютом» он не решился, не зная авиационной терминологии. После чего поэт окончательно захандрил и сложил оружие.

Мечты же занять у своей подружки оказались тоже нереальны. К его удивлению, в тот самый момент, когда он было решился ей сказать об этом, она сама ему сказала о том же, но только про себя, а не про него. Так что поэт, ослабший от болезни, не сразу даже и понял всей остроты ситуации. Она сказала, что ей до получения пособия осталась ровно неделя

и что если он сможет, то пусть ей кое-что одолжит, тем более что она ему покупала еду во время болезни.

Он сказал: «Непременно».

И после ее ухода решил ликвидировать свой коверкотовый костюм.

Он продал на рынке костюм, отчасти устроился со своими делами и в одной майке и в спортивных брючках вдруг в один прекрасный день явился к нам в ленинградский Литфонд, где и рассказал нам эту свою историю.

И мы ему дали за этот рассказ сто рублей на билет, с тем чтобы он ехал к себе на родину.

И он нам сказал:

— Эта сумма мне хватит, чтобы уехать. А я бы желал прожить еще тут неделю. Мне бы этого очень хотелось.

Но мы ему сказали:

— Уезжайте теперь. И лучше всего устройтесь там у себя на работу. И параллельно с этим пишите иногда хорошие стихи. Вот это будет правильный для вас выход.

Он сказал:

— Да я так, пожалуй, и сделаю. И я согласен, что молодые авторы должны, кроме своей поэзии, опираться еще на что-нибудь другое. А то вон что получается. И это правильно, что за это велась кампания.

И, поблагодарив нас, он удалился. И мы, литфондовцы, подумали словами поэта:

О, как божественно соединение,
Извечно созданное друг для друга,
Но люди, созданные друг для друга,
Соединяются, увы, так редко.

На этом заканчивается история с начинающим поэтом, и начинается другая история, еще более исключительная.

БЕДНАЯ ЛИЗА

Одна молодая особа, весьма недурненькая и развитая брюнетка, решила в этом году непременно разбогатеть.

То есть, не то чтобы она хотела заполучить сказочное богатство, как это иной раз бывает в странах капитала, среди миллионеров и спекулянтов.

Нет, она, конечно, этого не хотела. То есть, вообще-то говоря, она именно как раз этого и хотела. Но только она не понимала, как это теперь бывает. И потому она решила иметь то, что в пределах возможного.

Она хотела иметь какой-нибудь голубой фордик с постоянным, что ли, шофером. Стандартную дачку. Некоторый счет в банке. И, конечно, какое-нибудь знатное положение мужа, чтоб ей бывать повсюду и всех видать.

А муж у нее был обыкновенный инженер. То есть, он был гидролог. Это у них там что-то насчет воды. А если это так, то он, конечно, никаких там особых колонн не проектировал, за что бы ему шли деньги и премии как творцу новых идей и положений.

Короче говоря, он жил помаленьку на свои семьсот монет. И, будучи энтузиастом своего дела, был до некоторой степени вполне доволен.

Супругу же его не устраивала эта сумма. И, будучи женщиной праздной и пустенькой, со слабым мировоззрением, она мечтала о сказочной роскоши и так далее.

А ей кто-то сказал, что вообще как будто писатели живут довольно недурно. Что некоторые из них имеют пишущие машины, отдельные квартиры, дачи, а иной раз даже и автомобили. И пусть она среди этой прослойки что-нибудь себе поищет.

Но Лиза не знала, где ей этого искать. И потому она не без поспешности сошлась с одним первым попавшимся автором.

Но, между нами говоря, этот инженер человеческих душ, как нарочно, оказался на редкость несостоятельным и ограниченным субъектом. И вдобавок он был любитель алкоголя. Благодаря чему через месяц он выразил желание, чтобы она непременно где-нибудь служила. Поскольку он сам на себя не надеялся, создавая слабые, маловысокохудожественные книги, не отражающие в полной мере величие эпохи.

В общем он не оправдал ее надежд, и тогда она покинула этого своего выродка, потеряв при этом веру в литературу и в ее могущество.

В общем она вернулась к своему супругу. Но, вернувшись, она не оставила своих пылких надежд и только ждала, чтоб что-нибудь у нее поскорее случилось.

И вот как раз тогда ее познакомили с одним иностранцем.

Ей представили его в ресторане. И сказали, что он интурист. И что он живет в отеле, но этим не доволен и мечтает найти комнату в частном доме месяца на два. Нет ли у нее такой?

И хотя у нее этого не было, но она, тем не менее, крайне обрадовалась и решила на два месяца переселить куда-нибудь свою преподобную мамашу, чтоб только ей не упустить избалованного иностранца, не могущего проживать в неудобных шумных отелях, среди звонков и приходящих девиц.

В общем этому интуристу и изнеженному аристократу она устроила у себя в квартире комнату. И хотя супруг ее не допускал до этого, но она на своем настояла. И тот к ним переехал со своим ослепительным гардеробом, одеколоном, фотоаппаратом, брюкодержателем и так далее.

И вот Лиза, думая, что наступил главный момент в ее жизни, сошлась с этим иностранцем.

И тот ее исключительно полюбил. И сделал ей формальное предложение. На что она согласилась и

даже, сверх того, очень тому обрадовалась, прямо до того, что и описать нельзя.

И тогда она сразу бросила мужа. И стала с ним жить в маминой комнате.

И хотя ее иностранец по-русски почти не говорил, а она, наоборот, говорила только по-русски, тем не менее это отнюдь не послужило преградой для их взаимного международного счастья.

В общем она была счастлива и мечтала о Париже, Лондоне, Средиземном море и так далее.

Но через месяц интурист, научившись более сносно выражать по-русски свои мысли, как-то раз особенно разговорился о том, о сем на этом языке, и из разговора она отчасти выяснила, что тот вовсе не собирается уезжать в Европу. А напротив, он даже хочет тут обосноваться. И что по случаю затруднительных дел там у них за границей закрылось какое-то предприятие, и он остался как бы даже без работы. Вот почему он и прибыл в Союз, надеясь тут найти что-нибудь по своей специальности.

Она, побледнев, попросила повторить эти грубые русские фразы о том, о сем. И он снова сказал ей то же самое, добавив, что у него есть большие надежды здесь у нас устроиться, поскольку он специалист по шипучим и минеральным водам. А тут в Союзе это как раз, наверное, очень всем надо. И если он тут устроится, тогда через год они смело смогут съездить в Париж, если уж она так этого хочет.

Тогда она, вспыхнув, не без яду спросила, зачем же он при своем положении, будучи простым безработным, называется интуристом и при этом не оставляет своих изнеженных привычек и не живет в дешевом номере. А своим видом и поведением смущает окружающих, допуская их делать нивесть какие выходы.

Тогда он заметил ей, что вот именно он как раз и переехал из отеля к ним ради, так сказать, экономии.

Тогда она заплакала, сказав, что если так, то в ее слабой голове спутались все понятия об устройстве мира. И что об интуристах она была совершенно другого мнения. Она думала, что они все без исключения ездят ради прихоти и любопытства, а не ради того, зачем он прибыл. Нехватало, дескать, ей еще за безработных выходить. Ведь этого даже у нас нету. А тут вот она нашла такого. Так уж лучше она выйдет замуж за нашего конторщика и будет получать свои сто целковых, чем что-либо другое.

И она от обиды и унижения три дня плакала. И велела интуристу уехать в отель, поскольку мама жила на улице.

В общем она рассталась с ним, поскольку тем более ее первый муж, как выяснилось, сделал какую-то крупнейшую экономию на службе и за это получил десять тысяч рублей премии, что и было объявлено в газетах.

Однако супруг, не зная еще, что она к нему вернется, отдал эти деньги на строительство. Он был большой энтузиаст и был отчасти равнодушен к деньгам. Вот он и отдал эту сумму государству.

А она, вернувшись и узнав об этом, до того расстроилась, что супруг боялся за целостность ее рассудка. И тогда она, успокоившись, снова затаила в душе решение найти что-нибудь лучшее.

А ей кто-то сказал, что тот самый злосчастный писатель, с которым она недавно жила и не была счастлива, неожиданно сильно пошел в гору. Он бросил писать свои слабые вещицы и неожиданно вдруг написал пьеску, которая по силе, говорят, не уступала Борису Шекспиру или что-нибудь вроде этого. И что он теперь буквально великолепно зарабатывает.

Она, огорчившись, что не подождала этой хорошей полосы, снова хотела сойтись с этим драматургом. Но он, оказалось, уже имел две семьи и был сравнительно счастлив.

Тогда она, подойдя благодаря этому знакомству

несколько ближе к театральным делам, нашла тут большие возможности. Вдобавок ее в театре познакомили с одним эстрадным комиком, который, говорят, зарабатывал очень, очень крупные деньги.

Она хотела было сразу сойтись с этим комиком, но в последний момент испугалась какого-нибудь надувательства или подвоха с его стороны, вроде как было у ней с интуристом или что-нибудь вроде этого.

И тогда она не вышла за него замуж, а решила, если, на то пошло, сама стать артисткой.

И она стала изучать характерные танцы, чтоб с ними как-нибудь выступать на эстраде и зарабатывать, как другие.

Но от хронических ее неприятностей с интуристом и писателем у нее доктора нашли невроз сердца и нервную сыпь на теле. И поэтому она стала учиться петь.

И сейчас она поет. И уже начала порядочно зарабатывать в закрытых концертах и в домах отдыха.

А мужу она сказала, что теперь она с ним останется жить. Что раньше у нее были старые взгляды на деньги и супружеские отношения, но что сейчас, получая до тысячи рублей и больше за свое пение, она вполне перевоспиталась и даже довольна и идет не против самостоятельности женщин.

Но довольство ее продолжалось до тех пор, пока ей не рассказали об ее интуристе. Ей сказали, что этот ее иностранец нашел здесь по своей редкой специальности очень хорошее место, получил прекрасное содержание, женился на одной девице и с ней выехал к себе на родину для устройства своих дел и чтобы привести сюда автомобиль.

Ей сказали, что она наверно плохо договорилась с ним по-русски, если упустила такой великолепный экземпляр.

Вот это известие она действительно перенесла с трудом. У нее даже временно пропал голос.

Но через две недели она снова оправилась и сей-

час опять поет, как умеет. Но сыпь на коже у нее так и осталась.

Вот какие бывают барышни. И вот что с ними иной раз случается, когда они хотят получить деньги не так, как это у нас принято.

А что она после этого стала артисткой, то для нее это очень хорошо, а для публики это наверно весьма посредственно.

И, конечно, в таких случаях всегда лучше танцевать, чем петь. И молодые особы должны учитывать это горячее пожелание публики.

1935

ТРАГИКОМЕДИЯ

Конечно, таких рассказов, в которых человек выиграл, скажем, сто тысяч и с ним после этого чего-то такое случилось истряслось, таких рассказов в литературе существует, конечно, большое количество.

Но то, чего мы хотим рассказать, по своей комичности положений превосходит все до сих пор написанное в этой области.

Отметим к тому же, что все это голая правда.

Вот представьте себе утро. Туманный Ленинград. Надо сейчас итти трудящимся на работу. Вот сейчас они попьют чайку и пойдут гордой вереницей.

Но что случилось? Чей-то крик, я извиняюсь, раздается.

Это в нашей коммунальной квартире раздаются крик, топот, треск и разные возгласы.

Жильцы сбегаются на это место и вот что видят. Жилец Борька Фомин в розовых подштанниках шляется по своей комнате. Челюсти у него трясутся. И лицо белое, как глина. В одной руке у него газета. В другой — почтовая открытка. В третьей руке его супруга держит талон, и так она восклицает:

— Ах, уйдите все из комнаты. Еще ничего неизвестно. А я лично не могу поверить, что мы с Борей пять тысяч выиграли.

Борька Фомин, у которого от волнения с носа капля падает, говорит:

— Получаю открытку со сберкассы. Что такое? Пардон! Выиграл деньги...

Жена говорит:

— Вся моя жизнь проходит в сумерках. Что-нибудь удивительное случилось — этого не бывает. Если же Борька выиграл такие деньги, то я, — говорит, — непременно знаю, что произойдет какое-нибудь такое, благодаря чему я скорей всего не увижу этих денег.

Один жилец говорит:

— Часто бывает, — они печатают, не досмотревши цифры. Или нолики у них заскакивают и не там расположены. Трудящиеся ахают, а после, конечно, не то выигрывают...

Тут приносят семь газет из разных комнат. Все глядят и проверяют и видят — нету сомненья, Борька Фомин, этот, не представляющий из себя ничего особенного, выиграл пять тысяч, и не известно никому, чего он сейчас будет делать с этими деньгами.

Борькин племянник, живущий тут же молодой мальчишка лет семнадцати Вовка Чучелов, сдающий экзамен на звание шофера и не привыкший еще давить людей, говорит Борису Андреевичу:

— Чем, дядя, понапрасну слова кричать — побегите в сберкассу. Если вам дадут эти деньги, значит вы действительно выиграли.

Тут все начинают кричать на Бориса Андреевича и велят ему побежать в кассу.

Его жена по своей женской недоверчивости при этом так восклицает:

— Сейчас он у меня, подлец, под трамвай ссыплется, или его автобус зацепит. Этого не бывает, чтоб я свободно по пять тысяч выигрывала.

Вот Борис моментально одевается, бежит и вскоре возвращается обратно — белый, как глина.

Он говорит всем присутствующим ослабевшим голосом человека, только что летевшего в стратосферу.

Он говорит:

— Да, я выиграл пять тысяч. Они мне велели послезавтра прийти за деньгами. Они говорят: «Это в нашем районе бывает раз в сто лет».

Тут все поздравляют Бориса Андреевича и велят ему полежать на кушетке, чтоб не сорвать ход организма до получения денег.

Жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу строго подумать, что может случиться, благодаря чему мы не получим этих денег.

Вот проходит целый день, и утром снова раздаются крик, топот и грубые восклицания.

Все жильцы спешат на место происшествия и вот что видят.

Борис Андреевич лежит в розовых подштанниках на кушетке. Челюсти у него трясутся, и капли падают с носа.

Жена говорит:

— Еще хорошо, что его, подлеца, у меня в ряды партии не приняли. Вот бы он мне конфетку подложил.

Жильцы говорят:

— А что такое?

— Да как же, — говорит, — что! Он, оказывается, у меня две недели назад, не дождавшись выигрыша, стал, как ребенок, рекомендации себе просить у разных высших лиц. Хорошо — ему не дали. Он хотел, видите ли, записаться. Вот бы пришлось, наверное, я так думаю, половину денег отдать на борьбу с тем и с этим и в МОПР и во все места.

Один жилец говорит:

— Отдавать не обязательно, но, конечно, другие по своей охоте оставляют себе рублей шесть на папиросы, а все остальные отдают на строительство.

Жена говорит:

— Хорошо, что дураков в партию не принимают,
— вот был бы номер!

Борька кричит:

— Об чем речь, раз этого нету. В жизни все бывает к лучшему.

Жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Я хочу подумать, что еще может случиться.

На третий день Боря получил деньги сполна. Он со вздохом отдал двадцатку на дирижабль, а остальные принес домой. И заперся в комнате.

На четвертый день утром раздаются крики, воркотня, вопли, топот и грубая брань.

Это Борис Андреевич, поругавшись с женой, разводится с ней и теперь уходит к одной барышне. Такая жила в другом конце коридора — Феничка. Такая белобрысенькая. И, кажется, из чухонок. Но такая удивительно миленькая душечка. Тоненькая, как мечта поэта.

И он, собрав вещи, как раз переходит к ней и так про жену восклицает:

— Ухожу от нее, поскольку я увидел всю ее мелкобуржуазную сущность. Она меня в такое героическое время подбила взять заявление, и я ей никогда этого не прощу и всякий раз, видя ее, буду непременно страдать и огорчаться. Но я не хочу ее даром бросить. Я ей дам рублей сто денег, и пускай она, дьявол, не вмешивается в мои сердечные дела.

Жена говорит:

— Вот так да! Я же вам говорила.

Тогда племянник Вовка совместно с Борисом Андреевичем моментально переносят вещи к Феничке и там весь вечер празднуют пышный бал.

На шестой день снова в квартире раздаются крики, возгласы и дамские слезы.

— Что такое? Пардон. Извиняюсь, что случилось?

— Ах, это, знаете, у Бориса Андреевича украли ночью все деньги.

Рисуется чудовищная картина ужаса и потрясения.

Сам Борис Андреевич лежит на кровати с физиономией, бледной как глина. Он шепчет слова удивления и разводит руками, показывает этим силу своего душевного страдания.

Тут же рядом на ковре лежит без памяти Феничка. У нее украли туфельки и пальто.

Тут узнается, что Борькин племянник Чучелов, не сдав еще экзаменов на шофера, исчез неизвестно куда. Рисуется картина подлой кражи со стороны этого бешеного родственника.

Тогда вдруг появляется Феничкин брат или чорт его знает кто. Тоже, кажется, из чухонцев. Со значком ГТО.

Он почти ничего не говорит и только ногами выпихивает лишних обитателей из комнаты.

Последним номером он выгоняет Борьку Фомина и бьет его в рыло за исковерканную дамскую жизнь плюс туфельки и пальто.

Борька с криками страдания мечется по коридору со щекой, вспухшей как пирог.

Тогда его бывшая жена берет его под свое покровительство и разрешает ему снова находиться на ее половине.

Борька ложится на пол в ее комнате и страдает так, что даже пришедший милиционер, привыкший видеть все, что бывает, не может этого видеть.

Борька говорит жене:

— Ах, я сам не понимаю, как я от вас ушел. Только ваша любовь завсегда скрашивала мои невероятные страдания. Я, как в бреду, жил три дня с этой белобрысой чухонкой, у которой совершенно поделом унесли плюшевые туфли и пальто и у которой брат я не знаю какой подлец и убийца живых существ. Ах, у меня была морока в голове от этих всех дел. Я вам в присутствии товарища милиционера приношу свои сердечные извинения за все явления.

Милиционер говорит:

— Ах, перестаньте вы канючить. Моя душа буквально разрывается от этих слов. Я прошу вас замолчать и говорить то, что случилось, а не то, что было. Я, — говорит, — составляю протокол, а не пишу поэмы из жизни оборванцев.

Борька говорит:

— Тогда слушайте. Феничка ночью спала, а я, не помню зачем-то, на минутку пошел в уборную. Наверное, Вовка Чучелов все это увидел и взял из комнаты эти деньги и эти вещи.

Милиционер записывает это и уходит.

Муж с женой мирятся и живут друг с другом с необыкновенной любовью.

Борька с Феничкой не раскланивается. А она щеголяет в новых туфельках, неизвестно откуда полученных.

Феничкина сестра Сима, с которой Борька разговаривался, сказала, что этот белобрысый, побивший его, отнюдь не брат, а любовник. И этим все объясняется.

Страдания Борьки прекращаются. Он ходит на работу и там дает разные смелые обещания.

Жена говорит:

— Ну, ладно, что же делать, если тебе нравится, попроси у кого-нибудь рекомендацию. Ты у меня тянешься ко всему, как ребенок.

Вдруг через две недели вызывают Борьку в милицию. И там ему сообщают, что в Гаграх, на Кавказе, поймали его племянника Вовку Чучелова. Он истратил четыреста рублей, а остальные деньги Борька может моментально получить обратно.

Борька с лицом, бледным как глина, возвращается домой. У него в руках деньги. И он садится на кушетку, неохотно смотрит на всех и не совсем понимает, что случилось.

Его жена говорит:

— Ах, уйдите все из комнаты. Еще неизвестно, что будет.

Эта неизвестность продолжается три дня.

После чего Борис Андреевич вдруг моментально с бухты-барахты женится на Феничкиной сестре — Симе.

От счастья он не ходит на работу три дня, и его выгоняют на полгода. Но он на это плюет и не горюет. Он кладет свои деньги на книжку. И эту книжку носит теперь на груди на самом толстом шпагате.

Феничка говорит, что ей все это безразлично. А жена говорит: «Вот так штука!» — и выходит неожиданно замуж за знакомого бывшего поляка, который переезжает на ее площадь, как не имеющий таковой.

Вот теперь интересно, что будет, когда Борис Андреевич поистратится.

1934-1935

ЗАБАВНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ

Жена одного служащего, довольно молодая и очень интересная дама, выходец из мелкобуржуазной семьи, влюбилась в одного актера.

Он был артист драмы и комедии. И вот она в него влюбилась.

Или она увидела его на подмостках сцены, и он покорила ее великолепной игрой, или, наоборот, она игры его не видела, а он, может, просто понравился ей своей артистической внешностью, но только, в общем, она в него порядочно сильно влюбилась. И даже она одно время не знала, как ей поступить: уйти ли ей от мужа и перейти к артисту, или от мужа ей не уходить, а, просто, увлекаться актером, не перестраивая своей жизни.

Но потом, увидев, что актер драмы вроде как ничего не имеет — ни положения, ничего такого особенного, — решила от мужа не уходить. Тем более, что артист и сам не горел желанием на ней жениться, бу-

дучи уже человеком, обремененным многочисленной семьей.

Но поскольку они были влюблены друг в друга, они все же стали встречаться по временам.

И он ей звонил по телефону, и она к нему забегала на репетицию, чтоб посмотреть, как он бойко играет роли. И через это она в него еще сильнее влюбилась и мечтала с ним почаще встречаться.

Но поскольку им, собственно, негде было встречаться, то они, буквально как Ромео и Джульетта, стали встречаться на улице или в кино или забегали в кафе, чтобы перекинуться нежными словами.

Но такие короткие встречи их, конечно, мало удовлетворяли, и они постоянно горевали, что их жизнь неблагоприятно складывается и им даже негде поговорить о своей безумной любви.

А к нему она, конечно, не могла заходить, поскольку артист был семейный человек.

А что касается, если к ней зайти, то она нередко его приглашала, когда ее супруг был в учреждении. Но он, зайдя пару раз, категорически от этого отказался.

Как человек нервный, одаренный, кроме того, болезненным художественным воображением, он попросту пугался находиться у нее, думая, что вот, мало ли, сейчас войдет муж и начнутся, может быть, крупные разговоры со стрельбой и так далее.

И в силу таких мыслей артист находился у нее в гостях, так сказать, в ненормальном состоянии и, вообще, полумертвый от страха.

И тогда она, конечно, перестала его приглашать к себе, поскольку видит, что человек ну просто душевно болеет и делается как бы не от мира сего.

И вот однажды она ему говорит:

— Тогда — вот что! Если хотите со мной повидаться, то приходите в следующий выходной день к моей подруге.

Артист драмы говорит:

— Вот и великолепно! А то, знаете, моя профессия требует утонченных нервов, и я, — говорит, — не могу не робеть, находясь у вас.

А у нее была ближайшая подруга Сонечка. Очень миленькая особа, не без образования. Кажется, из балетных.

И муж нашей дамы вполне одобрял это знакомство, говоря, что лучшей подруги для жены он себе и не желает.

И вот наша балетная после горячих просьб разрешила своей подруге повидаться у нее для переговоров с любимым человеком.

И вот утром в выходной день наш артист, получше принарядившись, попорол на это свидание.

А надо сказать, что в трамвае у него случился небольшой эпизод и столкновение с соседом. Ну, вообще, легкая перебранка, крики и так далее. В результате чего наш артист, как человек несдержанный немного более, чем следует, погорячился. И когда сосед после перебранки сошел с трамвая, наш артист, не утерпев, плюнул в него. И был очень рад, что трамвай быстро пошел и оскорбленный сосед не мог уже догнать его, как того хотел.

Однако от этого столкновения настроение нашего артиста не испортилось. Он встретился со своей симпатией, и они совместно пошли к подруге, которая проживала в коммунальной квартире, в небольшой, но уютной комнате, ключ от которой находился теперь в их руках.

И вот они зашли в комнату, присели на диван, чтоб поговорить о своей дальнейшей жизни, но вдруг в дверь кто-то постучал.

Молодая дама сделала артисту знак не отзываться, но артист и без того замер в безмолвии.

Вдруг за дверью раздается голос:

— Скажите, а скоро она вернется?

Наша дама, услышав голос, страшно побледнела и шопотом сказала актеру, что это голос ее мужа.

И что муж, должно быть, увидел их на улице и вот он теперь их выследил.

Артист драмы, услышав о подобном камуфлете, просто даже затрясся и задрожал и, затаив дыхание, прилег на диван, с тоской глядя на свою симпатию.

А голос за дверью говорит:

— Тогда я напишу записку. Скажите, что я заходил.

И вот муж нашей дамы (а это был действительно он), написав записку, подсунул ее под дверь, и сам пошел к выходу.

Наша дама, очень удивившись, моментально схватила эту записку и стала читать ее. После чего начала громко рыдать, вопить и падать на диван.

Артист драмы, немного придя в себя от звуков дамского голоса, тоже не без удивления зачитал эту записку, в которой говорилось:

«Крошка Сонечка! Я случайно освободился раньше и заскочил к тебе, но — увы! — не застал. Зайду в три. Крепко целую. Николай».

Наша дама, сквозь слезы и рыдания, говорит артисту:

— Что бы это значило? Как вы думаете?

Артист говорит:

—Скорее всего, ваш муж увлекается вашей подругой. И он зашел сюда не иначе, как отдохнуть от своей семейной жизни. Теперь ваша совесть должна быть спокойна, — позвольте вашу ручку.

И только он хотел предподнести ее ручку к своим шершавым губам, как раздается неистовый стук в дверь. И за дверью слышится тревожный голос подруги:

— Ах, откройте поскорее! Это я пришла. Не заходил ли кто-нибудь без меня?

Услышав эти слова, наша дама моментально разразилась рыданиями и, открыв дверь, с плачем подала подруге оставленную записочку.

Та, прочитав записку, немного смутившись, сказала:

— В этом нет ничего удивительного. А раз вы все знаете, то я скрываться не буду. В общем, я прошу вас моментально уйти, поскольку ко мне должны кое-кто зайти.

Наша дама говорит:

— То есть как кое-кто? Из записки видно, что к тебе сейчас мой муж зайдет. Хорошенькое дело! — уйти в такую минуту. Да я, может, желаю посмотреть, как этот подлец переступит порог этого вертепа.

Молодой человек, у которого попросту испортилось настроение от всех этих передряг, хотел было уйти от греха, но наша дама в пылу раздражения не велела ему уходить.

Она сказала:

— Вот сейчас явится мой муж, и тогда мы разрушим этот запутанный узел.

Услышав слова, близкие к лексикону военной жизни, артист, найдя шапку, стал уже более энергично прощаться и уходить. Но тут между подругами произошла перебранка и спор относительно его самого — надо ли ему уходить.

Сначала обе подруги хотели его оставить до прихода мужа, как вещественное доказательство. Первая — чтоб показать мужу, что за птица ее подруга, допустившая их в свою комнату, вторая — чтоб показать, какова его жена.

Но после этого мысли у них переменились. Подруга вдруг не захотела себя компрометировать, а жена не пожелала упасть в глазах мужа. И, на этом сговорившись, они велели нашему артисту моментально поскорей уйти.

И только этот последний, довольный таким оборотом, стал прощаться, как вдруг снова раздался стук в дверь. И голос мужа произнес:

— Дорогая Соня, это я! Откройте!

Тут произошла некоторая паника и замешательство в комнате.

Артист драмы моментально поник духом и, находясь в страшной тоске, хотел было прилечь на диван, чтоб притвориться больным или умирающим, но вовремя подумал, что как раз в подобном горизонтальном положении по нем и могут скорей всего открыться огонь как по легкомысленно лежащему на диване.

И в силу этого он стал мотаться по комнате, задевая за все ногами и производя страшный шум и грохот.

Пришедший муж, находясь за дверью, крайне удивился задержке и грохоту и начал уже более энергично колотить в дверь, думая, что в комнате происходит что-нибудь особенное.

Тогда подруга говорит артисту:

— Вот эта дверь ведет в комнату моего соседа. Я вам сейчас ее открою. Пройдите туда и оттуда дверь в коридор и на лестницу. Горячий привет!

И сама поскорей открывает крючок на двери и велит артисту поскорее уйти, тем более что пришедший муж, услышав в комнате шум, стал срывать дверь с петель, чтоб войти в комнату. Тогда наш артист пулей вбежал в соседнюю комнату и хотел было уйти в коридор, как вдруг заметил, что дверь в коридор была заперта с той стороны, повидимому, на всякий замок.

Артист бросился было назад, чтоб сказать двум дамам о том, что он в критическом положении — дверь закрыта, и ему не пройти. Однако уже было поздно.

В эту комнату был впущен муж, и там поднялся разговор, при котором появление артиста было бы крайне нежелательным.

Тогда артист, как человек неуравновешенный, моментально ослаб от множества событий и, почувствовав крайний физический упадок и головокружение,

прилег на кровать, полагая, что он тут в полной безопасности.

И вот он лежит себе на кровати и думает разные отчаянные мысли — о том, о сем и в частности о вздорности любовных порывов. И вдруг слышит, как кто-то гремит замком в коридоре. Кто-то такое, одним словом, возится около двери и, должно быть, сейчас войдет в комнату.

И вдруг дверь действительно открывается, и на пороге показывается человек с корзинкой пирожных и с бутылкой вина.

Увидев человека, лежащего на его кровати, пришедший раскрывает рот от удивления и, мало чего понимая, хочет захлопнуть за собой дверь.

Артист начинает извиняться и лепетать разные слова, и вдруг он с ужасом видит, что вошедший хозяин комнаты есть не кто иной, как тот человек, с которым он утром побранился и в которого он плюнул с площадки трамвая.

Не рассчитывая унести ноги, наш артист снова, как малолетний ребенок, ложится на кровать, думая, что это в крайнем случае только сон, который сейчас пройдет, и тогда наступит великолепная жизнь, без всяких особых неприятностей и передраг.

Вошедший, у которого удивление пересилило гнев, говорит жалобным голосом:

— Да что ж это такое, господа? Ко мне сейчас знакомая придет, а тут, глядите, какое-то мурло расположилось в моей комнате. Как же он в нее вошел? через запертую дверь?

Артист, видя, что ему рук не ломают и его не бьют по сопатке, говорит с душевным подъемом:

— Ах, пардон! Я сию минуту уйду. Я только на секундочку прилег отдохнуть... Я не знал, что это ваша кровать... У меня голова закружилась от множества событий...

Тут хозяин комнаты, у которого гнев снова пересилил удивление, стал кричать:

— Но это безобразие! Он, глядите, вперся с ногами на мою кровать. Да я, может быть, знакомым своим не разрешаю с ногами находиться. Это что за новости! Какой подлец!

И он подбегает к артисту, хватая его за плечи и буквально вытряхивает с кровати. И вдруг замечает, что личность артиста уже ему знакома по утреннему происшествию.

Тут наступает небольшая пауза.

Хозяин, мало чего понимая, говорит:

— Ах, вот когда ты мне попался, рыбий глаз!

И хочет его схватить за горло.

Но в это время раздается нежный стук в дверь. Хозяин говорит:

— Ну, скажи спасибо, что ко мне дама сейчас пришла, которую я жду. А то бы я из тебя сейчас размазню сделал.

И взяв артиста за воротник, тащит его к дверям, чтоб выпихнуть его в коридор, как тряпку, на что артист вполне соглашается и даже доволен.

Но вдруг открывается дверь, и на пороге комнаты появляется довольно интересная дама, которая пришла в гости к хозяину и явилась в некотором роде как бы спасительницей нашего пресловутого артиста.

Однако наш артист при виде дамы просто попятился назад от изумления и даже закачался, поскольку эта вошедшая дама была его супруга.

И в смысле совпадения это было действительно нечто поразительное.

Тут наш артист, крайне молчаливый за последние два часа, начал просто орать и буянить, требуя от жены объяснений, что значит это таинственное посещение.

Жена начала плакать и рыдать и говорить, что это ее сослуживец и что она действительно иногда к нему заходит попить чаю с пирожными.

Сконфуженный сослуживец сказал, что теперь, поскольку они квиты, они могли бы помириться и

втроем выпить чаю. На что актер разразился такой неистовой бранью и криками, что жена впала в истерику. А ее сослуживец снова полез драться, почувствовав оскорбление за плевков.

И тогда все соседи прибежали поглядеть, что у них тут делается.

Среди присутствующих оказались также и наша дама с мужем и с подругой.

Узнав все, что произошло, все шестеро, собравшись в комнате, стали совещаться, что же им делать.

Которая из балетных так говорит своей подруге:

— Очень просто! Я выхожу замуж за Николая. Артист женится на тебе, а эти двое сослуживцев тоже составят вполне счастливую пару, служащую в одном учреждении. Вот как нам надо сделать.

Сослуживец, к которому пришла жена артиста, говорит:

— Здравствуйте, пожалуйста! У ней, кажется, куча ребятишек, а я на ней буду жениться. Тоже, знаете, нашли простачка.

Артист драмы говорит:

— Я прошу не оскорблять моей жены. Тем более, я не намерен выдавать ее за первого встречного.

Жена артиста говорит:

— Да я бы к нему и не переехала. Глядите, какая у него комната! Разве я могу вчетвером, с детьми, тут находиться?

Сослуживец говорит:

— Да я тебя с детьми на пушечный выстрел к этой комнате не подпущу. Имеет такого подлеца мужа, да еще вдобавок мою комнату хочет отобрать. Вижу — уже лежит один на моей кровати.

Сонечка из балетных примиряюще говорит:

— Тогда давайте так: я выйду за Николая, артист с супругой так и останутся, как были, а на жене Николая мы женим этого дурака сослуживца.

Сослуживец говорит:

— Здравствуйте! Еще не легче. Вот я сейчас с ней

запишусь. Держите карман шире! Да я в первый раз вижу эту облезлую фигуру. К тому же, может, она карманная воровка?!

Артист говорит:

— Просьба не оскорблять наших дам. Я считаю, что это правильный выход.

Наша дама говорит:

— Ну, нет, знаете. Я не намерена из своей квартиры никуда выезжать. У нас три комнаты и ванна. И не собираюсь болтаться по коммуналкам.

Сонечка говорит:

— Из-за трех негодяев у нас все пары распадаются, — так было бы славно. Я за Николая, эта за этого. А эти так.

Тут между дам началась грубая перебранка и счеты о том, о сем. После чего мужчины, скрепя сердце, решили, что все должно идти попрежнему. На этом они и разошлись.

Однако совершенно попрежнему не пошло. Сонечка вскоре вышла замуж за своего соседа, сослуживца жены артиста. И к ней по временам стал приходить в гости наш артист, который ей понравился благодаря своему мягкому, беззащитному характеру.

А наша дама, разочаровавшись в обывательском характере артиста, влюбилась в одного физиолога. А что касается Николая, то у него, кажется, сейчас романов нет, и он всецело погружен в работу, но с Сонечкой он, впрочем, иногда встречается, и в выходные дни он нередко ездит с ней за город.

1935

БОЛЬШОЙ СЮРПРИЗ

Вот какой подлинный случай произошел этим летом в нашем дачном местечке.

Подъезжает к вокзалу шикарный автомобиль. И там сидит какой-то интурист. Это толстый мужчина, лет пятидесяти. Причем одет он ослепительно. Ши-

рокое пальто. Очки. И какая-то особая мохнатая кепочка. И вдобавок он держит во рту сигару.

То есть, по виду это прямо типичный представитель буржуазных стран.

Вот машина остановилась. И шофер, обернувшись, говорит иностранцу по-русски:

— Тогда я буду в акурат вас тут поджидать.

Интурист кивнул ему головой, дескать, ладно. И сам вышел из машины.

И, выйдя на мостовую, оглянулся по сторонам. Потом сделал несколько шагов. Остановился. Потом опять пошел. И снова встал. И кепочку снял.

И тут все зрители увидели, что этот человек нервничает. Он, как бы сказать, сильно волнуется. Он во все всматривается. И все хочет увидеть. И каждая дачная картинка его трогает.

Тогда одна из местных жительниц, зимогорка Н., не могущая дальше выносить неизвестности, подходит до него и говорит:

— Если вы дачу приехали снимать, то уже июль и все сдано. Или что с вами?

Интурист махнул рукой, дескать, отвяжитесь. И без слов пошел дальше.

Тут несколько человек с зимогоркой вместе обращаются к шоферу. Тот говорит:

— Видите, это один иностранец. У него номер в гостинице «Астория». Сам он, представьте себе, швейцарский подданный, но в смысле своего прошлого он говорит, что он чисто русский. И это его родные места. Он тут жил в свое время, до революции. И тут у него была собственная дача. И он теперь на правах интуриста посетил это дачное местечко. Он захотел взглянуть, где он тут жил в дни своей молодости. И через это его волнение ударяет, и он даже попорол пешком, чтобы насладиться картинами прежних переживаний.

Тогда все, кому это сказал шофер, посмотрели на идущего интуриста.

А он, сняв кепочку, шел теперь по Сосновой улице к самому озеру.

И, дойдя до озера, он остановился, потом взял вправо и вдоль по берегу пошел дальше.

Наверно он живо держал в своей памяти всю эту местность, если спустя двадцать лет шел и не сомневался.

И вот идет он по-над озером. И вдруг остановился. Растерянно оглянулся. Пошел назад. Потом опять вернулся. И развел руками, как бы говоря: ничего не понимаю.

Тогда зимогорка Н., уже ранее с ним говорившая, снова подходит к нему.

Он ей говорит:

— Вот так номер. Не могу, знаете ли, тетушка, отыскать собственную дачу. Двадцать лет, — говорит, — я ее во сне видел и каждый день желал на нее взглянуть. А сейчас, когда это совершилось и когда я сюда прибыл в качестве иностранного туриста, я не могу ее отыскать. А ведь, кажется, я тут до революции прожил целых тринадцать лет. Дважды, — говорит, — я был тут влюблен в местных дачниц. Каждое деревцо я тут знаю. И весь фасад этой дачи я всегда держал в своем воображении. И, тем не менее, не могу теперь отыскать ее среди всех этих дач.

Зимогорка говорит:

— А скажите: под каким номером шла ваша дача?

Интурист ей говорит:

— Вы, — говорит, — тетушка, дура не дура, но вроде того. Если б я номер знал, то и сам бы посмотрел. Но я номера не помню. А что касается фамилии, то до революции это была дача владельца Петра Свинцова.

Тут среди собравшихся людей выступил местный житель зимогор Попов. Он так сказал:

— Теперь, когда вы назвали фамилию, я в вас узнаю бывшего дачевладельца Свинцова. Ваша, — говорит, — дача стояла в акурат на этом месте. И

вы вполне правильно тут остановились. Но только ваша дача еще в 1925 году сгорела от пожара. И на ее месте построен вот этот домик.

Тут все собравшиеся взглянули в лицо интуриста. Все захотели увидеть, как он перенесет это неприятное известие. Все-таки он так мечтал увидеть свою дачу, с которой было связано столько чудных воспоминаний. И вдруг, здравствуйте, — ее больше нету.

Услышав это известие, интурист покачнулся, ахнул, всплеснул руками и, просяивши, сказал:

— Сгорела? Слава Богу!

Зимогор Попов сказал:

— Почему вы так восклицаете?

— Я так восклицаю, — сказал интурист, — потому, что я узнал, что мое добро никому не досталось.

Тогда все растерялись и не знали, что ответить. И только зимогор Попов сказал:

— Напрасно восклицаете. Ваша дача сгорела в 1925 году, но до этого времени она шесть лет была под детскими яслями.

— Что она была под детскими яслями, — ответил интурист, — меня это не волнует, но вот если бы сейчас я на этой даче кого-нибудь увидел в качестве владельца, — вот это было бы мне в высшей степени неприятно и тяжело. И я даже не знаю, как бы я перенес этот удар. Но теперь я благодарю судьбу, что мое добро никому не досталось. И это мне такой большой сюрприз, какой я даже и не ожидал получить в вашей стране.

Тогда зимогор Попов, довольно революционно настроенный, так нарочно сказал интуристу:

— Дача ваша сгорела, но вот, кажется, ваше имущество спасли и перебрали в дом отдыха.

Так он ему сказал и смотрит: не хватит ли того кондрашка.

Интурист помахал на себя кепочкой, как веером, и сказал, вздохнувши:

— Зато дача сгорела. И я, снова счастливый и помолодевший, уезжаю в свою Швейцарию.

Потом, испугавшись, не наговорил ли он лишнего, интурист повернулся на каблуках и быстро, не глядя по сторонам, пошел к вокзалу.

Он дошел до своей машины и, сказав шоферу что-то по-французски, велел ехать.

А зимогорке Н. он, порывшись в карманах, хотел дать какую-то мелочь, но та не взяла и даже хотела позвать милиционера, чтобы обуздать интуриста, прибывшего к нам из другого мира со своими навыками.

Но пока она прикидывала в своем уме, как и что, машина уехала. И на этом дело кончилось.

1936

ОПАСНЫЕ СВЯЗИ

Современная молодая женщина не любит, когда ей говорят уменьшительные слова. Она не любит, когда ей говорят: «ротик», «ручки» или «ножки».

Она на это сердится. И даже, я так думаю, через это может разрыв произойти.

Одна особа мне так и сказала:

— Какие, к черту, ножки. Я, говорит, сорок первый размер бареток ношу, а вы, — говорит, — все свое. Подлец вы, — говорит, — а не человек. Вы, — говорит, — мне жизнь губите своей дурацкой чувствительностью.

Откровенно вам сказать, я даже опешил от таких слов.

Она говорит:

— Это, — говорит, — в прежнее время избалованные дамы или там графини любили в своих будуарах такие сентиментальности. А я, — говорит, — плюю на таких мужчин, как вы.

— Вот тебе, — говорю, — здравствуйте. Как, — говорю, — понимать ваши слова?

А как понимать ее слова, когда она с тех пор мне

по телефону ни разу не звонила и при встрече со мной не поздоровалась?

А это верно: современные молодые женщины любят что-нибудь смелое, героическое. Им, я заметил, не нравится что-нибудь обыкновенное. Они любят, чтобы мужчина был непременно летчик или там в крайнем случае бортмеханик. Тогда они расцветают, и их не узнать.

А интересно их спросить: что же, все люди, что ли, должны быть летчиками и бортмеханиками?

Конечно, я ничего не говорю, профессия бортмеханика до некоторой степени удивительная, и она вызывает разные эмоции у зрителей. Но тоже, как говорится, невозможно, чтоб все без исключения летали под небеса.

Некоторым приходится занимать более скромные земные посты в канцеляриях и так далее.

А то им еще почему-то нравятся кинооператоры. Это уж прямо, как говорится, неизвестно почему. Крутит ручку и думает: «Наполеон».

Еще тоже вызывают женскую любовь приехавшие из Арктики. Ну, льды там. Снег. Северное сияние. Подумаешь!

Вобщем говоря, я четыре раза женился, и все как-то такое у меня не вытанцовывалось. Ну, первые две жены увлеклись бортмеханиками. Третья сошлась с кинооператором. Ну, как говорится, это бывает. Но четвертый брак меня удивил своей неожиданностью. И я как гражданин, испытавший это, должен предостеречь остальных мужчин от подобных бракосочетаний.

У меня было знакомство с одной особой. И мы решили с ней пожениться. Но я ее честно предупредил:

— Имейте в виду, — говорю, — я не порхаю под небеса и навряд ли, — говорю, — для вашего удовольствия когда-нибудь прыгну с крыши с парашютом. Так что, если вы увлекаетесь небесной профессией, то

вопросов, как говорится, к вам не имею. И тогда давайте замнем вопрос о браке. Она говорит:

— Профессия не играет роли. И к летчикам я отношусь равнодушно. Но мне единственно важно, чтоб наш союз был до некоторой степени свободный. Я не люблю стеснений личности. Я, — говорит, — до вас семь лет была замужем, и муж меня даже в театр с кем-нибудь не пускал. И теперь я бы желала иметь с вами брак, основанный на товарищеских условиях. И если, например, вы кем-нибудь увлечетесь, я вам ничего не скажу. А если я кого-нибудь встречу, то и вы, тем более, мне не будете возражать. И тогда наш брак, наверно, будет более продолжительный, основанный на разумном понимании двух любящих сердец. А то, что муж будет иметь мелкую профессию, то это даже и лучше. По крайней мере он будет знать свое место и не станет с меня требовать невозможного.

Я говорю ей:

— Я четвертый раз женюсь, и у меня, — говорю, — ум за разум заходит от всевозможных понятий. То, — говорю, — одна не велит уменьшительные слова ей говорить. То, — говорю, — другая сходится с кинооператором. То, — говорю, — вы еще что-то мне преподнесите. Но, — говорю, — поскольку мое сердце занято вами, то пускай будет по-вашему.

И вот, конечно, мы женимся и живем на разных квартирах. И все у нас идет хорошо и дружелюбно. Но вдруг она через неделю увлекается одним своим знакомым, который прибыл из Арктики.

Она мне говорит согласно нашего договора:

— Если хотите, давайте разойдемся. Но если еще питаете ко мне некоторые чувства, то давайте придерживаться наших условий. Тем более, мой знакомый снова в скором времени уезжает в экспедицию, и тогда у нас с вами опять что-нибудь хорошее получится.

И вот я, как дурак, ожидаю его отъезда месяц и два. И, наконец, моя соседка по комнате говорит:

— Напрасно будете ее ждать. Ваше дело битое: она к вам нипочем назад не вернется.

Но проходит еще месяц, и вдруг моя супруга возвращается со словами: я, дескать, его окончательно отшила, тем более, что он снова уехал в свое северное путешествие.

Я говорю:

— Но теперь с моей стороны возникли препятствия; я, — говорю, — увлекся своей соседкой. А если у вас остались ко мне чувства, то, — говорю, — я согласен с ней разойтись.

И вот я стал расходиться со своей соседкой. И только я с ней разошелся, гляжу: моя супруга через месяц спокойной жизни снова увлеклась приятелем и спутником по путешествию того человека, который уехал в Арктику. А этот полярник почему-то остался. И она им увлеклась. И стала с ним жить.

Вот я, согласно условию, жду несколько месяцев и вдруг узнаю, что у нее будет от него ребенок.

Я говорю ей:

— Интересный брак у нас получается. Эти, — говорю, — полярники, бортмеханики и кинооператоры меня буквально с ног валят.

Она говорит:

— Хотите — подождите, когда он меня разлюбит или когда ребенок немного подрастет. И тогда будем продолжать наши условия. А не хотите — так как хотите. Вообще, — говорит, — вы мне прямо надоели своим вечным нытьем и недовольством. Я, — говорит, — не от себя завишу. Мое сердце мне подсказывает, каких современных мужчин мне любить и каких ненавидеть. Не только, — говорит, — вы не имеете значка ГТО, но хоть бы для смеха прошли курс санитарной обороны. Уж я не говорю, чтобы вы были ворошиловский стрелок или поехали бы куда-нибудь на север. Не эти, — говорит, — профессии вас с ног валят, а просто у вас характер неинтересный, далекий от современности. Нынче богачей нету, и капиталом свое

убожество прикрывать не приходится, так что надо улучшать свою личность, чтоб заслужить женскую любовь.

Я говорю:

— То одна не велит уменьшительных слов произносить, то другая детей преподносит. И вдобавок мне лекции читает.

Вдруг она открывает дверь в соседнюю комнату и кричит уменьшительные слова:

— Ваничка, этот типус опять к нам скандалить пришел. И хотя он мой муж, но выгони его к чорту. Я, — говорит, — чувствую, что через него истерику наживу.

И вдруг входит в комнату приятель того, который в Арктику уехал. Здоровенный такой мужчина, закаленный северным воздухом. И вдобавок парашютист, со значком.

— Об чем, — говорит, — молодой человек, вы тут загораетесь?

Я попрощался с ним и ушел с намерением все это описать, чтобы другие нелетающие мужчины остерегались попадать в такое же, как говорится, непромокаемое положение.

Я гляжу против таких свободных браков. Я стою за более крепкий брак, основанный на взаимном чувстве. А где это чувство взять, ежели я и парашюта никогда в глаза не видел? И севернее Лигова нигде не жил.

Прямо хоть становись героем, чтобы сравняться с остальным населением.

1936

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ

Иду я раз однажды по улице и вдруг замечаю, что на меня женщины не смотрят.

Бывало, раньше выйдешь на улицу этаким, как говорится, кандебобером, а на тебя смотрят, посылают

воздушные взгляды, сочувственные улыбки, смешки и ужимки.

А тут вдруг вижу — ничего подобного!

Вот это, думаю, жалко! Все-таки, думаю, женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Один буржуазный экономист или, кажется, химик высказал оригинальную мысль, будто не только личная жизнь, а все, что мы ни делаем, мы делаем для женщин. И, стало быть, борьба, слава, богатство, почести, обмен квартиры и покупка пальто и так далее и тому подобное, — все это делается ради женщины.

Ну, это он, конечно, перехватил немного, заврался на потеху буржуазии, но что касается личной жизни, то я с этим всецело согласен.

Я согласен, что женщина играет некоторую роль в личной жизни.

Все-таки, бывало, в кино пойдешь, не так обидно глядеть худую картину. Ну, там ручку пожмешь, разные дурацкие слова говоришь, — все это скрашивает современное искусство и бедность личной жизни.

Так вот, каково же мое самочувствие, когда раз однажды я вижу, что женщины на меня не смотрят!

Что, думаю, за чорт? Почему на меня бабы не глядят? С чего бы это? Чего им надо?

Вот я прихожу домой и поскорей гляжусь в зеркало. Там, вижу, вырисовывается потрепанная физиономия. И тусклый взор. И краска не играет на щеках.

«Ага, теперь понятно! — говорю я сам себе. — Надо усилить питание. Надо наполнить кровью свою поблекшую оболочку».

И вот я в спешном порядке покупаю разные продукты.

Я покупаю масло и колбасу. Я покупаю какао и так далее.

Все это ем, пью и жру прямо безостановочно. И в короткое время возвращаю себе неслыханно свежий, неутомленный вид.

И в таком виде фланирую по улицам. Однако замечаю, что дамы попрежнему на меня не смотрят.

«Ага, — говорю я сам себе, — может быть, у меня выработалась дрянная походка? Может быть, мне не хватает гимнастических упражнений, висения на кольцах, прыжков? Может, мне недостает мускулов, на которые имеют обыкновение любоваться дамы».

Я покупаю тогда всячую трапецию. Покупаю кольца и гири и какую-то особенную рюху.

Я вращаюсь, как сукин сын, на всех этих кольцах и аппаратах. Я верчу по утрам рюху. Я бесплатно колю дрова соседям.

Я, наконец, записываюсь в спортивный кружок. Катаюсь на лодках и на лодчонках.купаюсь до ноября. При этом чуть не тону однажды. Я ныряю сдуру на глубоком месте, но, не достав дна, начинаю пускать пузыри, не умея прилично плавать.

Я полгода убиваю на всю эту канитель. Я подвергаю жизнь опасности. Я дважды разбиваю себе голову при падении с трапеции.

Я мужественно сношу все это и в один прекрасный день, загорелый и окрепший, как пружина, выхожу на улицу, чтобы встретить позабытую женскую одобрительную улыбку.

Но этой улыбки опять не нахожу.

Тогда я начинаю спать при открытом окне. Свежий воздух внедряется в мои легкие. Краска начинает играть на моих щеках. Физия моя розовеет и краснеет. И принимает даже почему-то лиловый оттенок.

Со своей лиловой физиономией я иду однажды в театр. И в театре, как ненормальный, кручусь вокруг женского состава, вызывая нарекания и грубые намеки со стороны мужчин и даже толкание и пихание в грудь.

И в результате вижу две-три жалкие улыбки, каковые меня мало устраивают.

Там же, в театре, я подхожу к большому зеркалу и люблюсь на свою окрепшую фигуру и на грудь,

которая дает теперь с напругой семьдесят пять сантиметров.

Я сгибаю руки и выпрямляю стан и расставляю ноги то так, то так.

И искренно удивляюсь той привередливости, того фигурянья со стороны женщин, которые либо с жиру бесятся, либо, пес их знает, чего им надо.

Я люблюсь в это большое зеркало и вдруг замечаю, что я одет неважно. Я прямо скажу — худо и даже безобразно одет. Прекороткие штаны с пузырями на коленях приводят меня в ужас и даже в содрогание.

Но я буквально остолбеваю, когда гляжу на свои нижние конечности, описанию которых не место в художественной литературе.

«Ах, теперь понятно! — говорю я сам себе. — Вот что сокрушает мою личную жизнь, — я плохо одеваюсь».

И, подавленный, на скрюченных ногах, я возвращаюсь домой, давая себе слово переменить одежду.

И вот в спешном порядке я строю себе новый гардероб. Я шью по последней моде новый пиджак из лиловой портьеры. И покупаю себе брюки «оксфорд», сшитые из двух галифе.

Я хожу в этом костюме, как в воздушном шаре, огорчаясь подобной моде.

Я покупаю себе пальто на рынке с широкими плечами. И в выходной день однажды выхожу на Тверской бульвар.

Я выхожу на Тверской бульвар и выступаю, как дресированный верблюд. Я хожу туда и сюда, вращаю плечами и делаю па ногами.

Женщины искоса поглядывают на меня со смешанным чувством удивления и страха.

Мужчины — те смотрят менее косо. Раздаются ихние замечания, грубые и некультурные замечания людей, не понимающих всей ситуации.

Там и сям слышу фразы:

— Эво, какое чучело! Поглядите, как, подлец, нарядился!

Меня осыпают насмешками и хохочут надо мной. Я иду, как сквозь строй, по бульвару, неясно на что-то надеясь.

И вдруг у памятника Пушкину я замечаю прилично одетую даму, которая смотрит на меня с бесконечной нежностью и даже лукавством.

Я улыбаюсь в ответ и присаживаюсь на скамеечку, что напротив.

Прилично одетая дама, с остатками поблекшей красоты, пристально смотрит на меня. Ее глаза любовно скользят по моей приличной фигуре и по лицу, на котором написано все хорошее.

Я наклоняю голову, повожу плечами и мысленно люблюсь стройной философской системой буржуазного экономиста о ценности женщин.

Потом снова обращаюсь к даме, которая теперь, вижу, буквально следит немигающими глазами за каждым моим движением.

Тогда я начинаю почему-то пугаться этих немигающих глаз. Я и сам не рад успеху у этого существа. И уже хочу уйти. И уже хочу обогнуть памятник, чтобы сесть на трамвай и ехать, куда глаза глядят, куда-нибудь на окраину, где нет такой немигающей публики.

Но вдруг эта приличная дама подходит ко мне и говорит:

— Извините, уважаемый... Очень, — говорит, — мне странно об этом говорить, но вот именно такое пальто украли у моего мужа. Не откажите в любезности показать подкладку.

«Ну да, конечно, — думаю, — неудобно же ей начать знакомство с бухты-барахты».

Я распахиваю свое пальто и при этом делаю максимальную грудь с напряжкой.

Оглядев подкладку, дама поднимает истощенный визг и крики. Ну да, конечно, это ее пальто! Краденое

пальто, которое теперь этот прохвост (то есть я) носит на своих плечах.

Ее стенания режут мне уши. Я готов провалиться сквозь землю в новых брюках и в своем пальто.

Мы идем в милицию, где составляют протокол. Мне задают вопросы, и я правдиво на них отвечаю.

А когда меня, между прочим, спрашивают, сколько мне лет, я называю цифру и вдруг от этой почти трехзначной цифры прихожу в содрогание.

«Ах, вот отчего на меня не смотрят! — говорю я себе. — Я попросту постарел. А я было хотел свалить на гардероб недостатки своей личной жизни».

Я отдаю краденое пальто, купленное на рынке, и налегке, со смятанным сердцем, выхожу на улицу.

«Ну, ладно, обойдусь! — говорю я сам себе. — Моя личная жизнь будет труд. Я буду работать. Я принесу людям пользу. Не только света в окне, что женщина».

Я начинаю издеваться над словами буржуазного ученого.

«Это брехня! — говорю я себе. — Это досужие выдумки! Типичный западный вздор!»

Я хохочу. Плюю направо и налево. И отворачиваюсь от проходящих женщин.

1932-1935 гг.

КАКИЕ У МЕНЯ БЫЛИ ПРОФЕССИИ

Я не знаю, сколько есть разных профессий. Один знакомый интеллигент мне сказал, будто всего на земном шаре триста девяносто профессий.

Ну, это он, конечно, перехватил, но, вероятно, все же около ста профессий имеется.

Нет, все сто профессий я не имел, но вот пятьдесят профессий я действительно испытал.

И вот перед вами человек, который испытал на себе пятьдесят профессий.

Интересно, кем я только не был.

Нет, я, конечно, не был там каким-нибудь экономистом, химиком или там пиротехником, скульптором и так далее. Нет, я не был академиком или там профессором анатомии, алгебры или французского языка. Я не скрою от вас — я не занимал разные интеллигентские посты, не смотрел в подзорные трубы, чтоб видеть разные небесные явления, планеты и кометы, не шлялся по шоссе с такой, знаете, маленькой трубочкой на треножнике для измерения высоты поверхности. Не строил мосты или там здания для посольства. И не затемнял свой рассудок математическими вычислениями количества белых шариков в крови.

Да, эти профессии, не скрою от вас, я не испытывал. Мне нехватало для этого всей высоты образования и знания иностранных языков. Тем более, что до революции я был отчасти малограмотный. Читать мог, но писать уже не всегда осмеливался.

И через это, конечно, к сожалению, не могу вам ничего рассказать про такие возвышенные профессии, которые основаны там на науке или там на технике или медицине.

Хотя должен вам сказать, что с медициной я сталкивался и даже одно время был врачом. Меня избрали на этот пост свои же полковые товарищи вскоре после февральской революции.

Я тогда служил в царской армии и был рядовым ефрейтором.

Вот после революции ребята мне и говорят:

— У нас полковой врач такая, извините, холера, что никому почти освобождения не дает, несмотря на февральскую революцию. Очень бы хотелось его сменить. Вот бы, — говорят, — хорошо, если бы вы согласились на эту должность. Тем более, — говорят, — все должности сейчас выборные, — вот бы мы тебя и выбрали.

Я говорю:

— Отчего же. Конечно, выбирайте. Я, — говорю, — человек, понимающий явления природы. Понимаю,

что после революции ребятам хотелось бы смотаться по домам и поглядеть, как и чего. Керенский, — говорю, — этот артист на троне, завертел волынку до победного конца. И полковой врач ему в дудочку подыгрывает и нашего брата не отпускает. Выбирайте меня врачом, — я вас почти всех отпущу.

Вот вскоре после того сменяют командира полка, сменяют под ряд офицеров и нашего пресловутого медика. И на его место назначают меня приказом.

Работа оказалась, конечно, трудная и, главное, бестолковая.

Едва послушаешь больного в трубку, как он хнычет и отпрашивается домой. А если его не отпускаешь, он очень на врача насаждает и чуть не хватает его за горло.

Профессия совершенно глупая и небезопасная для жителя.

А если больному дашь порошки — он их жрать не хочет, а швыряет порошки врачу в лицо и велит писать увольнительную.

Ну, для формы спросишь — какая у тебя болезнь? Ну, больной сам, конечно, назвать болезнь не берется и тем самым ставит врача в тупик, поскольку врач не может все болезни знать наизусть и не может писать в каждой путевке только: брюшной тиф или там вздутие живота.

Другие, конечно, говорят:

— Пиши, чего хочешь, только отпусти, поскольку душа болит — охота поглядеть на домашних.

Ну, напишешь ему: душевная болезнь, и с этой диетой отпускаешь.

Но вот вскоре надоедает мне эта бестолковая профессия. И вот пишу я сам себе путевку с обозначением: душевная болезнь первой категории.

Выезжаю с фронта и, значит, на этом заканчиваю эту свою профессию.

После судьба кидает меня в разные стороны —

туда и сюда, как, извините за сравнение, скорлупу в бурном море.

Я делаюсь милиционером. После слесарем, сапожником, кузнецом. Я подковываю лягающих лошадей, дою коров, дрессирую бешеных и кусачих собак. Играю на сценах. Поднимаю занавеси. И так далее, и тому подобное, и прочее.

При этом снова год нахожусь на фронте в Красной армии и защищаю революцию от многочисленных врагов.

Снова освобождаюсь по чистой. Занимаю должность инструктора по кролиководству и куроводству. Становлюсь агентом уголовного розыска. Делаюсь шофером. И по временам пишу критические отзывы и острые дискуссионные статьи относительно театра и литературы.

И вот перед вами человек, который имел в своей жизни пятьдесят, а может, даже и больше профессий.

Некоторые профессии были у меня странные и удивительные. Была у меня до революции одна очень такая странная профессия.

А был я тогда в Крыму. И служил в одном имении. Там было четыреста коров. Масса коз, много курей и до чорта баранов. Все это создавало почву для развития сельскохозяйственного дела.

И вот меня нанимают туда пробольщиком.

Одним словом, в мою обязанность входит пробовать качество масла и сыра.

Это масло и сыр отправлялись на пароходе за границу. И надо было все это пробовать, чтоб мировая буржуазия не захворала от недоброкачественного товара.

Конечно, дай вам попробовать масла или сыру — вы, небось, не откажетесь. Но если, предположим, пробовать эту продукцию с утра и до вечера и ежедневно и целый год, то вы волком завоюете, и свет перед вами померкнет.

Нет, я не был специалистом по этому делу. И совершенно случайно попал на эту профессию.

Мне тогда было двадцать три года. Все было тьфу и трын-трава. И я тогда шлялся по крымским дорогам, надеясь где-нибудь найти работу.

И вот иду по дороге и слышу — молочным хозяйством пахнет. А тут тем более я не ел два дня. И вот взял и пошел на этот приторный запах. Думаю, подкараулю какую-нибудь корову, подою маленько и тем самым подкреплю свои ослабшие силы.

Вижу — за забором сарай. Наверное, думаю, там коровы. Перемахнул через забор. Захожу в сарай. Вижу — там не коровы, а круги сыра лежат. Только я хотел стибрить кусок сыру — вдруг управляющий идет.

— Ты, — говорит, — что, из наших рабочих?

Нет, я особенно не смутился. Думаю — успею дать тигалья. Тем более — кругом народу нету, и забор близко. И поэтому отвечаю с некоторым нахальством:

— Нет, не из рабочих, но имею мечту на нечто подобное.

Он говорит:

— А, к примеру, зачем же ты в руку сыр взял?

Я говорю не без нахальства:

— Хотел, знаете, этот сыр попробовать, — сдастся мне, что он кисловат на вкус. Не умеете делать, а беретесь.

Вижу — управляющий даже растерялся от моих слов. Даже, видать, не понимает, что к чему.

Он говорит:

— Как это? Почему кисловат? Ты что, каналья, специалист, что ли, по молочному хозяйству?

Я думал, он шутит, чтоб себя разозлить, с тем чтобы покрепче меня ударить. И говорю:

— Вы угадали. По молочному хозяйству я есть первый специалист города Москвы. И мимо этих молочных продуктов не могу пройти, чтоб их не попробовать.

Вдруг управляющий улыбается, жмет мне руки и говорит:

— Голубчик!

Он говорит:

— Голубчик, если ты специалист, то я тебе дам преогромное жалованье, только сделай милость, станись скорей на работу. Тут на-днях заграничный пароход приходит, надо груз отправлять, а рассортировать товар и его попробовать некому. И сдается мне, что иностранная буржуазия наглотается негодных продуктов, и после неприятностей не оберешься. А у меня, как назло, один специалист холерой заболел и теперь категорически не хочет ничего пробовать.

Я говорю:

— Пожалуйста. А что надо делать?

Он говорит:

— Надо попробовать шестьсот двадцать бочек масла и тысячу кругов сыру.

У меня даже желудок задрожал от голоду и удивленья, и я отвечаю:

— Пожалуйста. Об чем речь? Принесите мне буханку хлеба, и я сейчас к этому приступлю с преогромной радостью. Я, — говорю, — давно мечтал именно такую профессию себе найти — пробовать то и се.

И сам в душе думаю: нажреть доотвалу, а там пускай из меня лепешку делают. И, небось, не сделают — убегу на своих сытых ногах.

— Ну, — говорю, — несите поскорей буханку, я очень тороплив в работе. Если мне что загорится — мне сразу вынь и положь. Несите хлеб, а то я прямо соскучился без этой своей профессии.

Вижу — управляющий глядит на меня с недоверием.

Он говорит:

— Тогда я сомневаюсь, что ты есть лучший в мире специалист по молочному хозяйству. Молочные

продукты пробуют без хлеба и без ничего, иначе не узнаешь, какой именно сорт и какой вкус.

Тут я вижу, что засыпался, но говорю:

— Это я сам знаю. И вы есть толстобрюхий дурак, если не понимаете. Я хлеб не для еды буду употреблять, а мне надо соприкоснуться эти два продукта, в силу чего я увижу окисление, и тогда, попробовав, не ошибусь в расчете, какая там есть порча. Это, — говорю, — есть последний заграничный метод. Я, — говорю, — удивляюсь на вашу серость и отсталость от Европы.

Тут меня торжественно ведут туда и сюда. Записывают. Одевают в белый балахон и говорят: «Ну, пойдем к бочкам».

А у меня от страха душа в пятках, и ноги еле двигаются.

Вот пошли мы к бочкам, но тут на мое счастье вызывают управляющего по спешному делу. Тут у меня на сердце отлегло. Я говорю рабочим:

— Выручайте, братцы, то есть ни черта не понимаю в этом деле. Хотя укажите поскорей, чем пробовать масло — пальцем или особой щепочкой.

Вот рабочие смеются надо мной, умирают со смеху, тем не менее рассказывают, что надо делать и, главное, что говорить.

Вот управляющий приходит, — я ему прямо затемнил глаза. Говорю разные специальные фразы, правильно пробую. Вижу — человек даже расцвел от моей высокой квалификации.

И вот к вечеру, нажравшись доотвалу, я решил не уходить с этого хлебного места. И вот остался.

Профессия оказалась глупая и бестолковая. Надо пробовать масло особой такой тонкой ложечкой. Надо подковырнуть масло из глубины бочки и пробовать его. И чуть маленько горечь или не то достоинство, или там лишняя муха, или соль — надо браковать, чтоб не вызвать недовольства среди мировой буржуазии.

Ну, сразу, конечно, я не понимал разницы, — каждое масло мне чересчур нравилось, но после кое-чему научился и стал даже покрикивать на управляющего, который чересчур был доволен, что нашел меня. И даже писал своему владельцу письмо, где наплел про себя разные истории и просил себе надбавку или там какой-нибудь трудовой орден за отличные дела.

Так вот, конечно, первые дни мне профессия нравилась. Бывало, отхватишь сыру да навернешь масла — лучше, думаю, работы и не бывает на земном шаре.

После вижу — что-то не того.

Через две недели я начал страдать, вздыхать и мечтать уже с этим расстаться.

Потому за день напробуешься жиров, и глаза ни на что не глядят. Хочешь чего-нибудь скушать, а душа не принимает. И внутри как-то тошно, жирно. Никакая пища не интересна, и жизнь кажется скучной и бестолковой.

И при этом еще строго запрещалось пить. Никакого вина или там водки нельзя было в рот брать. Потому алкоголь отбивает вкус, и через это можно натворить безобразных делов и перепутать качество.

Короче говоря, через две недели я ложился после работы вверх брюхом и неподвижно лежал на солнце, рассчитывая, что горячее светило вытопит у меня лишний жир и мне снова захочется ходить, гулять, кушать борщ, котлеты и так далее...

А был там у меня в этих краях один приятель. Один прекрасный грузин. Некто Миша. Очень чудный человек и душевный товарищ. И был он тоже дегустатор, пробольщик. Но только в другом деле. Он пробовал вино.

Там в Крыму были такие винные подвалы — удельного ведомства. Вот там он и пробовал.

И профессия его, чересчур бестолковая, была даже хуже моей.

Ему даже кушать не разрешалось. С утра до ве-

вчера он пробовал вино и только вечером имел право чего-нибудь покушать.

Меня мутило от жиров, и в рот ничего не хотелось взять. И выпить не разрешалось. И аппетита не было.

А у него наоборот. Его распирало от вина. Он с утра насосется разных крымских вин и еле ходит, и прямо свет ему не мил.

Вот в другой раз встретимся мы с ним вечером — я сытый, он пьяный, и видим — наша дружба ни к чему. Говорить ни о чем не охота. Он хочет кушать, я, наоборот, хочу выпить. Общих интересов мало, и вкус во рту мерзкий. И сидим мы вроде как обалделые и в степь глядим. А в степи ничего. А над головой — небо и звезды. А где-то, может быть, идет жизнь, полная веселья и радости...

Вот я ему однажды и говорю:

— Надо, — говорю, — уходить. И хотя у меня контракт до осени, но я, безусловно, этого не выдержу. Я отказываюсь кушать масло. Это унижает мое человеческое достоинство. Я сметаю удочки, стибрую круг сыру — и только меня толстобрюхий управляющий и видел.

Он говорит:

— До осени уходить не расчет. Работы сейчас не найти. А надо нам с тобой чего-нибудь такое оригинальное придумать. Дай срок — я подумаю, голь на выдумки хитра.

И вот однажды он мне и говорит:

— Знаешь что — давай временно поменяемся профессией. Давай я буду пробовать масло, а ты временно пробуй вино. Неделю или две поработаем так, а после опять поменяемся. А потом опять. Вот оно и получится у нас какое-то равновесие. И, главное, отдохнем, если они, черти, не дают отпуска, а заставляют без отдыха жрать и пить.

Я очень радуюсь этим словам, но выражаю сомнение, что наши управляющие захотят этого.

Он говорит:

— Это я берусь уладить.

И вот берет он меня за руку и ведет к своему управляющему по винной части.

— Вот, — говорит, — этот низенький опытный господин смело может меня заменить на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать. А он за меня будет пробовать и соблюдать ваши интересы.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, какие тут вина и как чего надо делать. И через две недели возвращайтесь. А то мы натворили тут делов. Заместо столового вина взяли «Аликоте» в Москву отправили. Чистое безобразие.

Вот тогда я, в свою очередь, беру Мишу за руку и веду его к своему толстобрюхому управляющему.

— Вот, — говорю, — этот высокий опытный господин смело может заменить меня на две недели. Тут ко мне тетка из Тифлиса приехала, и я интересуюсь ее повидать и покалякать с ней о разных разностях.

Управляющий говорит:

— Ладно. Покажите ему, как и чего, и через две недели приезжайте. А то и так у нас беспорядок. Заместо сливочного масла мы отправили в Персию сметану. Персы могут обидеться и не захотят ее кушать.

Вот стали мы на свою новую работу.

Я пробую вино. А Миша пробует масло.

Но тут с нами происходит чушь и неразбериха.

В первый же день Миша наедается масла и сыру до того, что заболевает судорогами. А я с первых же двадцати глотков от непривычки пить до того захмелел, что подрался с Мишиным управляющим. И хотел его в винную бочку поковырнуть за то, что он сказал плохие слова про моего приятеля.

Тут на другой день мне дали по шапке и велели убираться.

И Мише дали расчет и тоже велели убираться.

Вот встречаемся мы с ним и смеемся. Думаем — наплевать. Отдохнули пару дней и теперь снова можем приняться за свое ремесло.

Но тут случается так, что оба наши управляющие снюхались и узнали наш обман: и какие у нас две недели, и какая у нас тетка в Тифлисе, и какой у нас опыт.

Оба они призывают нас, кричат страшными головами и велют убираться.

Нет, мы особенно не горевали. Я взял круг сыру, а Миша вина. И всю дорогу мы шли и пели песни. А после устроились на другую работу.

А вскоре разразилась война. Потом революция. И я потерял своего друга из виду.

И недавно узнаю, что он проживает на Кавказе и имеет хорошую, чудную командную должность.

И я мечтаю к нему поехать. Мечтаю встретить его, поговорить и сказать ему: «Молодец!»

Ох, он, наверное, обрадуется, когда увидит меня! Тоже, может быть, скажет мне: «Молодец!» И велит подать лучший шашлык.

Тут мы с ним будем кушать и вспоминать, кем мы были и кем стали.

1934-1935 гг.

ЗАГАДОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

В начале революции я служил младшим следователем уголовного розыска.

Конечно, тогда не было крупных специалистов в этом деле. А каждый гражданин, умеющий читать и писать, мог поступить на эту интересную службу.

И действительно, много интересных и забавных дел проходило через наши руки.

Но из всех дел мне наиболее всего запомнилось одно загадочное происшествие в Лигове.

Сижу я, представьте себе, на службе и чай пью.

Вдруг прибегает ко мне запыхавшийся человек и говорит:

— Я стрелочник Фролов. Служу в Лигове. Ночью воры у меня украли козу. Это такая для меня беда, что я весь дрожу от огорчения... Умоляю вас — раскройте это преступление и верните мне украденную козу.

Я ему говорю:

— Ты не волнуйся. Сядь и расскажи подробней. А я с твоих слов составлю протокол, после чего мы сразу поедем на место происшествия, найдем вора и отберем от него твою козу.

Стрелочник говорит:

— Два дня назад я купил себе козу, чтобы пить молоко и поправляться. Я за эту козу дал мешок муки. Это была дивная породистая коза. Я вчера ее на ночь закрыл в сарай на замок, но воры пробрались ко мне во двор, сломали этот замок и украли козу. Что я теперь буду делать без козы и без муки, я и сам не представляю.

Вот я составляю убийственный для вора протокол, вызываю старшего следователя и советую ему сразу поехать, чтобы по горячим следам раскрыть эту кражу.

А старший следователь у нас был довольно опытный работник. И только у него был единственный недостаток: он, если сильно поволнуется, то в обморок падает. Потому что в него однажды один вор стрелял из револьвера. И вот он с тех пор стал немного пугливый. Если какой-нибудь стук раздастся или там доска упадет или кто-нибудь громко крикнет, то он моментально падает без сознания. Так что его одного никогда у нас не пускали, а всегда его кто-нибудь сопровождал.

А так-то он был хороший агент и очень часто раскрывал кражи. Его все у нас звали дядя Володя.

Вот дядя Володя и говорит мне:

— Давай быстрее собирайся, поедem в Лигово, чтобы выяснить, кто у стрелочника украл козу.

Через десять минут мы вместе с пострадавшим стрелочником садимся в поезд и едем в Лигово.

И вот стрелочник приводит нас к себе на двор. И мы видим небольшой одноэтажный домик. Двор, огороженный высоким забором. И небольшой сарай, в котором была заперта коза.

Теперь этот сарай настeжь раскрыт. Замок на нем сломан и еле висит на железном кружке. И в сарае пусто. Никакой козы нету. Только немного сена лежит.

Дядя Володя, моментально осмотрев сарай, говорит:

— Перед нами, товарищи, типичная картина ночной кражи со взломом. Вор перелез через забор, железным предметом сломал замок и, проникнув в сарай, увел с собой козу. Сейчас обследую почву, найду следы и доложу вам, какую вор имел наружность.

И с этими словами дядя Володя ложится на землю и разглядывает следы.

— Перед нами, — говорит он, — типичная воровская походка. Вор, судя по следам, высокий худощавый гражданин средних лет. И сапоги у него подбиты железной подковкой.

Стрелочник говорит:

— Поскольку у меня сапоги подбиты железной подковкой, то вы там не спутайте меня с вором, умоляю вас. А то, чего доброго, я через вас попаду в тюрьму. Тем более — я тоже худощавый и средних лет. Вы наденьте на нос очки и глядите получше — нет ли там еще каких-нибудь других следов.

Дядя Володя говорит:

— Кроме этих следов, имеются еще одни обыкновенные следы. И рядом с этими следами видны отпечатки ног маленького мальчика или девочки. Так что перед нами типичная картина ночной кражи. Два вора и их маленький помощник, пробравшись во двор, взламывают сарай и втроем угоняют козу...

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Откуда же два вора? Ведь одни следы с подковкой мои. Что же, значит, я сам у себя козу украл? Что вы наводите тень на плетень. Нет, я, кажется, зря вас пригласил.

Тут во дворе собирается громадная толпа. Все с интересом смотрят, что будет дальше.

Дядя Володя говорит:

— В таком случае я допускаю, что вор был один со своим маленьким помощником. Причем этот маленький помощник обут в дырявые сандалии на босу ногу и сам он лет шести или семи.

Только он так сказал, вдруг в толпе детский плач раздается.

И вдруг все видят, это плачет маленький подросток Минька, племянник своего дяди, этого стрелочника, живущий тут же.

Все на него смотрят и видят, что он обут в дырявые сандалии.

Его спрашивают:

— Что ты, Минька, плачешь?

Минька говорит:

— Я встал утром и зашел в сарай. Я козе дал капустный листочек. Я козу только два раза погладил и пошел по своим делам ловить в пруде рыбок. Но замок я не трогал. И дверь была раскрыта.

Тут все удивились. И дядя Володя тоже очень удивился.

Стрелочник говорит:

— Как же он, шельмец, мог гладить утром мою козу, если она уже была украдена. Вот так номер!

Дядя Володя, потерев свой лоб рукой, говорит:

— Это очень загадочная кража. Или нам с вами вор попался какой-то ненормальный. Ночью он замок сломал, а днем козу украл.

Жена стрелочника говорит:

— Может быть, он ждал, чтобы Минька ее покормил. После чего он наверное ее увел.

Дядя Володя говорит:

— Одно из трех: либо мальчику приснился сон насчет козы, как он кормил ее капустой, — бывают такие сны в детском возрасте, — либо вор свихнулся во время кражи, либо тут хозяева ненормальные.

Я говорю:

— Есть еще четвертое предположение: вор сломал замок и украл что-нибудь другое. А утром коза решила прогуляться и, выйдя на улицу, заблудилась.

Стрелочник говорит:

— Нет, коза не могла сама уйти. У меня весь двор обнесен высоким забором, и все было заперто. И калитка у меня на пружине — сама захлопывается. А что касается сарая, то, кроме козы, там ничего не было. Там у меня лежал мешок муки, на которую я променял козу. И эту козу я закрыл в сарае. Это была породистая коза и мне ее чересчур жалко!

Сказав это, стрелочник от волнения ударил палкой по дверям сарая. И дядя Володя, подумавши, что началась стрельба, моментально упал в обморок.

Я велел принести воды, мы попрыскали водой дядю Володю, потом дали ему понюхать толченого перца, и он снова приступил к исполнению своих обязанностей.

Он сказал:

— Теперь мне все совершенно ясно. Вор, взломав замок и найдя сам, вместо ценностей, козу, расстроился и не захотел ее взять, испугавшись, что она заbleет и разбудит хозяина. Но потом, вернувшись домой, вор стал жалеть, зачем он не украл козу. И тогда он взял веревку или мешок, чтоб замотать козе морду, и снова под утро явился сюда за козой. А мальчик Минька в акурат перед этим заскочил в сарай и покормил ее.

Тут все заплодировали следователю. А Минька еще больше заплакал.

Какая-то тетка сказала:

— Совершенно верно. Я рано утром проходила по

улице и видела, как какой-то мужчина нес в руках большой мешок и там в мешке у него что-то хрюкало.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Вы вспомните хорошенько — может быть, это у вас была свинья, а не коза. Вот, может быть, она и хрюкала, когда ее вор в мешке нес. Может быть, вчера, во время обмена, вам подсунули поросенка вместо козы. И вы, не разглядевши как следует быть, заперли его в сарай.

Стрелочник, чуть не плача, говорит:

— Нет, я чувствую, что я вас зря пригласил. У меня была в сарае коза, а то, что несли в мешке, это не у меня украдено.

Дядя Володя говорит:

— Я там не знаю, у кого украдено. Но я устанавливаю факт, что вор украл поросенка и унес его в мешке... Пусть мальчик Минька скажет, что за животное было в сарае. Отвечай, Минька, какое животное было в сарае, какого оно цвета и сколько ног? За дачу ложных показаний ответишь по закону.

Минька, отчаянно заревев, говорит:

— Оно было белого цвета. И оно имело три ноги.

Услышавши это, следовательно чуть было опять в обморок не упал.

Он сказал:

— Без сомнения, это был белый поросенок, от которого вор отрезал одну ногу для производства ветчины.

Стрелочник, охнув, сел на корточки и закричал:

— Ой, тошнехонько! Что они со мной делают! Я теперь вижу, что я зря пригласил сюда этих агентов. У меня была коза, а они мне навязывают поросенка без одной ноги.

Дядя Володя говорит Миньке:

— Отвечай своему дяде, что было в сарае — коза или поросенок... Блеяло оно или хрюкало?

Стрелочник добавляет:

— А если ты у меня соврешь, то я тебе, шельмецу, голову оторву.

Минька сквозь слезы говорит:

— Не знаю, что там было. Я рыбок пошел ловить. И до вашей дурацкой козы я не дотрагивался. Только я дал ей капустки покушать и сразу ушел.

Дядя Володя говорит:

— Ясно, это был поросенок.

Только он так сказал, и вдруг откуда-то сверху раздается:

— Бя-а-а.

Вся толпа ахнула, когда услышала эти звуки. Стрелочник, закачавшись на своих ногах, закричал:

— Братцы, где-то здесь моя коза! Это ее голос сверху раздается.

Тут все в одно мгновение посмотрели наверх. И все вдруг увидели, что коза стоит около трубы на крыше. И хотя дом был низенький, но все-таки было странно, что коза стоит на крыше.

Стрелочник закричал:

— Братцы! Вон моя коза. Да кто же это ее, братцы, загнал на такую вышину?

Дядя Володя говорит:

— Действительно, это коза, а не поросенок. Чорт меня дернул сюда приехать. Я тут последние мозги теряю.

Стрелочник говорит:

— Братцы, может быть, это мне все снится, что моя коза на крыше стоит?

Жена стрелочника говорит:

— Поди проспись, если тебе это снится. А наша коза действительно стоит на крыше и на тебя, дурака, сверху вниз смотрит.

Дядя Володя говорит стрелочнику:

— Может быть, ты вчера, поменяв козу, от радости выпил и вместо сарая подкинул ее на крышу и теперь сам удивляешься, что она там. Иначе нельзя понять, почему твоя коза на крыше очутилась.

Стрелочник говорит:

— Знаете, я скорее вас на крышу подкину, чем буду свою породистую козу уродовать. А там за домом у меня привезены доски для строительства. Я их прислонил к дому, чтоб они на земле не валялись. Но доски лежат довольно круто. И это удивительно, если коза по ним на крышу зашла.

Вдруг из толпы выходит вперед человек. Он говорит:

— Я доктор медицины. Я, говорит, могу это подтвердить. Многие козы живут и пасутся на горах и ходят по самым крутым и отвесным скалам. Есть персидские козероги и есть швейцарские породистые козы, которые не только бегают по крутым скалам, но и прыгают до трех метров в длину. И, может быть, ваша коза имеет среди своих родителей такую породу. Тогда ничуть не удивляйтесь, что она забралась по доскам на эту крышу. Тем более, на крыше у этого хозяина растет не только трава, но даже мелкие кустики и бузина.

Стрелочник Фролов с гордостью говорит:

— Когда я менял свою муку на эту козу, мне так и сказали: это породистая коза. Но я им не поверил. А теперь верю, и я так счастлив, что свои чувства я даже и передать вам не могу. Я гляжу на свою, стоящую на крыше, горную козу, и у меня от радости слезы капают.

Дядя Володя говорит:

— Теперь мне эта история совершенно ясна. Вор сломал замок, чтобы украсть какую-нибудь ценную вещь. Но, найдя в сарае только козу, плюнул и ушел красть в другое место. И вот его следы... Впрочем, нет, это мой след. А его, наверно, вот эти... Минька, вставши поутру, зашел в раскрытый сарай и покормил козу капустой. Вот и Минькины следы. Коза, желая прогуляться, вышла из сарая и, обойдя двор, увидела на крыше зелень. И, будучи горной козой, без труда забралась на крышу по этим доскам. Вот и ее малень-

кие, как точки, следы... Хозяин, проснувшись, увидел раскрытый сарай и сломанный замок. Прибежал к нам и сообщил о краже. И вот его следы... Теперь каждому ясно, что тут произошло... Доставайте вашу козу с крыши, и мы со спокойной совестью поедem в Ленинград раскрывать еще более сложные кражи. Наша задача выполнена тут с превышением.

И, сказавши так, он снял свою кепочку, чтоб со всеми попрощаться. И коза со своей крыши снова произнесла:

— Бя-а-а.

Вдруг стрелочник закричал:

— Братцы следователи! Моя породистая коза забралась на крышу. Но хотел бы я знать, как я ее теперь оттуда достану. Тем более, крыша довольно крутая, и если я полезу наверх, то или коза у меня упадет, или я сам к чорту вниз свалюсь... Товарищи следователи, я вам дам хорошую премию: стакан молока и два фунта хлеба, если вы мне доставите козу без повреждения.

Вдруг один из толпы выходит вперед и говорит:

— Хотя я инвалид и хромаю, но за эту премию я могу вашу козу вниз доставить. Только мне нужна веревка, чтобы я мог привязать себя к трубе, поскольку я из-за вашей дурацкой козы не очень-то интересуюсь вниз падать.

Тут ему дали веревку, и он, приставив лестницу к крыше, полез под аплодисменты всех собравшихся.

Он привязал веревку к трубе и другим концом обвязал себя. И в таком виде стал тянуться к козе, которая доверчиво поджидала, что будет. Но когда он слишком потянулся, то старенькая труба покачнулась и рухнула.

Нет, привязанный не упал, он успел удержаться, но рассыпавшиеся кирпичи рухнули во двор, и один из них слегка зашиб дядю Володю, который тут же без лишних слов и восклицаний грохнулся в обморок.

Полезший на крышу успел схватить козу. И он

вместе с ней, как по горке, съехал по доскам вниз к радости всех собравшихся.

Хозяин ему сказал:

— Что ты снял козу — это хорошо, но то, что ты мне, хромая обезьяна, трубу испортил — вот за это я тебе премии не дам.

Инвалид говорит:

— Тогда я твою козу обратно сейчас наверх закину.

Стрелочник говорит:

— Ну, ладно, дам. Только не трогай мою козу грязными руками.

И тут он нежно поцеловал свою козу и торжественно увел в сарай.

Ушибленный дядя Володя хотел уехать, но стрелочник не отпустил его. Он сказал:

— В благодарность за вашу четкую работу я хочу вас, товарищи агенты, угостить козьим молоком и свежим хлебом.

Мы сели на лавочку и стали ждать угощения.

Дядя Володя подозвал к себе Миньку, сказал ему строго:

— Что же ты, дурной мальчишка, запутал органы следствия? Зачем же ты сказал, что у животного было три ноги?

Минька, потупившись, говорит:

— А я только до трех считать умею.

Тут все собравшиеся весело засмеялись и не хотели уходить, хотя стрелочник открыл ворота и кричал, чтоб все посторонние моментально ушли, а то, чего доброго, коза еще раз пропадет.

Потом стрелочник, выгнав посторонних, взял горшок и побежал в сарай подоить козу.

Вдруг он оттуда возвращается бледный и говорит:

— Знаете, у козы нету молока. Ее кто-то выдоил. Вот так номер!

Дядя Володя говорит:

— Я так и думал. Картина преступления мне со-

вершено ясно. Вор, не найдя в сарае ничего ценного, подоил козу и, подкрепив этим свои силы, ушел.

Вдруг приходит жена стрелочника с горшком в руках. Она говорит:

— Нет, это я козу подоила, когда муж выгонял со двора людей.

Тут все рассмеялись и начали кушать хлеб и пить молоко.

Потом мы попрощались с любезным хозяином и пошли к поезду.

Но только мы вышли из калитки, как раздался крик хозяина. Он нам кричал:

— В сарае у меня были рваные валенки, и теперь их нету.

Дядя Володя ему ответил:

— Картина кражи мне ясна. Вор не хотел путаться с козой, а вместо этого украл, что было в сарае.

После этого мы еще раз попрощались и уехали.

А через полгода, когда наступила зима, это дело окончательно выяснилось.

Проходя в Лигове по улице, стрелочник увидел на одном гражданине свои валенки, которые он узнал по зеленому клейму.

Он задержал этого гражданина. И тот в милиции сознался, что это он осенью сломал замок, надеясь украсть из сарая мешок муки, о котором он слышал от одного гражданина. Но он не знал, что мешок муки стрелочник уже обменял на козу. Через это и произошла неувязка. И вор, не найдя муки, схватил валенки и с ними удрал.

Вора на полтора года посадили в тюрьму. И дядя Володя, узнав об этом, сказал:

— Картина кражи теперь окончательно выясняется. Вор хотел украсть муку, но украл валенки. И теперь за это он попал в тюрьму.

Пока вор сидел в тюрьме, породистая коза принесла своему хозяину двух чудных козлят. И стрелочник Фролов был очень этим доволен.

Между прочим, эта коза очень долго у него жила и всех удивляла своими прыжками и тем, что могла ходить по самым отвесным доскам. Но на крышу она почему-то больше никогда не лазила. Наверно у нее от этой крыши остались все-таки неважные воспоминания.

А Минька тепер вырос. Он сейчас студент Горного института — Михаил Степанович Фролов.

Между прочим, случайно узнав, что я пишу рассказ об этом происшествии, он недавно пришел ко мне и просил всем читателям кланяться. И велел сказать, что он теперь не только до трех считать умеет, но до триллиона и даже больше.

Пламенный привет читателям от меня, от Миньки и от дяди Володи.

1937 г.

ПАРУСИНОВЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Я прошу извинить, дорогие читатели, что задерживаю вас на таком пустяке, на незначительном факте, не стоящем, может быть, вашего просвещенного внимания, устремленного в другие дела. Но уж очень я забавное дело слушал в народном суде.

Один, представьте себе, муж весьма часто ходил на вечерние сверхурочные работы. Так он, по крайней мере, объяснял своей жене. А на самом деле у него никаких сверхурочных не было, а попросту он ходил в гости к одной своей землячке из Ростова.

У них в свое время в городе Ростове была пылкая любовь и вот теперь они снова не без интереса встречались. Они ходили в кино, в театры и так далее.

Но дома он, конечно, говорил, что у него экстренные занятия, брал для отвода глаз портфель и шествовал к своей подруге.

Наверно он не хотел, как говорится, затемнять семейные горизонты личными делами и поэтому так

поступал. Тем более, что у него была жена и сынишка лет десяти.

Вот однажды, придя со службы домой и покушавши, он сказал жене, что сегодня вечером он должен пойти на одно экстренное заседание.

Жена начала ахать и говорить, что его что-то уж слишком загрузили делами, что он, благодаря этому, совершенно отбился от дому, что это ни на что не похоже, и что если это так будет продолжаться, то она напишет об этом самому товарищу Микояну или кому-нибудь из крупных хозяйственников, что, дескать, вот что получается.

Еле отвертевшись от семейных разговоров, наш муж надел пальто, взял портфель и направился к выходу.

Но едва он хотел выйти на лестницу, как вдруг в квартиру вошел счетчик из Электротока.

Наш муж, желая посмотреть, сколько у него нагорело электричества, немного задержался в передней. И, узнав сумму, вытащил бумажник из кармана и дал деньги своей жене с просьбой тут же расплатиться. А сам поскорей вышел, чтобы снова, чего доброго, не возникли разговоры.

Но тут случилось, что он, торопясь и волнуясь, что опаздывает, взял портфель счетчика вместо своего портфеля и с ним поспешно вышел.

А этот был обыкновенный грубый парусиновый портфель. И в нем были разные официальные бланки, документы, карточки и так далее.

Но наш инженер, находясь мыслями в другом месте, просто даже не заметил, что он несет.

А надо сказать, что в его собственном портфеле, как на грех, были положены конфеты, которые он хотел преподнести своей знакомой, какое-то еще дамское шелковое кашне и хорошенький бювар для писания писем.

Вот, значит, этот злополучный портфель с подар-

ками остался в передней на стуле, а сам инженер с парусиновой чепухой прибыл к своей подружке.

Но поскольку он запоздал или уж я не знаю что, она не смогла его принять. То есть, она вышла к нему в переднюю и с ним мило объяснилась, но сказала, что у нее сейчас сидит приехавший из провинции какой-то ее дядя с маминой стороны и она, думая, что инженер не придет, договорилась уж со своим дядей куда-то пойти.

Находясь в большом огорчении, наш инженер не сразу, конечно, ушел, а он долго канючил в передней, говоря, что он всего-то опоздал на пять минут и что это очень жаль, что у него сорвался вечер. И тогда она пообещала встретиться с ним завтра.

Вот наш инженер, находясь в расстройстве чувств, стал прощаться со своей подружкой. И собрался уже уйти, как вдруг увидел в своих руках какую-то парусиновую штуку, какой-то замызганный, не его портфель.

В полной уверенности, что это он сейчас взял его по ошибке, он положил его на столик в передней и стал искать свой портфель.

А в передней, под стулом, стоял чей-то портфель. И наш инженер, найдя его, до некоторой степени даже удивился и стал вспоминать, когда же это он успел засунуть свой портфель под стул.

Но так как его землячка снова начала спешно с ним прощаться и его выпроваживать, то он и не стал больше задумываться над этой материей, а, вытащив портфель из-под стула и решив, что он подарки сделает завтра, еще раз приложился к ручке своей знакомой и вышел с чужим имуществом. И она ему ничего не сказала, поскольку она, наверно, тоже не знала, что это портфель ее дяди. И, вдобавок, в передней царил полумрак.

И вот, выйдя на улицу, наш инженер побрел потихоньку домой, помахивая портфелем.

А надо сказать, что дома у него был уже полный переполох.

Счетчик, получив деньги и не найдя своей парусины, поднял тарарам и, думая, что это хозяйский мальчишка, играя с портфелем, затащил его куда-нибудь в комнату, стал везде искать и, разыскивая, перевернул всю квартиру кверху дном.

Жена тоже деятельно помогала искать государственные акты, но, найдя портфель мужа, удивилась, что он не взят. И из чисто женского любопытства заглянула туда — что там есть. И, найдя вещи, несколько странные для сверхурочных занятий, взволновалась и, уйдя в свою комнату, стала обдумывать, что бы все это значило.

Сынишка же инженера, десятилетний мальчик, увидев содержание портфеля, выгреб из него коробку конфет и, как говорится, отдал должное кондитерским изделиям.

Придя к мысли, что муж ей говорит неправду о сверхурочных занятиях, жена начала плакать. Но тут раздался телефонный звонок и грубый мужской голос сказал, что если еще не пришел ее муж, то пусть она передаст ему, что там, где он сейчас был, он оставил свой портфель с какими то дурацкими бумагами, а вместо него взял по ошибке чужой портфель. И пусть он, как придет, срочно это вернет, так как они садятся ужинать, а в портфеле остались кое-какие съестные припасы.

Жена сквозь слезы обещала, что передаст мужу и, повесив трубку, начала рыдать, поняв отчасти, где ее муж бывает.

В общем, в доме был полный кавардак, когда на семейном горизонте вновь появился наш злосчастный супруг.

Счетчик из Электротокка, который переворачивал теперь кухню кверху дном, набросился на вошедшего инженера, требуя моментально найти его портфель,

в котором заключалось электрическое хозяйство всего района.

Не понимая еще, о чем идет речь, муж услышал рыдания своей супруги и поспешил к ней в комнату. И там вскоре разразилась буря, так что счетчик и не рискнул туда войти, а с видом великомученика сел в коридоре на стул и стал ждать, чем все это кончится.

Тут сынишка инженера, увидев новый портфель, поинтересовался, что еще принес папа. И хотя бабушка запрещала трогать этот портфель, тем не менее, мальчик выгреб из него еще одну коробку конфет, маринованные пикули, паюсную икру и бычки в томате.

Мальчик, не чувствуя больше аппетита к конфетам, отнес их в буфет. А бабушка, будучи не в курсе дела и полагая, что продукты принесены для дома, поставила пикули, икру и бычки за окно. При чем, пробуя икру, больше чем следует налегла на нее, так что за окно попало, собственно говоря, весьма незначительное количество.

Во время этих хозяйственных процедур и в момент наивысших криков в спальне снова раздался телефонный звонок. И муж сконфуженно начинает в трубку объяснять, что это просто ошибка и что портфель будет моментально доставлен.

И с этими словами инженер идет в коридор, находит там счетчика, извиняется перед ним, дает ему адрес и рубль на автобус и просит взять портфель, лежащий в передней, и обменять его на свой, случайно занесенный в другое место.

Счетчик, довольный, что портфель с государственными бумагами, наконец, найден, не стал слишком много распространяться, и только слегка поругавшись с рассеянным интеллигентом, отбыл, захватив для обмена портфель, опустошенный бабушкой и внуком.

Но едва в квартире наступила тишина и утомленные супруги прилегли после бури отдохнуть, как вдруг снова раздался телефонный звонок, и грубый

мужской голос сказал жене, что ее супруг, видимо, попросту, арап, если из чужого портфеля он выгреб все, что там было. И что, если на то пошло, пусть он оставит себе бычки в томате, но икру и пикули пусть моментально вернет, иначе ему не сдобровать. И что даже его знакомая просит ему передать, что он подлец.

Муж чувствуя, что идет скандальный разговор, вырвал трубку от жены и стал кричать, что он ничего из портфеля не брал и даже его не открывал и пусть все убираются к чорту. А что за посланного человека он не отвечает, и если тот взял что-нибудь из портфеля, то пусть они и имеют с ним дело.

Тогда грубый мужской голос стал мягче и сказал, что посланный человек еще не ушел и что он вытряхнет из него душу, но икру и пикули вернет.

Наконец, все смолкло. Муж и жена, объединенные общим военным фронтом, несколько даже примирились. И жена взяла с него торжественное обещание, что впредь таких историй не повторится.

Однако, примерно через час, в квартиру явился весьма бледный и в растерзанном виде счетчик и поднял невероятный скандал, требуя возврата каких-то продуктов. Но так как ни муж, ни жена об этих продуктах ничего не знали, а бабушка уже спала сном праведницы, то рассердившийся инженер велел счетчику моментально уйти. Счетчик сказал, что подобных злодеев он еще не видел в своей жизни и что на инженера и на того мужчину, который чуть не вытряхнул из него душу, он завтра же подает в народный суд. Тем более, что, мало того, что он потерял рабочий день, — еще получил нервное и физическое потрясение и вдобавок до сих пор не получил своего портфеля с государственными документами, за который тот требует выкуп.

В общем, счетчик, действительно, подал в суд. И на суде распуталась вся цепь событий.

Публика невероятно веселилась, когда выступав-

шие свидетели объясняли, как это все было. Но смех достиг наивысшего напряжения, когда бабушка начала рассказывать, как она съела икру.

Народный судья, женщина, отметила в своем слове, что мещанский быт с его изменами, враньем и подобной чепухой еще держится в нашей жизни и что это приводит к печальным результатам. Так, например, пострадавший на своем посту счетчик является в некотором роде жертвой этого дела.

Обвиняемый мужчина, который, кстати сказать, оказался не дядя подруги инженера, а бывший жених, приехавший из Ростова, принес свои извинения счетчику. Инженер тоже горячо извинился.

Суд вынес инженеру общественное порицание, а дядю из Ростова за то, что он немного помял счетчика, справедливо приговорил к общественным работам на два месяца.

Публика этот приговор встретила с полным удовлетворением.

Что будет дальше — мы не можем вам сказать, но, поскольку дяди не будет на горизонте два месяца, возможно, что произойдет примирение между инженером и его подругой. И тогда, может быть, снова возникнет какая-нибудь ерунда на семейном фронте.

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ОБЕЗЬЯНЫ

В одном городе на юге был зоологический сад. Небольшой зоологический сад, в котором находились один тигр, два крокодила, три змеи, зебра, страус и одна обезьяна, или, попросту говоря, мартышка. И, конечно, разная мелочь — птички, рыбки, лягушки и прочая незначительная чепуха из мира животных.

В начале войны, когда фашисты бомбили этот город, одна бомба попала прямо в зоологический сад. И там она разорвалась, с громадным оглушительным треском. Всем зверям на удивленье.

Причем были убиты три змеи — все сразу, что,

может быть, и не является таким уж тяжелым фактом. И, к сожалению, страус.

Другие же звери не пострадали. И, как говорится, только лишь отделались испугом.

Из всех зверей наиболее всего была перепугана обезьяна, мартышка. Ее клетку опрокинуло воздушной волной. Эта клетка упала со своего возвышения. Боковая стенка сломалась. И наша обезьяна выпала из клетки прямо на дорожку сада.

Она выпала на дорожку, но не осталась лежать неподвижно по примеру людей, привыкших к военным действиям. Наоборот. Она тотчас влезла на дерево. Оттуда прыгнула на забор. С забора на улицу. И, как угорелая, побежала.

Бежит и, наверное, думает: «Э, если тут бомбы кидают, то я не согласна.» И, значит, что есть силы бежит по улицам города.

Пробежала она через весь город. Выбежала на шоссе. И бежит по этому шоссе прочь из города. Ну, обезьяна. Не человек. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться в этом городе.

Бежала, бежала и устала. Переутомилась. Влезла на дерево. Съела муху для подкрепления сил. И еще пару червячков. И заснула на ветке, там, где сидела.

А в это время ехала по дороге военная машина. Шофер увидел обезьяну на дереве. Удивился. Тихонько подкрался к ней. Накрыл ее своей шинелью. И посадил в свою машину. Подумал:

«Лучше я ее подарю каким-нибудь своим знакомым, чем она тут погибнет от голода, холода и других лишений». И, значит, поехал вместе с обезьяной.

Приехал в город Борисов. Пошел по своим служебным делам. А мартышку в машине оставил. Сказал ей:

— Подожди меня тут, милочка. Сейчас вернусь.

Но мартышка наша не стала ждать. Она вылезла из машины через разбитое стекло и пошла по улицам гулять.

И вот идет она, как миленькая, по улице, гуляет, прохаживается, задеря хвост. Народ, конечно, удивляется, хочет ее поймать. Но поймать ее не так-то легко. Она живая, проворная, бегают быстро на своих четырех руках. Так что ее не поймали, а только замутили напрасной беготней.

Замученная, она устала и, конечно, кушать захотела.

А в городе где она может покушать? На улицах ничего такого съедобного нет. Не может же она со своим хвостом в столовую зайти. Или в кооператив. Тем более, денег у нее нет. Скидки нет. Продуктовых карточек она не имеет. Кошмар.

Все-таки она зашла в один кооператив. Почувствовала, что там что-то такое имеется. А там отпускали населению овощи: морковку, брюкву и огурцы.

Заскочила она в этот магазин. Видит: большая очередь. Нет, в очереди она не стала стоять. И не стала расталкивать людей, чтобы пробиться к прилавку. Она прямо по головам покупателей добежала до продавщицы. Вскочила на прилавок. Не спросила, почему стоит кило морковки. И, как говорится, была такова. Выбежала из магазина, довольная своей покупкой. Ну, обезьяна. Не понимает, что к чему. Не видит смысла оставаться без продовольствия.

Конечно, в магазине шум произошел, гам, переполох. Публика закричала. Продавщица, которая вешала брюкву, та вообще чуть в обморок не упала от неожиданности. И, действительно, можно напугаться, если вдруг рядом вместо обычного, нормального покупателя скачет что-то такое мохнатое, с хвостом. И еще, вдобавок, денег не платит.

Публика бросилась за обезьяной на улицу. А та бежит и на ходу морковку жует, кушает. Не понимает, что к чему.

И вот впереди всех бегут мальчишки. За ними взрослые. А позади бежит милиционер и дует в свой свисток.

И вдруг, откуда ни возьмись, выскочила собака. И тоже погналась за нашей мартышкой. При этом не только тявкает и лает, а прямо-таки норовит схватить обезьяну своими зубами.

Наша мартышка побежала быстрее. Бежит и, наверно, думает: «Эх, думает, зря покинула зоосад. В клетке спокойней дышется. Непременно вернусь в зоосад при первой возможности».

И вот бежит она что есть мочи, но собака не отстает и вот-вот хочет ее схватить.

И тогда наша обезьяна вскочила на какой-то забор. И когда собака подпрыгнула, чтоб схватить мартышку хотя бы за ногу, та со всей силы ударила ее морковкой по носу. И до того больно ударила, что собака завизжала и побежала домой со своим разбитым носом. Наверно, подумала: «Нет, граждане, лучше я буду дома спокойно лежать, чем ловить вам обезьяну и испытывать такие пренеприятности».

Короче говоря, собака убежала, а наша обезьяна прыгнула во двор.

А во дворе в это время колот дрова один мальчик-подросток, некто Алеша Попов.

Вот он колет дрова и вдруг видит обезьяну. А он очень любил обезьян. И всю жизнь мечтал иметь при себе какую-нибудь такую обезьянку. И вдруг — пожалуйста!

Алеша скинул с себя пиджачок и этим пиджачком накрыл мартышку, которая забилась в угол на лестнице.

Мальчик принес ее домой. Накормил ее. Чаем напоил. И обезьяна была очень довольна. Но не совсем. Потому что алешина бабушка сразу ее невзлюбила. Она накричала на мартышку и даже хотела ударить ее по лапе. Все из-за того, что когда пили чай и бабушка положила свою откусанную конфету на блюдечко, обезьяна схватила эту бабушкину конфету и запихала ее в свой рот. Ну, обезьяна. Не человек. Тот, если и возьмет что, так не на глазах у бабушки.

А эта прямо в присутствии бабушки. И, конечно, довела ее чуть не до слез.

Бабушка сказала:

— Вообще это крайне неприятно, когда в квартире живет какая-то макака с хвостом. Она будет меня пугать своим нечеловеческим видом. Будет прыгать на меня в темноте. Будет кушать мои кофеты. Нет, я категорически отказываюсь жить в одной квартире с обезьяной. Кто-нибудь из нас двоих должен находиться в зоологическом саду. Неужели же непременно я должна перейти в зоологический сад? Нет, уж лучше пусть она находится там. А я буду продолжать жить в моей квартире.

Алеша сказал своей бабушке:

— Нет, бабушка, вам не надо переходить в зоосад. Я вам гарантирую, что мартышка больше ничего у вас не съест. Я ее воспитаю, как человека. Я научу ее кушать с ложечки. И пить чай из стакана. Что касается прыжков, то не могу же я запретить ей лазать на лампу, которая висит на потолке. Оттуда, конечно, она может прыгнуть вам на голову. Но вы, главное, не пугайтесь, если это произойдет. Потому что это всего лишь безобидная обезьяна, привыкшая в Африке прыгать и скакать.

На другой день Алеша ушел в школу. И попросил свою бабушку присмотреть за обезьяной. Но бабушка не стала за ней смотреть. Она подумала: «Вот еще, стану я смотреть за всяким чудовищем». И с этими мыслями бабушка взяла и нарочно заснула в кресле.

И тогда наша обезьяна вылезла через открытую форточку на улицу. И пошла себе по солнечной стороне. Неизвестно, может быть, она прогуляться хотела, но может быть, и решила снова заглянуть в магазин, чтоб там что-нибудь себе купить. Не на деньги, а так.

А по улице проходил в это время один старик. Инвалид Гаврилыч. Он шел в баню. И в руках нес небольшую корзинку, в которой лежало мыло и белье.

Он увидел обезьяну и сначала даже не поверил своим глазам, что это обезьяна. Он подумал, что это ему показалось, поскольку перед этим он выпил кружку пива.

Вот он с удивлением смотрит на обезьяну. И она на него смотрит. Может быть, думает: «Это еще что за чучело с корзинкой в руках?»

Наконец, Гаврилыч понял, что это настоящая обезьяна, а не воображаемая. И тогда он подумал: «Дай-ка я ее словлю. Отнесу завтра на рынок и там продам ее за сто рублей. И на эти деньги подряд выпью десять кружек пива». И с этими мыслями Гаврилыч стал ловить обезьяну, приговаривая: «Кыс, кыс, кыс... подойди сюда».

Нет, он знал, что это не кошка, но он не понимал, на каком языке с ней надо разговаривать. И только потом сообразил, что это — высшее существо из мира зверей. И тогда он вытащил из кармана кусочек сахара, показал его обезьяне и сказал ей, поклонившись:

— Красавица-мартышка, не желаете ли скушать кусочек сахара?

Та говорит: «пожалуйста, желаю»... То есть вообще-то она ничего не сказала, потому что она говорить не умеет. Но она просто подошла, схватила этот кусочек сахара и стала его кушать.

Гаврилыч взял ее на руки и посадил в свою корзину. И в корзинке было тепло и уютно. И наша мартышка не стала оттуда выскакивать. Быть может, она подумала: «Пусть этот старый пень понесет меня в своей корзинке. Это даже интересно».

Сначала Гаврилыч думал отнести ее домой. Но потом ему не захотелось домой возвращаться. И он пошел с обезьяной в баню. Подумал: «Еще и лучше, что я с ней в баню схожу. Я там ее вымою. Она будет чистенькая, приятенькая. На шею я ей бантик привяжу. И мне за нее на рынке дороже дадут».

И вот он со своей мартышкой пришел в баню. И стал с нею мыться.

А в бане было очень тепло, жарко, — прямо, как в Африке. И наша мартышка была очень довольна такой теплой атмосферой. Но не совсем. Потому что Гаврилыч намылил ее мылом и мыло попало в рот. Конечно, это невкусно, но уж не настолько, чтоб кричать, царапаться и отказываться мыться. В общем наша мартышка стала плевать, но тут мыло попало ей в глаз. И от этого мартышка совершенно обезумела. Она укусила Гаврилыча за палец, вырвалась из его рук и, как угорелая, выскочила из бани.

Она выскочила в ту комнату, где раздевались люди. И там она всех перепугала. Никто же не знал, что это обезьяна. Видят: выскочило что-то такое круглое, белое, в пене. Кинулось сначала на диван. Потом на печку. С печки на ящик. С ящика кому-то на голову. И снова на печку.

Некоторые нервные посетители закричали и стали выбегать из бани. И наша обезьяна тоже выбежала. И спустилась вниз по лестнице.

А там внизу находилась касса с окошечком. Обезьяна прыгнула в это окошечко, думая, что там ей будет спокойней и, главное, не будет такой суетни и толкотни. Но в кассе сидела толстая кассирша, которая ахнула и завизжала. И выбежала из кассы с криком:

— Караул! Кажется, бомба попала в мою кассу. Накапайте мне валерианки!

Нашей мартышке надоели все эти крики. Она выскочила из кассы и побежала по улице.

И вот бежит она по улице, вся мокрая, в мыльной пене, а за ней снова бегут люди. Впереди всех мальчишки. За ними взрослые. За взрослыми милиционер. А за милиционером наш престарелый Гаврилыч, коекак одетый, с сапогами в руках.

Но тут снова откуда ни возьмись выскочила собака, та самая, которая вчера за ней гналась.

Увидев ее, наша мартышка подумала: «Ну, теперь, граждане, я окончательно пропала».

Но собака на этот раз не погналась за ней. Собака только посмотрела на бегущую обезьяну, почувствовала сильную боль в носу и не побежала, даже отвернулась. Наверно, подумала: «Носов не напасешься — бегать за обезьянами». И хотя отвернулась, но сердито залаяла: дескать, беги, но чувствуй, что я тут.

А в это время наш мальчик, Алеша Попов, вернувшись из школы, не нашел дома своей любимой обезьянки. Он очень огорчился. И даже слезы показались на его глазах. Он подумал, что теперь уж никогда больше он не увидит своей славной обожаемой обезьянки.

И вот от скуки и грусти он вышел на улицу. Идет по улице, меланхоличный такой. И вдруг видит — бегут люди. Нет, сначала он не подумал, что они бегут за его обезьяной. Он подумал, что они бегут благодаря воздушной тревоге. Но тут он увидел свою обезьянку — всю мокрую, в мыле. Он бросился к ней. Схватил ее на руки. И прижал к себе, чтоб никому ее не отдавать.

И тогда все бегущие люди остановились и окружили мальчика.

Но тут из толпы вышел наш престарелый Гаврилыч. И, всем показывая свой укушенный палец, сказал:

— Граждане, не велите этому парнишке брать на руки мою обезьянку, которую завтра я хочу продать на рынке. Это же моя собственная обезьянка, которая укусила меня за палец. Взгляните все на этот мой распухший палец. И это есть доказательство того, что я говорю правду.

Мальчик Алеша Попов сказал:

— Нет, эта обезьяна не его, это моя обезьяна. Видите, с какой охотой она пошла ко мне на руки. И это — тоже доказательство того, что я говорю правду».

Но тут из толпы выходит еще один человек —

тот самый шофер, который привез обезьяну в своей машине. Он говорит:

— Нет, это не ваша и не ваша обезьяна. Это моя мартышка, потому что я ее привез. Но я снова уезжаю в свою воинскую часть и поэтому и подарю обезьяну тому, кто ее любовно держит в своих руках, а не тому, кто хочет ее безжалостно на рынке продать ради своей выпивки. Обезьяна принадлежит мальчику.

И тут вся публика захлопала в ладоши. И Алеша Попов, сияющий от счастья, еще крепче прижал к себе обезьяну. И торжественно понес ее домой.

Гаврилыч же со своим укушенным пальцем пошел в баню мыться.

И вот с тех пор обезьяна стала жить у мальчика Алеши Попова. Она и сейчас у него живет. Недавно я ездил в город Борисов. И нарочно зашел к Алеше посмотреть, как там она у него живет. О, она хорошо живет! Она никуда не убегает. Стала очень послушной. Нос вытирает платком. И чужих конфет не берет. Так что бабушка очень теперь довольна, не сердится на нее, и уж больше не хочет переходить в зоологический сад.

Когда я вошел в комнату к Алеше, обезьяна сидела за столом. Она сидела важная такая, как кассирша в кино. И чайной ложечкой кушала рисовую кашу.

Алеша сказал мне:

— Я воспитал ее как человека, и теперь все дети и даже отчасти взрослые могут брать с нее пример.

1945 г.

О Г Л А В Л Е Н И Е

ПОВЕСТИ

К о з а	7
О чем пел соловей	31
Страшная ночь	54
Веселое приключение	74
Сирень цветет	100

РАССКАЗЫ И ФЕЛЬЕТОНЫ

Б а н я	143
Аристократка	145
Дрова	149
В о р ы	151
М у ж	153
Актер	156
Бывает	158
Рачис	160
Богатая жизнь	162
Крестьянский самородок	165
Рука ближнего	168
Кризис	170
Пассажир	173
Рабочий костюм	176
Нервные люди	179
Четыре дня	181
Бочка	183
Прискорбный случай	185
Кинодрама	187
Телефон	189
Режим экономии	192
Монтер	193

Ч а с ы	195
Прелести культуры	197
Мелкота	201
Баретки	203
Мещане	205
Лимонад	206
Гримасы НЭП'а	208
Пушкин	210
Царские сапоги	213
Качество продукции	215
Клад	217
Веселенькая история	220
Шапка	222
Научное явление	224
Кошка и люди	225
Хамство	227
Иностранцы	229
Ростов	231
Не все потеряно	233
Хороший знакомый	237
Сильнее смерти	241
Не надо спекулировать	244
Сторож	247
Административный восторг	250
Насчет этики	253
Юрист из провинции	255
Опасная пьеска	256
Дым отечества	258
Об уважении к людям	259
Горе от ума	263
Поминки	267
Прощай карьера	271
Усердие не по разуму	275
Спи скорей	279
Веселая игра	282
Много шума из ничего	287
Истинное происшествие	291

Пьяный человек	294
Физика	298
Галоши	301
Каменное сердце	304
Еще о борьбе с шумом	308
Диктофон	311
Слабая тара	313
Терпеть можно	318
Маленькая хитрость	319
Водяная феерия	321
Плохая жена	326
Огни большого города	330
В трамвае	334
Не пуцу	337
Неравный брак	341
Баня и люди	345
Романтическая история	349
Бедная Лиза	356
Трагикомедия	361
Забавное приключение	367
Большой сюрприз	376
Опасные связи	380
Личная жизнь	384
Какие у меня были профессии	389
Загадочное происшествие	399
Парусиновый портфель	410
Приключения обезьяны	416



Printed in U. S. A.
WALDON PRESS,
203 Wooster Street,
New York 12, N. Y.



Цена \$2.75

